

1150  
P182552.

1150

В. СМЕРНОВ



ПОВЕСТЬ

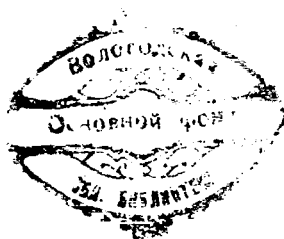
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
1945



В. СМ ИРНОВ

# СЫНОВЬЯ

ПОВЕСТЬ



---

С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ  
М О С К В А 1945

182.552

С-50 + ручки

*Редактор Ю. Лукин*

Подписано к печати 7/ХІІ 1944 г. А-13914 Печ. лист. 17 $\frac{1}{4}$  Авт. лист. 15,44  
Уч.-изд. л. 15,92. Заказ № 2278 Тираж 15 000. Цена 10 р. В переплете 12 р.

6-я тип. треста «Полиграфкинг» ОГИЗ при СНК РСФСР.  
Москва, 1-й Самотечный пер., 17.

...Ты скажи, скажи, моя матушка родная,  
Под которой ты меня звездой породила,  
Ты каким меня счастьем наделила.

*Старинная русская песня.*



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

Тропа шла от речки, мимо амбаров и житниц, перерезая гумно.

Прямая тропа эта была проложена резвыми ногами Анны Михайловны весной, в первый год замужества, когда еще была жива свекровь. Как-то поутру, проводив скотину за околицу, Анна повстречала подружек и по девичьей, еще не забытой, привычке остановилась поболтать с ними. Подруги наперебой рассказывали свои нехитрые новости, и она, слушая, смеялась, точно сама была девушкой. Потом вдруг вспомнила, что у затопленной печи ждет хвора свекровь — ей не поднять на шесток чугуна с водой, и картошка на завтрак не чищена, и в избе не прибрано. А Леша, поди, спит себе в чулане, забыв, что нужно идти в лес рубить жерди для огорода, — и Анна заторопилась.

Сокращая путь, она побежала напрямик, гумнами, по высокой траве. Холодная роса приятно щипала босые ноги. Метелка и конский щавель хлестали по намокшему подолу юбки.

— Эй, молодуха... гуменник топчешь! Али чужого не жалко? — громко и сердито закричал из-за тына сосед, старик Елисеев.

Маленькая кругленькая Анна так и присела в траву с испуга.

— Вот я те косой по голым пяткам! — пригрозил сосед и выругался.

Прямая трава не успела подняться, как следом за Анной прошли на речку бабы, потом побежали ребята.

Старик Елисеев, горячий, взбалмошный человек, ру-

гался, грозил, даже колотил малышей, не раз вбивал острые тычки, сваливал бревна, преграждая путь, но тропа была проложена однажды и навсегда, как морщины на лице Анны Михайловны, которые ничем и никогда не разгладишь. Сосед махнул наконец рукой и сам поплелся этой новой, прямой и короткой, дорогой в капустник...

Сколько тысяч раз хожено здесь Анной Михайловной! Если сложить этот путь, наверное, до неба протянется дорога. По этой тропе она бежала по утрам в поле косить, жать, теревить лен, по ней же возвращалась в полдень и, наскоро похлебав пустых щей или квасу с луком, опять бежала, чтобы поздним вечером брести здесь же, разбитой от усталости. И до чего коротка была эта дорога утром, и какой длинной она казалась вечером! Здесь, возле тропы, в копнушке сена, ласкал ее молчаливый Леша. Высокий, сильный, он поднимал ее на руки, качивал, словно ребенка, и, если было темно и никто не видел, так на руках и нес до избы...

Этот же путь вел на речку, куда она ходила полоскать белье, в капустник — за листьями для коровы. По этой тропе провожала Анна Михайловна за счастьем в Питер своего Лешу — плотника, продав телку, чтобы купить билет, и, должно быть, по ней же, по тропе, таясь от соседей, пробирался муж из Питера — без топора, пешком, в лаптях, в грязной выцветшей рубахе, так и не найдя своего мужицкого счастья. В престольные праздники та же дорожка уводила ее, избитую, в ригу, прятала от пьяных лешиних кулаков. Огибая мшистые углы сараев и житниц, здесь бегали ее первые ребятушки купаться в Бездонный омут, ловить щук и карасей в заросших осокой бочагах; здесь же понуро шла она с кладбища, маленькая, худенькая, как подросток, схоронив детей, одного за другим, скошенных злыми болезнями, которых не могла победить даже всезнающая лекариха бабка Фекла.

Так по этой короткой прямой тропе прошла жизнь, долгая и вовсе не прямая, с малыми бабьими радостями и большим бабьим горем.

В германскую войну муж Анны Михайловны два года пропал без вести, в семнадцатом вернулся домой в рыжей шинельке внакидку, бритый и такой молодой, голубоглазый, что она прямо ахнула.

Будто подменили Лешу, стал он разговорчивым и не-



поседой. Как староста, наряжал сходки, командовал, спорил.

— Царя свергли, свобода объявлена. А народ опять гонят в окопы вшей кормить. А землю, говорят, не трожь... Да почему ж, скажем, не трогать, коли она наша? — спрашивал он растревоженных бобылей. — Почему на этом свете нет беднякам свободного воздуха?

— Воздуху нет, так сдыху хоть отбавляй! — кричали фронтовики. — На войне издохнешь либо здесь — одна музыка.

Леша поправлял сбившуюся под ремнем гимнастерку, точно затыкая за пояс топор.

— Именно. Вот, скажем, всю жизнь рубил я чужим пятистенные дома со светелками, а себе обыкновенного сарая построить не мог. Отчего это?.. Да очень просто, — не дома надо было рубить богачам, а головы.

Страшно было слышать Анне Михайловне такие речи.

— Виданное ли дело супротив богатых итти? — боязливо говорила она мужу ночью. — Попридержал бы язык-то... долго ли до греха. Живьем сожрут.

— Подавятся, — усмехался Леша.

— Это тобой, что ли? — сердилась Анна Михайловна. — Велика тетеря.

— Не один я. Народ поднялся. А народ не проглотишь.

В избе было темно и душно. Трещал сверчок в сенях. Леша слезал с кровати, открывал окно, курил, сидя на подоконнике, и, возвращаясь, прижимал к себе Анну Михайловну, ласкал, миловал ее, сорокалетнюю, как в первые годы замужества.

— Заживем, матка... чую, наше время пришло, — говорил он, вороша ей спутанные волосы. — Первым делом — мир... Хватит, повоевали досыта. Вторым делом — земля мужикам. Дадут! Ленин, он не обманет. Видел я его на Финляндском вокзале в Питере. И в Таврическом дворце, на съезде, доводилось встречаться. Горой за бедноту стоит. Он нас не выдаст, а мы его и, подавно... Власть своя будет. Никаких тебе господ... скажем — сами себе господа. А?.. Заведем мы с тобой, матка, лошадей... земли будет вволю... ребят народим кучу... ведь не старые еще... заживем...

Постепенно голос его переходил в сонный шопот, срывался, затихал.

С открытыми глазами, не шевелясь, лежала Анна Ми-

хайловна у стены, боясь потревожить мужа. „Господи, — молилась она, — вразуми моего Лешу. Может, он что и зря болтает... Научи... Пожить ведь хочется... по-доброму... по-хорошему, господи...“

Брезжил рассвет, холодком тянуло из окна. Осторожно приподнявшись, опершись на локоть, Анна Михайловна подолгу смотрела мужу в лицо. От него веяло спокойствием и силой. Упрямо торчал русский вихор. Предрассветная зыбкая тень лежала на лбу; казалось, Леша, хмурясь, о чем-то крепко думает во сне.

Анна Михайловна тихонько поправляла смятую подушку, кутала мужа и себя дерюгой и, прижавшись головой к теплой просторной лешиной груди, забылась коротким сном.

Леша верховодил на селе целое лето и осень, воевал с богатеями, делил помещичью землю, помогал Анне Михайловне по хозяйству, а зимой, в погожий день, попрощался за околицей.

Утираясь полушалком, она долго глядела вслед мужу, в его широкую рыжую спину; глядела на высокие, как в молодости, приподнятые плечи, на его большие ноги, обутые в стоптанные солдатские сапоги. Муж шел не оглядываясь, левой рукой придерживал котомку, правой ладно помахивал в шаг себе. И только когда ушел далеко, повернулся, постоял — безликий, сухой, точно верстовой столб. Потом, ей приметилось, снял папаху, поклонился и пропал за поворотом.

Ушел Леша в Красную Армию, ушел по своему доброволью за новым, непонятным ей тогда, счастьем. Ушел и точно в воду канул.

А весной, вечером, идя из лесу, Анна Михайловна родила на гумне двойню. Час был поздний, никто не слышал ее крика.

Знать, еще не все силы взяла жизнь у Анны Михайловны. Радуюсь и стыдясь, понесла она домой в завернутом подоле двух сыновей.

## II

Притащившись в свою старенькую, покосившуюся избенку, Анна Михайловна впотьмах, наощупь, положила детей рядышком на голбце<sup>1</sup> и бросилась искать спички

<sup>1</sup> бе — припечье.

и лучину. В горсти, чтобы не заронить огня, поднесла лучину, взглянула на голбец и заплакала.

Руки у нее тряслись. Лучина шипела и дымила. В розовых, то вспыхивающих, то замирающих отсветах таращились на мать, суча сморщенными ручонками и ножонками, два родных человека, ее жизнь, больше, чем жизнь,—ее сыновья. Один был худенький, черно-волосый, кареглазый, как она, другой, должно быть первый, — вылитый Леша: большеногий, длинный, с синими глазенками и русым пушистым хохолком на макушке.

Мать уронила лучину на пол, прижала сыновей к груди.

— Родненькие вы мои... ненаглядные... два солнышка! Хоть бы одним глазком посмотрел на вас тятка... Где ты, Леша? Где ты, наш тятка? — шептала она в темноте, целуя щеки, ручонки, ножки сыновей.

Стучал в избе маятник ходиков. Шуршали тараканы за обоями. В окно глядели звезды, они мигали, точно плакали вместе с Анной Михайловной.

Она опомнилась, когда сыновья громко и дружно заголосили. Вставив лучину в светец, с трудом нагрела воды, кое-как принесла из сеней корыто, достала с божницы бесценный, хранимый с прошлого года, обмылочек. Немножко отдохнув, выкупала ребят, натуго, как требовал обычай, спеленала в старые мужнины рубахи, сама помылась и легла.

И мягок ей показался постельник, набитый соломой, и тепла была дерюга, укутавшая ее с сыновьями.

— Слава богу, слава богу! — твердила она, засыпая. — Экое счастье мне на старость привалило... Не доем, не допью, а выращу обоих, золотеньких моих...

С этой ночи вторая жизнь началась для Анны Михайловны.

Она назвала маленького, синеглазого сына Алексеем в честь мужа, второго—Михаилом в память дедушки. Плотник, хромой Никодим, сделал по ее заказу сосновую просторную зыбку. Она сама прибила к матице гибкую березовую жердь, подвесила зыбку и клала в нее сыновей врозь головками. Чтобы поровну поделить молоко, она и кормить их пробовала вместе, но было неловко держать ребят на руках, да и молока в левой груди оказалось меньше, чем в правой. Тогда она завела строгую

очередь: если с утра первым тянул грудь большеенький, то уж в следующий раз, как бы ни заливался он, вочая головой и ища ртом сосок, он получал свою долю вторым.

Скоро меньшеенький заболел. Анна Михайловна парила его в печи, натирала уксусом, выпрошенным у дьякона, кормила без всякой очереди и меры. Она не спала ночей, баюкая его и поминутно пеленая, словно хворь от того должна была отступить.

Ничто не помогало. Ребеночек уже не принимал груди, посинел и таял, как лед весной. Жалобный плач его становился все тоньше и тише.

— Аннушка, голубка моя, не мучай себя и парнишку. Видно по всему — не жилец он на этом свете, — говорила сердобольная лекариха бабка Фекла. — Бог дал, бог взял. Еще один остался, ну и слава тебе... Грех противиться воле божьей. Дай парнишке умереть спокойно.

Старуха прицесла желтый надломленный огарок свечки, прилепила его перед образами, затеплила и, мелко и часто крестясь, нашептывала:

— Иисусе праведный, прими ангельскую душу младенца Михаила... Матерь божья, пресвятая владычица, ослобони и успокой грешную рабу твою Анну.

— Не дам умереть! Не дам! — исступленно кричала Анна Михайловна, хватала ребенка на руки, согревала теплом своего тела.

Мальчик лежал пластом и хрипел. В отчаянии, мать раскрывала ему рот и, сдавив грудь, брызгала белую живительную ниточку молока.

Была одна ночь, когда и матери показалось, что мальчик не выживет. Но потом ему вроде как полегчало, он перестал плакать и уснул. А через день и глаза открыл и, слабый, бледный, пошевелился на материнских руках.

Анна Михайловна заплакала и перекрестилась.

— Будет, будет жив...

И точно, ребенок выздоровел, хотя так и не догнал в росте большеенького брата.

Любо было матери, как загукали и заворковали первым смехом ее сыновья. Точно голуби завелись у ней в избе. Часто после работы, усталая, Анна Михайловна забывала похлебать щей или супу, и варево прокисало

у ней в печи. Но не было такого вечера, чтобы она забыла поиграть с детьми. Постлав на стол дерюжку и положив на нее сыновей, при трепетном свете лучины она подолгу любовалась на ребяткишек.

— Агу, Лешенька... Агу, Мишенька... Агу, голена-  
стенькие вы мои!—приговаривала она, тормошила и целовала их, пока ребята не покрывались сизыми пупы-  
рышками и не оглашали избу сердитым криком.

Нарушая заведенный порядок, растроганная мать, при-  
ловчившись, брала обоих на руки, клала к груди, слушала,  
как сопят и чмокают сыновья, как теребят ее ручонками.  
Приятная истома овладевала ею, глаза смыкались. Тихим,  
сонным голосом она напевала что-то бессвязное, ласко-  
вое, известное одним матерям.

И чудилась ей широкая, залитая солнцем, праздничная  
улица села. Народ толпой гуляет. Гармонь тут и моло-  
дежь. Кипит улица... И вдруг точно волна по ней прохо-  
дит. Расступается народ, дает дорогу ее сыновьям. Высо-  
кие, статные, идут они плечом к плечу, взявшись за руки.  
Пиджаки на них нараспашку, суконные, новехонькие. Го-  
лубые ластиковые рубахи шелком вышиты. Сапоги лаки-  
рованные — в голенища смотришь, как в зеркало. При ча-  
сах ее сыновья. Из-под картузов, заломленных набекрень,  
кудри кольцами вьются.

Идут сыновья, на народ поглядывают, промеж себя  
ласковые речи ведут. А народ кругом шепчется: „Чьи  
такие молодцы? Чьи красавцы такие?“ Отвечают соседи:  
„Да нашей Анны... Анны Михайловны Стуковой, разве  
не знаете?“

Сыновья будто ищут ее, мать, а она почему-то от них  
хоронится. И так ей приятно, так радостно.

„Вырастила... вырастила соколов моих ясных. Теперь  
и умирать можно...—шепчет она, улыбаясь сквозь сле-  
зы. — Летайте по белу свету, ищите подружек-лебедушек,  
счастье свое ищите...“

Горделивыми заплаканными глазами провожает она сы-  
новей. Они идут вдоль села за девушками. Она смотрит  
им вслед и никак не может вспомнить, где видела эту ши-  
рокую спокойную спину, эти приподнятые плечи. Ей хо-  
чется забежать вперед, посмотреть в лицо и вспомнить.  
Не тут-то было! Руки не поднимаются, чтобы растолкать  
народ. Она хочет бежать — ноги ее приросли к земле...

Вздрогнула Анна Михайловна и очнулась. Щеки у ней

мокрые. Чадит, догорая, лучина в светце. Ночной холод подбирается к босым ногам. Сыновья отвалились от грудей и спят на ее онемелых руках.

### III

У колодца, встречая Анну Михайловну, бабы жалостливо причитали:

— Экий грех... Уж не по годам бы ребят тебе иметь, Аннушка.

— С одним мука, а тут — двойни. И чем ты господь-бога прогневала?

Отмалчиваясь, Анна Михайловна, точно за опору, хваталась за журавль колодца, цепляла на крюк ведро и старалась поскорей зачерпнуть воды.

— Окаянная наша жизнь. Право слово, окаянная! — трещала ей в спину краснощекая Авдотья Куприянова, известная на селе балаболка. — Все на бабью головушку свалилось: и сряжай мужика, и корми, и в поле от него, нечистого духа, не отставай... Вваливай, матушка! Походя ребят таскай, мучайся.

— Много ты мучаешься... Без детей живешь, — напоминала Дарья Семенова, не любившая Авдотью за пустой язык.

Та размашисто перекрестилась.

— И слава тебе, господи! Радехонька... Вот как радехонька! По крайности, под окошком милостыню не собираю.

— Я собираю? Да? — гневно спрашивала Анна Михайловна, оборачиваясь. — Просила я у тебя хоть кусок?

— Еще неизвестно, матушка, может, и попросишь.

Расплескивая воду, Анна Михайловна рывком подхватывала ведро.

— С голоду зачну дохнуть — не попрошу.

Лошади у Анны Михайловны не было. Чтобы вспахать свои узкие, как межники, полоски, она отработывала в яровую ямщику Исаеву и занимала семян у соседей. Чтобы как-нибудь протянуть до нового хлеба, она кланялась в ноги косоглазому лавочнику Кузьме Гущину и за пудовик ржи с костером, годной разве только свиньям, рубила ему пучки в лесу, упростав бабу Феклу поняньчиться с ребятами.

Для себя ей приходилось работать и по воскресеньям. И не было времени сходить в церковь помолиться. Отец Василий, старый и строгий поп, встречаясь, почти не кланялся с Анной Михайловной. На троицу, придя в избу с молебном, он, отслужив, хмуро, не глядя на хозяйку, принял пяток яиц и сказал:

— В церкви не вижу тебя.

— С ног сбилась, батюшка... Леши-то ведь нет... двойни у меня, — как всегда робея перед попом, ответила Анна Михайловна.

Отец Василий задержался у порога, вскинул на зыбку сердитые глаза из-под лохматых бровей.

— Помню, крестил. Не пишет... муж-то?

— Нет, батюшка. В голову такое лезет разное... нехорошее, — пожаловалась Анна Михайловна.

— А ты к богу обращайся, к богу, — напомнил отец Василий, выпрастывая из обшлагов рясы худые белые руки. — Он милостив ко всем... заблуждающимся... Смутное время настало, скорей бы прожить его...

Он вздохнул, почесал седую бороду и, благословляя Анну Михайловну, строго спросил:

— Да ты дома молишься?

Анна Михайловна склонилась, прошептала:

— Грешна-а...

Из-под синей подобранной рясы ей видны были огромные, точно ступы, смазные сапоги отца Василия. Он грузно, со скрипом, шаркнул подошвами, словно раздавил что-то. Анне Михайловне стало страшно, и она заплакала.

— Утром вскочишь, как полоумная. Вечером иной раз так устанешь — свалишься, лба не перекрестив... Тяжело мне, батюшка, нужда одолела. Не знаю, как и...

— Бога забыла — вот и он тебя забыл, — сурово обрывал отец Василий и ушел, не притворив двери.

Когда на селе возник комитет бедноты, Анне Михайловне стало немного легче. Ей выдали семян из общественной магазеи. От просторных гушинских земель отрезали для нее четыре больших загона. Комбедчик Николай Семенов при всем народе обязал ямщика Исаева бесплатно давать ей лошадь.

— Запрещаю тебе, Анна Михайловна, на сегодняшний день батрачить, — гремел на сходке Семенов. — И кла-

няться запрещаю. Хватит, поклонялась... Требуй на сегодняшний день!

— Во! Грабь... Твое — мое! — кричал Кузьма Гуцин, злобно косясь. — Сапоги с меня сдери, — она в опорках ходит... У-ух, пролетария!

— Таскай двойней, как кошка... мир прокормит, — хрюкала жирная, точно боров, Исаиха.

Оскорбленная, сгорая от стыда, Анна Михайловна молила:

— Оставьте меня в покое, христа-ради... Ничего мне не надо.

— Нет! — председатель совета Сергей Шаров грохнул по столу кулаком. — К чорту покорность! Голову выше, беднота! Теперь наше время.

Шумя и негодуя, сход поддержал Шарова.

— Не старый режим, чтобы женщину забивать! — кричали с задних скамей бабы. — Попробуй роди двойней... опосля и чеши языком:

— Тебе, Кузьма Федорыч, власть горька, а нам сладка. Что поделаешь? — сказал Вася Жердочка.

Николай Семенов, писавший протокол, поднялся и потребовал тишины.

— Именем комбеда, — сердито сказал он, заглядывая в бумагу, — объявляю на сегодняшний день гражданину Гуцину и гражданке Исаевой выговор за оскорбление женщины и народной власти... А тебе, Анна Михайловна, вот наше слово: живи... живи без горя, мальчишек расти на страх буржуйам и на радость мировой революции...

Все-таки Анна Михайловна не решалась даром брать лошадь у Исаева. И Гуцину она кланялась за каждый пудовик хлеба. Даже за землю, отрезанную ей, поклонилась по привычке.

Она толкла в ступе мякину, овес, сушеные картофельные очистки; просеивая, валила все это в квашню и, прибавив скупую пригоршню муки, пекла кислые каравашки. Распаренный огрызок дуранды казался ей медовым пряником. А случайный ломоть чистого ржаного хлеба был пахуч и бел, точно сдобный кулич. Молоко она пробовала лишь в рождество и пасху, копила сметану, творог, масло, яйца и, жадно торгуясь, выменивала у спекулянтов стакан-другой пшена ребятам на кашу, обмусленные, пропахшие махоркой куски сахара, спички, соль, бутылку керосина. Иногда ей удавалось раздобыть аршина три



линючего ситца. Вечерами, качая ногой зыбку, Анна Михайловна шила сыновьям новые рубашонки. Для себя она ткала холстину и, выкрасив ее в коричневом наваре еловых шишек, кроила юбки, кофты и обогнушки.

Когда бывало неведомо и опускались руки, Анна Михайловна вспоминала мужа, и вся жизнь, прожитая с ним, казалась ей одним светлым днем. Она видела его ясные глаза, его сильные, не знающие усталости руки, вспоминала задушевные разговоры мужа о счастье, которое он пошел добывать. Анна Михайловна плакала, и ей становилось легче.

„Хоть бы весточку прислал, — думала она, — хоть бы одно словечко написал — жив...“

Приходили с фронта раненые красноармейцы, прибегали дезертиры, а желанной весточки никто не передавал. И Анна Михайловна кружила по деревням, выпрашивая.

— Должно, погиб Алеша, — говорили знакомые красноармейцы, сжимая буденновки. — Вечная память красному герою... Эх, как бы пригодилась сейчас его светлая голова!

— Убит, туда ему и дорога, — кривя толстые пьяные губы, бубнил дезертир Савка Понамарь. — Коммунистов всех поубивали... Скоро, тетка, и здесь им придет крышка.

— Что же тогда будет? — спрашивала Анна Михайловна.

— Царство небесное на старый лад.

— Врешь ты... брехун! — сердилась Анна Михайловна. — Облопался самогона и мелешь не знамо что.

#### IV

Не все понимала Анна Михайловна, что творилось кругом. Однако сердцем чуяла главное — свои люди делами правят, худа от них не будет. И поэтому, когда дезертиры, предводительствуемые Савкой Понамарем и Вольдьюкой Исаевым, подошли ночью сельсовет и искали по селу коммунистов, она спрятала в подполье мужниного приятеля комбедчика Николая Семенова.

До утра гудел набатом церковный колокол. Днем дезертиры и богачи носили иконы и хоругви вокруг села. Как в пасху, горела на отце Василии золотая риза.

Запершись в избе, Анна Михайловна сидела у окна,

чинила юбку. Иголка колола ей пальцы, нитки рвались. Прислушиваясь к спокойному дыханию сыновей, спавших на кровати, Анна Михайловна тревожно следила за крестным ходом.

— Пронеси... ради деточек, пронеси... — беззвучно шептали ее губы.

И она пожалела, что спрятала Семенова. Но тут вспомнилось, что у него четверо детей мал-мала меньше, вспомнилось все добро, которое он сделал для нее, и, главное, ей подумалось: будь сейчас Леша, он одобрил бы ее поступок, и она успокоилась. „Пройдут мимо... никто не знает“.

И ошиблась. Видно, кто-то ночью приметил огонь в ее избе и „дохнул“. Когда крестный ход огибал гумно, от толпы откатились и свернули в переулок вооруженные дезертиры.

Завидев их, Анна Михайловна вскочила и ударила табуреткой об пол.

— Николаша, погубила я тебя... и ребяточек погубила... Идут!

Она перекрестила сыновей, для чего-то обулась и без зова вышла на крыльцо, захлопнув дверь щеколдой.

— Доказывай, старая сука, куда схоронила Кольку Семенова! — подступил к ней Володька Исаев.

Он толкнул ее прикладом в грудь, освобождая дорогу в сени.

Анна Михайловна ударилась затылком о косяк, от двери не отошла. Тихо попросила:

— Уйди... ребят напугаешь. Спят они у меня.

На миг показалось — дезертиры послушаются. И, обрадованная, она жадно и торопливо молила:

— Уйдите, христом-богом прошу... Нет у меня никого. Уйдите!

— Не грехи! — взревел Исаев-отец, неожиданно выскакивая с топором из-за крыльца. — Видели, как сиганул к тебе гуменниками... Подавай мне Кольку... Искро-ш-шу!

Он хряснул топором по приступку и расколол приступок надвое. Савка Понамарь оттащил Анну Михайловну от двери, пригрозив револьвером:

— Найдем... тогда и тебя кончим.

Анна Михайловна бросилась в избу, упала на кровать и телом прикрыла сыновей. Ребята проснулись, запла-

кали. По привычке она расстегнула кофту, запомняв, что отняла детей от груди. Ребята долго не брали грудь. Она удивлялась, все совала им, а когда они потянули, вспомнила. „Все равно уж... конец“, — подумала она, слыша, как шарят дезертиры в чулане, как Исаев-отец поднимает западню в подполье и, захлебываясь слюной от нетерпения, хрипит: „Вылазь, Колька... Эй, вылазь, шантрапа беспортошная... Э-заму-учу!“ Анна Михайловна ждет сопротивления, крика, выстрелов, но все тихо. Кто-то лезет в подполье. И словно из-под земли доносится глухая ругань.

— Пусто...

„Успел...“ Анна Михайловна хочет приподняться, но чей-то кулак тяжелым ударом вбивает ее голову в подушку.

— Где Колька? Не знаешь? В муженька-а... — шипит Исаев, стаскивая ее за ноги с кровати. Цепляясь за постельник, она успевает одной рукой накинуть на сыновей дерюгу. — Э-землю делить? Лошадь тебе?.. Хлеба?..

•Катая Анну Михайловну по полу, как чурбан, Исаев бьет каблуками в живот, в спину, по голове. Кровь заливает ей лицо.

— Важно! — гогочут дезертиры. — Ай да папаша! Загни ей подол... Хлопни!

— Придавите щенят! — визжит из сеней знакомый хрюкающий голос Исаихи. — Придавите пискунов!

Великая сила поднимает Анну Михайловну с пола. Черный ошметок крови выплевывает она из пересохшего рта.

— Ребят... не трожь. Глотки перерву!

И страшен был этот шопот. Слепая от залившей глаза крови, разъяренно вытянув руки, Анна Михайловна рванулась навстречу дезертирам. Табуретка попала ей под ноги и с грохотом отлетела в сторону.

— А ну ее к чорту! — сказал Исаев, отступая.

Дезертиры, стуча сапогами, попятились к порогу, хлопнули дверью. Ощупью добралась Анна Михайловна до стола, постояла, держась за него, и сползла на пол. Точно сквозь сон, слышала она плач сыновей и отрывистые голоса под окнами:

— ...Коммунистов... За ригами на осине...

— Кого?

— Ваську Жердочку и Сережку Шарова.

182552

— Пошли, братва!

Много дней спустя Анне Михайловне рассказывали, будто Вася плакал. Длинный, худой, в одних подштанниках, он повалился на землю и не хотел вставать. Говорят, Сергей Шаров поднял его и сказал:

— Не бойся, Вася, это не страшно. Помнишь, как на беляков ходили?.. То ж беляки кругом нас!

И Вася, шатаясь, пошел к осине. Ему накинули веревку на шею, он побледнел, опять зарыдал. Потом успокоился и тихо зашел:

Вставай... проклятьем... заклеяженный...

Мужики и бабы кинулись отнимать Васю, но дезертиры оттеснили их к амбарам, а Кузьма Гушин, скосив к переносице бельма, потряс гранатой.

— Порешу на месте... кто двинется.

Когда вешали Сергея Шарова, оборвалась веревка. Он упал и, должно, больно зашиб ногу.

— Сволочь кулацкая, — просипел он, потирая колено, — повесить человека смекалки нет... Дайте веревку! — приказал он, разрывая ворот рубахи.

И дезертиры послушно подали ему новые вожжи.

Поплевав на ладони, Шаров сам сделал петлю, затянул ее на вздрагивающем кадыке и, волоча ногу, полез с веревкой на осину. Сучья трещали и ломались под его грузным телом. Он добрался до развилины, вставил в нее здоровую ногу, раздвинул жестяную, звенящую листовку. Мужики и бабы видели от амбаров, как он повел горящими глазами в их сторону, будто меряя расстояние. Потом махнул им рукой, словно прощаясь, и вдруг, скинув веревку с шеи, зычно скомандовал:

— Мужики! Хватай их сзади... бей!

Сергей коршуном упал на лавочника, вырвал гранату. Дезертиры навалились на него. Обороняясь, Сергей то ли уронил, то ли нарочно бросил гранату себе под ноги.

Гром ударил среди белого дня. Подбадривая себя криком, мужики бросились к осине. Бабы, зажмурившись, присели в траву. А когда отдышались и опомнились, — кругом была тишина.

Под осиной, на бугре, лежал Сергей Шаров. Лежал он на спине, просторно раскинув ноги, сунув под голову согнутую руку, и точно спал. Подле него, как плахи, валялись Кузьма Гушин, Савка Понамарь и еще кто-то.

Двое в шинелях ползли в крапиву и скулили. Мужики с кольями и подобранными ружьями гнались по полю за дезертирами. Те бежали к лесу. А наперерез им, из-за речки, летели верхами, подгоняя лошадей прикладами берданок, глебовские коммунисты. И впереди, пригнув рыжую голову к гриве коня, мчался Николай Семенов...

v

Перестала ждать Анна Михайловна своего мужа. Ей казалось, что она похоронила его вместе с Васей Жердочкой и Сергеем Шаровым в одной братской могиле, которая выросла посреди села, на лужайке под липами. Свежий холмик земли бабы обложили дерном. Хромой Никодим установил дубовый крест с железной, выкрашенной суриком, звездой и по решению общества обнес могилу палисадом. От себя Никодим прибавил еще лавочку из елового горбыля.

И повелось с тех пор собираться на сходки под липами, возле тесового палисада.

Ветер принес на бугор одуванчики. Чья-то добрая рука посеяла горсть ржи. Осенью могуче встала на могиле сизая озимь, весной раскустилась, пошла в трубку. Как в поле, закачались тонкие коленчатые стебельки, выкинув усатый, в мужицкую четверть, колос. И вместе с рожью глянули в небо васильки, синие, словно ясные лешины очи.

Боясь лишнего рта, Анна Михайловна не нанимала няньки, тащила в поле с двойнями. А когда они немного подросли, запирала ребят в избе, оставляя на полу, как котят, блюдо с молоком и крошеным хлебом. Чего только не творили они в избе! Опрокидывали чугуны с коровьим пойлом, ели угли, дрались из-за веника, гонялись за тараканами, вытирая голыми животами пыль под лавками, били посуду, царапались в дверь и, усталые, досыта наревевшись, засыпали на пороге. Проснувшись, снова ползали по избе, обдирали со стен обои и жевали их, прудили лужи посредине пола, учились ходить и падали, расшибаясь в кровь.

Голодным плачем встречали сыновья мать, грязные, мокрые, в ссадинах и синяках. Сердце у нее мучительно сжималось. Она хватала сыновей на руки, тетешкала, обмывала, приговаривая:

— Ничего, ребяташки мои, ничего... Вот я царапки маслом скоромным смажу. К свадьбе все заживет.

Как ни тянулась из последних сил Анна Михайловна, как ни изворачивалась по хозяйству, она не могла вылезти из нищеты. Волостной комитет взаимопомощи поддерживал ее деньгами и хлебом. Как-то в уезд пригнали с фронта бракованных лошадей. Комитет взаимопомощи вытребовал одну для Анны Михайловны.

Все село сбегалось смотреть, когда Николай Семенов привел в поводу низкорослую гнедую кобылу. Она была заморена до того, что ее качало ветром. Горбато проступал хребет, ребра расходились от него кривыми сучьями. Грязной бахромой висела длинная шерсть под брюхом, холка и плечи были сбиты до мяса.

— Вот так рысак! Собакам на корм пуда два потянет, — потешался ямщик Исаев, только что выпущенный из тюрьмы.

Анна Михайловна с ненавистью огрызнулась:

— Тебя бы собакам скормить.

— Попробуй... Нет, вы гляньте, мужики, на кобылу. Ну, в аккурат патрет советской власти, — злобно хохотал Исаев.

— За такие разговоры к сыну в гости отправим, — пригрозил Семенов.

— Руки коротки.

— Ничего, хватит рук на сегодняшний день к стенке поставить.

— Ставь, шантрапа беспортошная, ставь!.. — забрызгал слюной Исаев. — Все равно дышать нечем... продержверсткой задушили.

— Подохнешь — воздух на селе чище будет.

Кобылу поставили во дворе. Чтобы она не завалилась, ее подвязали на ночь под брюхо веревками.

В эту ночь Анна Михайловна почти не сомкнула глаз. Уложив ребят, она зажгла фонарь, прихватила лохань с теплой водой и отправилась во двор. Кобыла понуро покачивалась у яслей, слабо переступая разбитыми ногами. Веревки не давали ей упасть. Она не подняла головы, когда Анна Михайловна залезла с фонарем и лоханью в стойло.

— Страдалица ты моя... мученица, — прошептала Анна Михайловна, подсовывая под веревку пучки соломы,

чтобы не так резало. — Ну, взгляни на меня, на хозяйку свою... Ну?..

Кобыла скосила на огонь темный печальный глаз и равнодушно пошлепала отвислыми губами.

— Не признаешь?.. Ах ты, сердитая!

С тихим грустным смехом Анна Михайловна погладила морду кобылы. Сняв платок с головы, заботливо вытерла гной из покорных глаз. Потом осторожно промыла водой раны, смазала их снадобьем, которое ей дал сосед Петр Елисеев.

— Болит? Ну, потерпи, дурочка, что поделаешь, — уговаривала она шопотом. — Скорей заживет... Вот как звать тебя, не знаю... — задумалась она. — Хочешь, Машкой буду звать? Была у меня телка Машка. Очкастая, белоногая, чисто ярославка... Продала ее, как Лешу в Питер отправляла... На-ко, похрусти, Машка, сенцом... — и она совала ей гороховину. — Не хочешь? А хлеба хочешь?

Повесив фонарь на крюк, Анна Михайловна побежала в избу, пошарила в суднавке<sup>1</sup>. Там лежала, завернутая в тряпицу, горбушка хлеба, припасенная на завтрак сыновьям. Анна Михайловна ощупала ее впотьмах, горбушка как будто была порядочная. Отломила мякоть, подумала, нерешительно взвесила горбушку на ладони и отломила еще кусок. Теперь остаток горбушки был так мал, что его не стоило оставлять в суднавке.

„Преснушек ребятам напеку... Каши сварить можно... сыты будут“, — успокоила себя Анна Михайловна и, забрав в подол весь хлеб, вернулась во двор, из рук покормила Машку. Налила в лохань воды для пойла, хотела помять картошки и посыпать ржаными высевками, да вовремя вспомнила: лошадь — не корова, поило любит чистое.

Присев на корточки, точно маленькая, с любопытством следила, как, пофыркивая, шевеля ушами, тянет кобыла воду. Анна Михайловна попробовала подсвистеть Машке, памятуя старинную примету, что лошадь под свист охотнее пьет. Но, как ни старалась, свиста у нее не получилось. „Подрастут ребятушки мои, они тебя, Машка, и на водопой сгоняют, и подсвижут вволю“, — подумала она.

---

<sup>1</sup> Суднавка — кухонный шкаф.

Потревоженная светом и движением, поднялась в загородке корова. Подошла, вздохнула и, просунув между жердями голову, лизнула хозяйку в щеку теплым шершавым языком.

— Я тебе задам! — строго сказала Анна Михайловна, отмахиваясь. — Пошла на свое место... Пить захотела? Не гостья, потерпишь до утра.

Машка оторвалась от лохани, долго жевала губами, словно раздумывая, что ей делать дальше. С волосатых мокрых губ падали в лохань звонкие капли. Анна Михайловна подбросила в ясли, полные сена, лишнюю охапку духовитого клевера и зачмокала призывно и просяще. Кобыла пожевала еще и, махнув облезлым хвостом, точно сказав: „Ну, уж, ладно... ради тебя, так и быть, поем“, сунула морду в ясли и медленно, с трудом захрупала.

— Вот и хорошо... аппетит — первое дело, — одобрительно сказала Анна Михайловна, присела на плетуху с сеном и под этот чуть внятный, успокаивающий хруст задремала... А на рассвете очнулась, почистила Машку веником и пошла месить преснушки ребятам.

## VI

Сосед Петр Елисеев, зайдя во двор проведать кобылу, учил Анну Михайловну:

— Главное — не давай ей попусту силы тратить. На привязи поболе держи. Я, знаешь, в гражданскую в кавалерии служил и, стало быть, лошадиный норов знаю... Пусть наливаётся яблоком. Овсеца не жалей. Сама не доешь, а коню подбрось. Тут кобылка твоя и взыграет... Да на кой ляд ты раны тряпками залепила? А, дурабаба! — горячился он, прикусывая бурый, выцветший ус. — Мясо — живое, воздухом дышит... Постой, я сам...

Елисеев любил толковать о лошадях. По утрам, сталкиваясь с Анной Михайловной у крыльца или огорода, он первым делом справлялся о Машке. Коренастый, обожженный солнцем до лишаев, в побелевшей, замаранной дегтем гимнастерке, без ремня и пуговиц, Елисеев вдохновенно говорил:

— Конь — первая наша подмога, что на войне, что дома. Завсегда спасет. Эвот, видела? — Он поворачивал короткую тугую шею и, откинув белесую прядь волос, показы-



вал стесанное ухо. — Чисто бритвой паны сбрили... Не увернись мой Соколик маленько — лежать бы мне с раскроенной башкой... Вот был конь, так ко-онь! Мисти — каурой, характером — огонь. Все понимал, только что не говорил.

Жадный до работы, Елисеев всегда что-нибудь делал: то огораживал усадьбу новыми частыми кольями, топравлял двор, обкладывая свежим дерном завалину у избы, чинил, сидя под навесом на корточках, старые ведра, кадки.

— Без коня я бы и сейчас пропал, — говорил он, щурясь и обсасывая длинный острый ус. — Пришел с фронта — хоть шаром покати. Что делать? Тряхнул женино барахлишко. Ревела Ольга, известно — баба, дальнего прицепа не знает. „Не вой, — говорю, — наживем добра. Мне бы только коня завести...“ Подзаянл еще денег у Савелия... Видела моего Буяна? Умнеющий конь. Как чай пить, он у меня под окошком стоит, хлеба просит... Встану на ноги. Это уж ты мне поверь. Да как же не встать? Землю отвоевали, власть теперь наша — совестно гольшом ходить.

Он жалел мужа Анны Михайловны, с которым дружил в парнях, жалел Сергея Шарова и Васю Жердочку.

— Какие мужики поумирали... Силища! Кабы сюда их сейчас... Власть бы мы с ними похозяйствовали. Лешато твой хоть на покосе, хоть на молотбе за пятерых валил. А Сережка! Да, в пашне за ним никто угнаться не мог... Война, понимаю. Лешина погибель тяжела, да не обидчива. А вот дома, от соседей, смерть получить... У-у!

Он заскрипел зубами и выбранился.

— Эту кулацкую нечисть я еще выведу на чистую воду.

— Тебе, Петя, надо в партию записаться, — сказал ему однажды Николай Семенов. — У тебя глаз верный и сердце наше.

— Не знаю, чье оно, а только правду чует. Да разве я за чужое кровь проливал?

Елисеев выдалбливал из осинового чурбана корыто для поросят. Анна Михайловна смотрела, как ловко он орудовал долотом.

— Про это и разговор на сегодняшний день. Партии такие нужны. Иди к нам, — предложил Николай, сядя на обрубок бревна под навесом.

Елисеев усмехнулся, показывая белые крепкие зубы, махнул рукой.

— Ну, куда мне... Какой я партиец! Мужик я.

— А мы — ученые? Ты подумай, Петя, зараз не откажешься. Дорога-то ведь у нас одна.

— Точно, дорога единая... — задумчиво согласился Елисеев, берясь за долото. — Верно говоришь. Но в партию записаться... Прикидывал я — ничего не выходит. У вас там собрания, заседания, а у меня дом валится.

— Помешался ты на своем хозяйстве, — сердито сказал Семенов, доставая кисет.

— Иди ты к чорту! — вспыхнул Елисеев и с силой ударил молотком по долоту.

Лишай на его обгорелом лице багряно налились. Он приподнялся с корточек на колени, молоток взлетал в воздухе все выше, описывая черную свистящую дугу, и Анна Михайловне казалось — молоток вот-вот заедет по рыжей голове Николая Семенова. Она торопливо пошла прочь к своему двору, и вдогонку ей летели разгневанные, короткие, как удары молотка, фразы:

— Ты — коммунист. А линию свою знаешь? Партия что говорит? Восстанавливай хозяйство... Я-то восстанавливаю, а ты? Портки свалились... Хорош пример для мужика... А, чорт! Раскол из-за тебя корыто.

Как ни уважала Анна Михайловна Семенова, душой, сердцем она была на стороне Петра Елисеева.

Точно добрый горячий конь, впрягся он в крестьянскую работу и тянул, не зная удержу. Он понукал и жену, и ребят, всем находя дело.

„Как клещ, впился в хозяйство, — одобрительно думала Анна Михайловна. — С таким не пропадешь — умный, заботливый, как мой Леша“.

Петр Елисеев был с ней ласков, захаживал во двор к кобыле и, когда Машка от чего-то охромела, сам вызвался лечить. Это не помешало ему как-то сердито сказать:

— Ребята твои, Анна, мне всю луговину перед избой истоптали. Народила, так гляди за ними, дьяволятами.

— Господи, Петр Васильич, — изумленно произнесла Анна Михайловна, — да взаперти мне их, что ли, держать?

— А мне какое дело. Хоть под подолом.

В другой раз он прибил ребят, и Анна Михайловна поссорила с Елисеевым.

Он огородил дом палисадом, развел георгины и насадил тополя.

В навозницу Анне Михайловне показалось, что загон ее в поле ровно бы сузился, а полоса соседа будто стала пошире. Анна Михайловна не верила глазам своим.

— Ты никак, Петр Васильич, по ошибке... моей земли... немножко прихватил, — сказала она нерешительно.

Елисеев так и побагровел.

— Брешешь, чортова баба! Где прихватил? Очумела? По этот куст земля спокон веков моя была.

— Да как же так? — все еще недоумевала Анна Михайловна. — Прошлый год я куст облахивала.

— Значит, чужое облахивала, — процедил сквозь зубы Елисеев.

Горек был попрек Анне Михайловне. Она не поленилась, тут же обмерила ширину своего загона. Нехватало почти аршина.

— Не по-соседски это, Петр Васильич, — грустно сказала она.

Елисеев закусил ус, придвинулся вплотную и, опалив горящим взглядом, прохрипел, задыхаясь:

— Что же, по-твоему... по-соседски... я тебя должен кормить... с вырожденками? Да катись ты к... Вершок земли тронь — ноги обломаю!

С тех пор Елисеев не здоровался с ней, не спрашивал о кобыле.

А Машка раздобрела, через полгода ее нельзя было узнать.

Кое-как, с грехом пополам, обзавелась Анна Михайловна сбруей, телегой, плужиком. „Может, жеребеночна магуляет, — гадала она, — вот я бы и воскресла...“

## VII

Когда началась свободная торговля, Анна Михайловна пробовала сеять больше льна, чтобы в доме завелась лишняя копейка. Загон льна, сиротливо затерянный в овсах и картофеле, голубел во время цветения, точно крохотное высыхающее озеро. Окруженные со всех сторон колючим осотом, обвитые повиликой, стебельки льна хирели, сохли и часто погибали. Анна Михайловна тербила редкий, словно выжженный, лен и чуть не плакала от обиды, что труды пропадают даром, что руки исца-

рапаны в кровь злым осотом. Потом лен надо было колотить вальком, расстилать, поднимать, сушить, мять на деревянной трехзубой мялке и трепать, трепать без конца, пока не отнимутся руки и повесмо<sup>1</sup> не превратится в серо-бурый короткий хвост.

Зимой на базаре сердитый барышник, в синей поддевке и высоких чесанках с галошами, раз пять браковал лен. Измучив Анну Михайловну, запугав, он наконец небрежно снимал кожаную рукавицу, не глядя запуская ладонь в пухлую горку волокна и назначал грошовую цену.

Связку баранок, золотую от ржавчины селедку и несколько аршин дешевенького ластика на рубашонки сыновьям привозила Анна Михайловна с базара и за долгим праздничным чаем судила-рядила с бабкой Феклой, что вот-де родится же где-то, словно на краю света, длинный серебристый лен, который барышники с руками рвут и в цене не стоят. Но что это за лен и как обихаживают его — Анна Михайловна не знала. Да и бог с ним, с этим льном. Знать, не принимает наша земля ничего, кроме ржи и овса.

Не дождалась Анна Михайловна и жеребенка от своей кобылы. Летом объелась Машка клевером и подохла. И снова была у Анны Михайловны земля, да нечем ее было обрабатывать. Совет освободил ее хозяйство от налога, как ни кричали на сходе Исаевы.

— На нашем хребте, дьяволы, едете. Переломится хребет-от!

— А мы только этого и ждем, — посмеивался Николай Семенов.

— Тогда полетит ваша власть к чортовой матери.

— Кто и куда полетит, там видно будет, — отвечал Семенов.

Туго пришлось Анне Михайловне осенью без лошади. Пора стояла горячая. Еще не сжали ржи, как поспели яровые. Надо было хлеба убирать, и пахать под озимь, и сеять. Ни за какие деньги нельзя было выпросить на селе лошади. Анна Михайловна два утра подсобляла молотить рожь Авдотье Куприяновой в надежде, что та даст ей мерина хоть на полдня. Муж Авдотьи лежал в больнице, помощь оказалась весьма кстати, и Куприяниха многословно и ласково благодарила, посулив дать

<sup>1</sup> Повесмо — пучок льняного волокна.

лошадь в любое время. Но когда она отмолотилась и Анна Михайловна, вручную, сыромолотом, нахлестав для себя семян, заикнулась про обещанное, Авдотья и выговорить ей толком не дала, завиляла, затрещала: и мерин у ней, оказывается, охромел, и в больницу надумала к мужу ехать, и самой пахать надо.

Сунулась Анна Михайловна еще к трем-четырем хозяевам, иные отказывали наотрез, другие обещали — погода, но так неохотно и с такими оговорками, что не было никакой уверенности, что они сдержат слово. И, как на грех, Николай Семенов вторую неделю пропал в уезде по делам своей ячейки. Беременная Дарья кляла мужа на чем свет стоит и на себе таскала снопы на гумно с поля.

— Хоть заступом копай полосу да граблями борони, — горевала Анна Михайловна, отчаявшись.

Она брела по селу с ребятами, простоволосая, растрепанная. Полуденное жаркое солнце накалило по-летнему песок, он обжигал подошвы. Ребята пылили сзади и хныкали. И не было сил прикрикнуть на них, опра-вить волосы, стереть липкий пот с лица.

Сонно дремало село, чуть золотясь первой увядающей листвой берез и лип. Тягостно стучала сортировка на току Гуциных, то жадно захлебываясь, то умолкая, словно устав глотать зерно. В зеленоватой вонищей грязи пруда, возле ямщицкой избы, изнемогая от зноя, развалилась свинья, подрагивая жиром, точно сама Исаиха. Рыжая от пыли крапива чахла в канаве. На чертополохе, придавив колючки к земле, висел кем-то оброненный сноп ржи. Воздух был неподвижен, сух и горяч. Из-за церкви с самого утра поднималась и не могла подняться синяя, как купол, туча.

Народ возвращался с поля. Где-то скрипели невидимые телеги. Слышался говор. Вот из проулка выехал пахарь, и опрокинутый на рогулях плуг блеснул осколком зеркала. От реки, в чащобе ольхи, еще зеленой, показался желтый, точно песчаная гора, воз. Лошади из-за густых ольх не было видно, и громада снопов медленно плыла живой скирдой.

Анна Михайловна пошла гумном, чтобы не встречаться с людьми. Ребята держались за подол и капризничали. Они устали, хотели есть. Она зашла в огород выдернула по морковке и дала ребятам. Перестав пла-

кать, они захрустели, как зайцы, и потребовали еще репы и бобов. Анна Михайловна позволила им самим выдрать по репине, которые приглянулись, и нащипать полные горсти стручков. Присев на межу, рядом с матерью, довольные ребята угощались и болтали. Они не забыли и ее, мать, предлагали ей кусочки белой, как сахар, репы и темные крупные и жесткие бобы. Залезли к матери на колени, обвили ее шею загорелыми исцарапанными ручонками, повалили навзничь. Смеясь, они не позволяли ей вставать.

Как звезды светились над матерью глаза сыновей. Мишка, балуясь, теребил ее волосы, подвижное лицо его сморщилось от смеха, пуговичный носик расплылся. Ленька, навалившись на грудь медвежонком, трубил в ухо, и русый вихор его щекотал кожу. Анна Михайловна вспомнила о муже и в первый раз подумала о нем без боли, точно он был жив... И все, что беспокоило и мучило ее минуту тому назад, отодвинулось в сторону, забылось, уступая место простому материнскому чувству. Так хорошо было лежать не шевелясь, на спине, смотреть в беззаботные сыновьи глаза, слушать болтовню и смех, чувствовать на груди теплую живую тяжесть и щекочущее, приятное прикосновение ручонков, упругих, пахнущих морковью, губ, мягких волос...

Сыновья заметили у матери слезы.

— Ушиблась? — удивился Мишка, перестав смеяться. — Ну... а еще большая. Смотри, мам, как я кувырнусь... и не больно. Смотри.

Ленька сполз с ее груди и, внимательно глядя на мать, посапывая, настойчиво спрашивал:

— Головой стукнулась, да? Которое место?.. Давай подую — пройдет.

— Прошло... — сказала Анна Михайловна, улыбаясь и смахивая слезы. — Коли уронили, сами теперь и поднимайте меня.

Ребята схватили ее за руки, потянули. Она вскочила с земли так неожиданно легко, что сыновья, потеряв равновесие, попидали на траву.

— А! Вот вам... Ма-ла ку-ча! — засмеялась мать и принялась тискать и щекотать ребят, приговаривая: — Станете над матерью измываться? На землю ронять станете?..

Вдосталь натешив ребят, Анна Михайловна пошла в избу.

У палисада, под тенью молодых тополей, Елисей распрягал своего Буяна. Жеребца донимали мухи, он не стоял смиренно, и Елисей ругался. Выцветшая гимнастерка его, рябая от дегтя и бурых мокрых пятен, была, как всегда, распахнута на груди.

Анна Михайловна хотела пройти мимо, но Петр окликнул ее, точно между ними и не было никакой ссоры.

— Будет дождь, как думаешь? — спросил он, нетерпеливо поглядывая на небо.

— Должно, будет, — неохотно ответила Анна Михайловна, оправляя волосы.

— А стороной не пройдет? Тпр-ру, дьявол...

Он посмотрел еще раз на благодатную тучу — синее крыло ее вот-вот собиралось размахнуться в полнеба, — поцарапал обожженную мокрую грудь и, уверившись, что дождь непременно будет, весело заключил:

— По заказу. Во-время отсеялся... А ты?

— На себе пахать собираюсь, — сухо сказала Анна Михайловна, поворачиваясь к крыльцу.

Елисей бросил хомут и шлею на землю, резко свистнул. Чалый потный жеребец послушно выскочил из оглобель и, фыркая и отряхиваясь, пошел во двор, махая пышным хвостом. Калитка была притворена, жеребец привычно толкнул ее мордой. Наблюдая за конем, Петр пробормотал:

— Что ж ты... Всем кланяешься... а у соседа и попросить не хочешь?

— Какой толк? Все равно не дашь коня.

— А может, и дам, почему знаешь?

— Скорей удавишься, — сказала, озлясь, Анна Михайловна.

Петр рванул с земли сбрую, кинул ее на себя и побежал к навесу, печатая дорожку коваными каблуками тяжелых сапог. И, как бы замечая его след, порыв ветра поднял на дорожке пыль, закрутил ее и понес дымным столбом по двору.

— Не любо правду-то слушать, — сказала Анна Михайловна и ушла в избу кормить ребят обедом.

Вскоре в доме потемнело, потом окна осветила молния, глухо прокатился гром. Ребята затихли за столом, перестав есть. Анна Михайловна перекрестилась, за-

крыла вьюшкой трубу в печи и притворила, по обычаю, дверь, чтобы не было сквозняка.

По стеклу осторожно стукнули редкие крупные капли дождя; снова и снова мигнула торопливо молния, точно подгоняемая раскатистыми близкими ударами грома, настойчивее застучал дождь и, наконец, хлынул потоком.

— Ну, слава тебе... — еще раз перекрестилась Анна Михайловна и бросилась под сени искать старый ушат. За лето ушат рассохся, его следовало замочить и кстати запастись мягкой дождевой водой: нет ее лучше для пачения и стирки.

Устанавливая под стоком ушат, Анна Михайловна заметила Петра Елисеева и подивилась. Елисеев, скинув сапоги, стоял возле палисада. Дождь хлестал его, гимнастерка и штаны смокли и прилипли к телу. Петр добро смеялся, поеживаясь и приплясывая в луже.

— Знатно... как в бане... У-ух, хорошо... Да отвязись, чорт! — отвечал он жене, звавшей в избу.

„Ишь его разбирает... чудака“, — беззлобно подумала Анна Михайловна и невольно сама подставила пригоршню под сток. Холодная вода приятно обожгла лицо.

— Что? Важно? — крикнул ей Елисеев. — Вот он, батюшко... мой-то, заказной... Теперича озимь, гляди, попреет.

Он поднял сапоги, вылил из голенищ, как из ведер, воду и, сунув сапоги подмышку, зашлепал под дождем на двор к Анне Михайловне. Улыбка не сходила с его оживленного мокрого лица. На ходу он поправил ногой ушат под стоком.

— Бери коня, — сказал он, выжимая подол гимнастерки. — Дождь пройдет — и запрягай. Пахать опосля такого ливня — благодать.

— Ну, спасибо, коли так, — недоверчиво поблагодарила Анна Михайловна.

Елисеев наклонился к ней, обдавая сыростью. Лишай на его лице темнели синяками, с обвислых усов падали светлые капли.

— Ты на меня, Анна, не сердчай. Я человек боевный, горячий. Иной раз и перехватишь... — Он смущенно кашлянул, помолчал. — И жадностью не попрекай, — сказал он глухо. — Я, может, сам... себя... ненавижу.

Анна Михайловна не знала, что ответить. Почему-то она ждала — вот сейчас Елисеев скажет про загон в поле,



сознается, что обпахал ее землю, и все между ними пойдет по-старому. Но Петр ничего больше не сказал, заботливо потрогал скользкие сапоги подмышкой и ушел со двора.

## VIII

В два уповода вспахала, посеяла и заборонила Анна Михайловна свой клин.

Стосковавшись по настоящей крестьянской работе, она давно не трудилась с такой охотой. Буян ходил ровно и споро без понуканий. Он брал широкий отрез, не сбивался, и, кажется, можно было совсем не держаться за ручки плуга. Только на заворотах Буян любил немножко баловать, но Анна Михайловна быстро приноровилась, туго натягивала вожжи и не давала жеребцу воли.

Земля после дождя была мягкая и влажная. Она приятно холодила босые ноги. Плотно, ломоть к ломтю, ложился темнобурый суглинок и, просыхая, светлел и рассыпался, хоть не борони. Белоносые грачи важно шагали за Анной Михайловной, точно проверяя хозяйски пашню. Отваливая новый толстый ломоть, Буян, всхрапывая, нагонял грачей, и они, лениво раскинув иссиня-черные, блестящие на солнце, крылья, нехотя отрывались от земли из-под самых копыт жеребца и, описав низкую короткую дугу, тяжело падали сзади Анны Михайловны. Она смотрела на грузный полет грачей, на стремительные, не знающие усталы, копыта Буяна.

„Мне бы такую лошадь... небось, я тоже встала бы на ноги, — думала Анна Михайловна, вспоминая про свою незадачливую кобылу Машку. — Вот и семян нахлыстала мало. Ведь можно было посеять еще полоску. Хоть и без навоза, все уродилось бы что-нибудь. Экая я недогадливая!“ — ругала она себя, с завистью глядя на просторный елисеевский загон, лежавший подле.

Она и сама не заметила, как отвалила от него два добрых ломтя. Потом спохватилась, и ей стало известно.

„Да ведь и он, нечистый дух, у меня полосу обпахал... Вот и расквитались“, — успокаивала она себя, тревожно оглядываясь — не видит ли кто ее греха.

Поле было пустынно, и Анна Михайловна, облегченно вздохнув, старалась забыть то, что она сделала.

„Бог простит... Не от сладкой жизни на такое решилась. Ребятущек моих ради... Правдой-то, видать, не проживешь. Вон дарьин Коля, с кривдой воюя, последнюю рубаху с плеч спустил“, — подумала она о Николае Семенове.

Непонятен был Анне Михайловне этот умный и добрый человек. Чего он ищет? О чем хлопочет?

„Радость-то, вот она, как прежде, в земле лежит. Распаша, обиходь ее, матушку, она тебе безотказно родить начнет, как молодуха... Помогите мне, господи, лошадку завести“.

Она взглянула на Буяна и вдруг заторопилась, повернула жеребца обратно, к елисеевскому загону.

— Свяжешься с ним — греха не оберешься... И лошади другой раз не даст, — прошептала она вслух, отваливая обратно припаханную землю.

Заканчивая бороньбу, Анна Михайловна не доглядела — на завороте Буян, играя, выбросил из оглобель зад и порвал чересседельник.

— Экий ты, право, горячий... в хозяина, — пожурила она, однако не придала случившемуся большого значения и связала ремень узлом.

Когда она вернулась в полдень с поля и распрягала жеребца, подошел Елисеев.

— Управилась? — спросил он, внимательно оглядывая Буяна.

— Да еще как! — весело откликнулась Анна Михайловна, с мужижкой хваткой снимая дугу и тяжело и радостно вздыхая. — Выручил ты меня, Петр Васильич, так выручил... спасибо. Вовек не забуду. Отработаю на льне либо на картошке...

И, не зная, чем еще отблагодарить Елисеева, она похвалила лошадь.

— Конек боевой, не жалеюсь, — сказал довольный Петр, ласково похлопывая жеребца по крутому жаркому крупу.

Он стал отстегивать седелку и насупился.

— Это кто же... чересседельник... порвал?

— Прости, не доглядела, — сказала Анна Михайловна, испуганно и удивленно смотря, как наливается нехорошей кровью короткая шея Петра. — На завороте меня Буянок потрепал малость...

Елисеев швырнул чересседельник себе под ноги.

— Вот и дай дуре коня, она тебе всю упряжь ухайдакает.

— Не велик грех, Петр Васильич... ремень старый, сопреп, должно, — оправдывалась Анна Михайловна. — Да я тебе свой отдам, коли на то пошло.

— Чужое все старое да прелое... Я этот ремень с фронта принес, понимаешь ты? — закричал Елисеев, хватая чересседельник с земли и замахиваясь на Анну Михайловну так, что она попятилась. — Ни за какие червонцы такого ремня не купишь. Ах ты... Ть-фу! Безрукое отродье! Недаром у тебя все валится... нищета проклятая!

— На вот... совсем новый у меня... Подавись!

Петр мельком взглянул ей в руки, ударил жеребца кулаком в скулу и погнал во двор. Анна Михайловна бросила чересседельник в палисад, на луговину.

Вечером, встречая корову, она заглянула к соседу в палисад. Чересседельника на луговине не было.

На крыльце, гремя подойником, плакала и причитала жена Елисеева — Ольга.

— Я ли не убиваюсь, бессовестный? Диви, неряха бы какая была, нерадивая — не обидно таковой попреки слушать... А то и по дому и по хозяйству... Как в работницах у тебя живу. И все мало. Себя уморил и другим сдыху не даешь. В три горла, что ли, жрать будешь?

— В четыре. Вона, горла-то... по лавкам сидят, — отозвался из сеней хриплый, лающий голос Петра.

— Объели? Детки родные тебя объели? Гони с морвинками по миру.

— Замолчи, отрава!

— На-ко, выкуси! — закричала Ольга и так ударила подойником, что звон прокатился по крыльцу. — Раскодился... Эко слово ему сказали — повременить с молотбой. Ведь праздник завтра, окаянная сила, пресвятой богородицы день... Люди добрые в церковь пойдут, а он — под ригу. Ты еще ребят заставь молотить.

— И заставлю.

„А ведь и мне, грешной, невдомек, что богородицын день завтра, — подумала Анна Михайловна, загоня корову на двор. — Все брошу — пойду, помолюсь... Спасибо Ольге, напомнила... Чисто она Петра бреет, поделом ему...“

Видела Анна Михайловна — не одинок Петр Елисеев в жадном своем старании. Почти все мужики на селе, словно изголодавшись по земле, поднимали запущенные в войну перелогы, раскорчевывали пустоши, вдвое и втрое увеличивали огороды. Захрюкали по омшаникам и хлевам поросята, заблеяли овцы, цветисто заиграли крашенные заново наличники и ставни. Менялись соломенные крыши на драночные, подрубались избы, а кто побогаче — и новые ставил, пятистенные, со светелками, кинутыми под самое небо, с просторным крыльцом, обшитым тесом и украшенным веселой резьбой.

— Жизнь просторна — изба тесна... Любота! — приговаривал, играя топором, хромой Никодим. Его наперебой приглашали плотничать, зная золотые никодимовы руки. И он, маленький, ловкий, важно шествовал по селу, набивая табаком нос и блаженно чихая. — Признаюсь, не верил комиссарам... Ан сполнили, черти, свое слово. Из гроба нашего брата подняли. Любота!

— Да тебе и гроб тоже доход, — посмеивались мужики. Никодим сердито махал ручонками.

— Провались он... Не в доходе сладость. Сколачиваешь гроб — ровно в могилу заглядываешь. Радости нет. Вот дом рубить — это сподручнее.

Смотрела Анна Михайловна на свою старую кособокую избенку, и черная тень не сходила с ее лица.

„Помрешь — не поживешь в новом доме“.

Изредка, по праздникам, в часы досуга, Анну Михайловну навещала Дарья Семенова, тихая, грустная женщина. Однолетки, они вместе когда-то гуляли в девицах, замуж вышли в один год и сейчас одинаково были несчастливы. Дарья выглядела старше своих лет, постоянно была насносах и тощая, — один живот да глаза. Она приводила с собой говорливый табунок ребят, к которым тотчас же присоединялись Миша и Ленька.

А они, две матери, садились на крыльце, смотрели, как играют ребята, и, отдыхая, задушевно беседовали вполголоса про самое хорошее, что было у них в жизни. Таким самым хорошим, постоянно радующим, были воспоминания о девичестве и разговоры про детей. О нужде, о печалях они старались не говорить, чтобы не бередить сердце: у каждой своего горя хватало с достатком.

Иногда они подолгу молчали, и молчание было столь же приятно, как и беседа.

Все-таки Дарья, не стерпев, нет-нет, да и жаловалась:

— Мой-то, непутевый, опять в город укатил...

— Бог с ним, Дарья.

— Кабы бог... — вздыхала та, устало закрывая глаза. —

С сатаной связался, куманист... А в доме укусить нечего.

— Возьми у меня, — предлагала Анна Михайловна. —

Я два каравая вчера испекла. И такие удачные вышли, заварные.

— Видно, так и придется сделать, спасибо, — говорила Дарья и смолкала, еще плотнее сжимая длинные черные ресницы.

Лицо ее становилось каменным. Потом тихая улыбка трогала ее сухие, тонкие губы. В больших зеленоватых глазах ее зажигались искорки, как в молодости. Она опять возвращалась к любимым воспоминаниям.

— Помнишь, как мы в девках к пасхальной заутрене с тобой ходили? — спрашивала Дарья чуть слышно. — Я еще в яму провалилась... Помнишь?

— Ну как же. Чай, я тебе платье-то в реке отмывала. А парни нас и застали.

— Да... И Коля мне калашей на оборку наступил. Полез христосоваться до заутрени... Вот дурак был... как сейчас.

Забегали к Анне Михайловне бабы за мутовкой или горстью соли и просто так — посидеть, посудачить, посмотреть на чужое горе. Чаще других заносило, словно ветром, Авдотью Куприяниху и неразлучную ее товарку по болтовне — востроносую Прасковью Щербакову, за частый язык прозванную на селе „Строчихой“. Они усаживались на кухне, мешая Анне Михайловне заниматься делами, удобно складывали на груди руки и начинали судачить.

Кому только от них не доставалось! Попадало перво-наперво Дарье Семеновой: мужик, гляди, совсем от рук отбился, а ей, неряхе, хоть бы что, знай, ребят таскает, как крольчиха. И Петру Елисееву попадало: не поклонится, забурел, богач, идет и морду воротит... скороспелую картошку, слышь, развел, в город возит, деньжищ не знает, куда девать, а ребята гольшами бегают; и проезжему комиссару: дьявол очкастый, петуха задавил...

катит на тарантасе парой, на коленках портфель, что голенище лаковое, сверкает, и сам весь в коже, как морт, а торговаться стал — ну, барышник, рубль за петуха отвалил, да еще хотел его с собой, на закуску, взять; и Ване Яблокову попадало: лентяй, лакомка, ему бы только в рюмку глядеть да колбасу жрать; и попу, отцу Василию: подумай-ко — всюнощную не служил в субботу, грит, мочи нет, а с удочками на Волге торчать да по грибы в лес шляться у долгогривого мочи хоть отбавляй... Господи, и что за попы ноне завелись, недаром бог-то забыл нас, грешных... И многим другим, знакомым и незнакомым, попадало от Строчиخي и Куприяннихи.

Послушать их, только и есть две праведницы на свете — Авдотья да Прасковья. У них и мужья по половице ходят, и в дому чистота, достаток и благодать божья. И все-то ладится, само делается — ну, рай небесный, ангелов одних нехватает.

Анну Михайловну жалели.

— Горемыка! У счастливых одно дитя — помирает, а у тебя два — и живут. И хоть бы когда простудились, заболели насмех, окаянные. Нет, смотри, какие здоровяки растут... И сердиться нечего, тебя жалючи говорят. Подумай, как бы ты жила одна-то. Припеваючи. Сама себе барыня, что работать, что отдыхать. А тут что же? И одеть надоть-ка, и обмыть, и накормить... Чай, и кусок-то не завсегда припасешь... Ну? Уж будто завсегда? Да и то сказать: наша сторона как раз для горюна — и вымучит, и вымучит.

Анна Михайловна старалась, как могла, при бабах скрыть свою нищету. Она не обедала, если бабы торчали на кухне в полдень, не ужинала, если сидели вечером.

Но бабий любопытный глаз все видел.

— Что это, Анна, ты никак и чай без сахара пьешь? — спрашивала Строчиха, вертя острым носом. — Сахарница, гляжу, — эвон в горке пустая... Да заняла бы у меня, опосля отдашь.

— В чулане сахар держу. В избе мухи одолевают, — сухо отвечала Анна Михайловна.

— Беда с мухами... А у меня сахару, слава тебе, четыре пуда запасено. Второй год стоит. И скажи, зубы обломаешь, такой крепкий, — строчила языком Прасковья. — И дочери на три платья припасено, чистый

бархатный атлас. А одно тонюсенькое. А дорогое, шелк... И сколько денег я ухлопала — страсть! Да ведь что ж, невестится девка — припасай приданое. Вот лису замест воротника заказала...

— Хорош я кусок ластик у на базаре отхватила. Не маркий, пятнадцать аршин, — хвасталась Куприяниха.

Анне Михайловне нечем было похвастаться, и она сторижилась баб. Ей больше по душе были мужики, с которыми она, как хозяйка дома, сталкивалась по работе. Они не спрашивали Анну Михайловну о ребятах, не жалели ее и бранили, как равную, за худой огород в поле, за пару слег, которые она посмела срубить в общественной роще у церкви.

Нравились ей и разговоры мужиков. Скупые на похвалу, всегда чем-то немножко недовольные, скрытые в словах, каждый себе на уме, мужики толковали про всякую всячину, осторожно обходя личные удачи и неудачи. Их ничем нельзя было удивить, они все знали, все понимали и никому не верили, кроме как самим себе. Хорошее они чаще всего подвергали сомнению, а с плохим соглашались без спора, охотно преувеличивая его. Они подсмеивались друг над другом, говорили намеками и любили замолчать на самом интересном месте разговора. Эту мужицкую хитрость и лукавство Анна Михайловна знала с давних пор и привыкла кое-что понимать по обрывкам слов, жестам, взглядам, недоговоренности.

И то, что ей удавалось понять, волновало ее и обнадеживало.

— Савелий вчера в газетке вычитал — серебряные рублевики скоро появятся... также и полтины, — рассказывал Андрей Блинов, молодой степенный мужик, с интересом разглядывая свои широкие в мозолях ладони. — Посмотреть бы на этот серебряный рубль. Звенеть, чай, леший, будет.

— Шибко!

— Вроде червонца бумажного...

— А по мне, хоть деревянные будь... Лишь бы в мошне поболе. Теперь все купишь.

— Упоминалось — серебряные, — повторял, не сдаваясь, Блинов, ковыряя сухие мозоли. — С пробой... как при Николае.

— Колюха Романов фальшивых много делал, — лениво сплевывал Ваня Яблоков, зевая и почесываясь.

Костлявый живучий старик Панкрат, дальний родственник Анне Михайловне по мужу, заволакиваясь дымом трубки, словно прячась от людей, хрипло заключал:

— Теперича все фальшивое, — что деньги, что люди.

— Да уж, рот не разевай! Марш-маршем в карман к мужику залезут... без спроса, — живо отзывался Петр Елисеев.

— Али червячки завелись? — спрашивал Андрей Блиннов, усмехаясь. — Беспокоят?

И все мужики ерзали и переглядывались, улыбаясь в бороды.

— Завелись, не завелись... с умом жить можно, — отвечал Елисеев, отводя в сторону сытые глаза.

— Это верно.

— И верно, да скверно.

— С умом и прежде жилось не плохо, — глубокомысленно говорил Ваня Яблоков.

— Уж не тебе ли? — насмешливо спрашивал Елисеев.

— А что ж? И мне... — пыжился Яблоков, надувая щеки. — Я, брат, в Питере жил, дай бог каждому. День там, как час. Пока магазин хозяину откроешь, товарец покрасивше на прилавок раскинешь... Ну, там, дамочке ма-де-паламу, который заваялся, присоветуешь, глянь, и обед. Сейчас в трактир... Стаканчикхватишь, рубцом либо студнем с хренком закусишь — аршин-то у тебя сам шелка меряет. Хе-хе... Барыня и мигнуть не успеет, как четверти в покупочке нет-с. Тары-бары разводишь, а аршин-то, стервец, меряет!..

Рассказывая, Яблоков весь преобразался. Куда девалась его лень и растяпость. Он вертелся перед мужиками вьюном, кланялся, точно покупателям, подмигивал, хихикал и вдруг, благородно склонив набок лохматую пыльную голову и лукаво скосив масляный глаз, вскидывал короткие руки, и они молниеносно мерили невидимым аршином.

— Пожалуйте-с! Натянул — и ножницы за ухо, рванешь, только треск идет... А хозяин, бес, тебе шепотком: „За старание — четвертак...“ Стало быть, вечером опять в трактире. Поджарочку говьяжью закажешь, графинчик-с... Рюмашечку одну-единственную опрокинешь, хлеба понюхаешь и ждешь... — Ваня Яблоков срывает



подле себя мятый лист подорожника, нетерпеливо засовывал его в рот и жевал, потирая руки.— Не-су-ут! — кричал он, захлебываясь слюной.— А она, мерзавка, шипит на сковородке... А тут песни... слезой прошибает. Опять же граммофон... Н-ну, пир горой!

Мужики, как малые ребята, валились со смеху на траву. Смеялась, глядя на Яблокова, и Анна Михайловна.

— П-пи-ро-валь-щик!

— Помним, помним, как ты из Питера с березовым кондуктором прикатил.

— Вот-те и поджарочка... пожарила, честная мать!

Ваня Яблоков сконфуженно замолчал, почесываясь. Вяло сердился.

— Ну, что ржете? Верно говорю... Дай-ка, Андрюша, табачку на закурку. Кисет-то я дома забыл, вишь какая оказия...

Блинов нехотя доставал кисет и продолжал выкладывать новости:

— Вот еще насчет Европы пишут... На поклон, чу, к нам идет. Михаил Иванович Калинин послов принимает.

— Нужда заставит — пойдешь.

— Это буржув-то?— удивлялась Анна Михайловна, невольно вмешиваясь в разговор.

— А что ты думаешь? Сильнее нашего народа на свете нет,— соглашался Петр Елисеев.— В гражданскую всем по шапкам надавали. Приходится кланяться.

— Да-а,— с сомнением тянул Блинов, осторожно отсыпая Ване Яблокову щепоть махорки.— Поклонятся и зараз на шею сядут.

— Не привыкать.

— Это точно.

— Шалишь, брат! С меня довольно,— горячился Елисеев, вытягивая жилистую обожженную руку.— Рубану... не отсохла еще... И партия большевиков не позволит. Она линию нашу гнет. Сказала — землю мужикам, и сделала. Постой, так ли еще для мужика будет вольготно.

И, точно сердясь, что сказал лишнее, он заворачивал на палец ус и дергал его. Потом насмешливо цедил:

— Семенов Николаша намедни трепался... выставка, слышь, в Москве была... сельскохозяйственная. Будто из города туда партийные ездили, смотрели... И показы-

вали им машину. Не поймешь — танк не танк, автомобиль же автомобиль... Девять плугов зараз тащит... Врут, поди.

— Известно, брехня, — соглашались мужики.

Но по глазам мужиков Анна Михайловна видела, что они верят в эту диковинную машину, как верят в то, что жить им будет скоро лучше. И сама она, наслушавшись всего, начинала верить, что придет конец ее тяжелому житью.

Она ждала этого и не могла дождаться, и вера покидала ее.

## Х

Опять гремела бубенцами от станции до уездного города лихая тройка Исаева. Когда седоков стало много, Исаев завел гнедого рысака, новый тарантас на рессорах и ямщиичничал на пару с работником.

Снова открылась в селе бакалейная торговля Гушиных. За прилавок стал брат Кузьмы, Савелий, такой же, как Кузьма, косоглазый и в таком же белом фартуке. По хозяйству и в доме у него управлялась племянница Катюшка, выписанная из-за Рыбинска, угрюмая, черная, как цыганка, длиннорукая девчонка-подросток. Савелий ласково звал ее дочкой и, покрикивая на нее и чахоточную жену, носился по двору и лавке вездесущим бесом. Он сам пек креңдели, ситный с изюмом, откармливал свиней, скупал по деревням яйца и овечью шерсть, торговал, работал в поле, читал мужикам газеты и еще находил время петь на церковном клиросе.

Вертлявый, веселый, он, встречаясь с Анной Михайловной, еще издали махал ей суконным картузом и визгливо, по-бабьи, верещал:

— Богородица ты моя... жива? И двойняшки здоровы? Ну и расчудесно.

Он вертел во все стороны стриженной белобрысой головой, точно все высматривая и подмечая. Щуря веселые бегающие глаза, ласково спрашивал:

— В навозницу не подсобишь? Совсем закружился... Дернул меня чорт торговлишкой заняться, а земляца — плачет. Пудовик аржаной отвалю, я ведь не жадный, сама знаешь. Приходи... девок еще порядил... Эх, и попоем песенки! Лапшой со свиной угощу... и чай с медом.

Анне Михайловне мука была нужна, и она, бросая свои дела, шла к Гушину.

Работали у Савелия много и весело. Сам он, расставшись с фартуком, босой и грязный, летал с вилами по двору, пел песни и визгливо подзадоривал девок:

— Пять пудов на вилах подниму, — кто больше?

Отвешивая „с походом“ заработанную муку, Савелий кидал Анне Михайловне в подол связку румяных кренделей.

— Попробуй... собственного изделия. Чем я не пекарь? Хо-хо!

Ребятам он совал леденцы, пряники, медовые рожки. Все это радовало и удивляло Анну Михайловну.

— Ты что со мной заигрываешь, как с девкой? — смущенно спросила она однажды, не зная, благодарить ей Гущина или сердиться.

— Девка и есть! — захохотал Савелий, кружась возле нее и точно обнюхивая. — Да какая... Двойней в сорок лет родила — это надо понять. Не всякая девка так горда.

Оборвав смех, вытер фартуком глаза и, скосив их куда-то в угол, шумно вздохнул.

— Жа-алко мне тебя, Анна... мученица ты, право. Живешь одна-одинешенька, ни ласки, ни привета... Плохо власть заботится, вот что я скажу. Кабы был я в совете, дьявол те задери, тряхнул бы казной для красноармейских вдов... Может, лошади тебе надо? Я завсегда, только скажи. — Он погладил ребят по головам и грустно пробормотал: — Сопляки, ничего не понимаете... Тятюку вам надо... Да ведь тятюки в лавке не продаются... Поди, Анна, кипяток пьешь? Стой-ка.

Савелий побежал за прилавок, схватил с полки осьмушку чая.

— Возьми... на бедность свою вдовью...

Связка кренделей со стуком упала на пол. Голос у Анны Михайловны перехватило. Побледнев, она свистящим шопотом спросила:

— Милостыньку подаешь?

Позвав ребят, она отступила к порогу.

— Что заработано — отдай... А милостыню я сроду не брала. Минька, положи пряник!

Савелий схватил себя за голову, хлопнул ладонями по белобрысой макушке, бросился к Анне Михайловне.

— Голубушка... богородица ты моя... обидел? Ну, прости дурака... Да от чистого сердца я... Ах ты, господи!

Торопливо поднял связку кренделей, подул на них, оттер фартуком и снова принялся совать вместе с чаем, кланяясь.

— Не даром... Уж, пожалуйста, возьми... отработаешь... Ну, хорошо, хорошо, — не бери, извиняюсь...

Загородив дверь, Савелий жалобно спросил:

— И за что ты меня не любишь, Анна? Всем добра хочу, ей-богу. Время-то свободное, только бы жить да жить... в мире, в согласьи... Вот и Коля Семенов на меня завсегда косится. За что, спрашиваю? Чем я не угодил?.. Хоть бы ты, Анна Михайловна, за меня слово перед ним замолвила. Ведь знаешь ты меня. Вот я весь тут!

Савелий ударил себя в грудь и широко растопырил руки, точно прося пощады. Голова его смиренно склонилась, глаза перестали косить. Он улыбнулся печально, облизывая серые потрескавшиеся губы.

„Шатун его поймет, что за человек, — думала Анна Михайловна. — Может, и вправду добра желает“. И она поблагодарила Гущина, унося муку.

Охотно шла к нему Анна Михайловна на „помочи“ и иногда даже принимала его подарки. Николай Семенов замечал это, хмурился и как-то при ней сказал Гущину:

— Я тебя, жулика, насквозь вижу.

— Ну-у? — заулыбался Савелий, весело скосив глаза. — Из стекла, что ли, я?

— Стекланный, как пивная бутылка.

Савелий визгливо захохотал. Потом, оборвав смех, схватил николаев рукав и погладил его. Николай брезгливо отодвинулся, но Гущин, словно не замечая этого, цеплялся за рукав.

— Полно, Николай Иванович. Ну, зачем понапрасну маленького человека обижать? — дружелюбно сказал он. — Разве я супротив власти? Али налоги не плачу, смутьян какой?.. Вот выборы скоро... За тебя, чорта, голос в совет подам... И в газете ты зря прописал. Какой я непман? У меня работника нет.

— Зато, работниц хоть отбавляй, — сказал Семенов, взглянув на Анну Михайловну.

— Катюшка? Племянница она мне. Сирота. Вот те христос! — Савелий торопливо перекрестился. — Спроси ее, коли мне не веришь... Да что я, изверг? Тоже родственные чувства имею... Как у родного отца живет.

— Оно и видно: не жнет, а белый хлеб жует.

— Так ведь я и сам тружусь, ни днем, ни ночью покоя не знаю. Как партия ваша говорит: который работает — тот и ест... А что касается торговлишки — каюсь, бес попутал. Между прочим, рассуждаю: кому-нибудь надо мужика чаишком, сахаришком снабжать.

— Кооперацию откроем — выкурим тебя, — сказал Семенов, уходя.

Савелий так и подпрыгнул, хлопнув себя по ляжкам.

— Ай, хорошо! Жду — не дожусь, честное слово. Я бы в продавцы пошел, в услужение советской власти.

Он догнал Николая и, утираясь фартуком и вздыхая, пошел с ним рядом. Анна Михайловна слышала, как он визгливо бубнил:

— Брат-то мой, Кузьма, царство ему небесное, выродок был. Супротив народа пошел... Ну, бог и покарал его прежде время кончиной. Я, Коля, с народом неотступно. Сам видишь — куда мужики, туда и я... Что тебе надо — заходи, с полным удовольствием... завсегда.

„Обхаживает... жулик и есть“, — решила Анна Михайловна.

И все-таки доброта Савелия Гущина, его веселый, открытый нрав, трудолюбие и, главное, простое обращение нравились Анне Михайловне. Иным был ямщик Исаев, открыто ненавидевший бедноту, кичившийся своим богатством и недовольный новыми порядками.

Когда выбирали совет, Исаева и Гущина лишили права голоса. Савелий только летал да посмеивался. Исаев же орал:

— Зимогорья слобода... Анка Стукова, нищенка, в министры ворье выбирает, а работающему человеку рот зажат... Вали... ваше время... Да надолго ли?

В престольный праздник казанской божьей матери пьяный Исаев заложил тройку и катал по селу своих гостей, точно на свадьбе. Заливались бубенцы, саврасый коренник, разметав лохматую, в лентах, гриву, высоко нес расписную дугу. Пристяжные, вытянув оскаленные морды, стлались по земле, и пыль кипела под их копытами.

Исаев, в вышитой белой рубашке и бархатном жилете, метался на передке тарантаса. Картуз торчал на его голове лаковым козырьком назад.

— Врете, дьяволы, что голоса не имею. Голос у

меня — ого-го! На всю округу слышно... — ревел он, нахлестывая кнутом взмыленных коней. — Э-эх, милые... потешьте... Смотри, шантрапа, как настоящий хозяин гуляет!

## XI

Так шла жизнь, в чем-то новая, в чем-то старая — не разберешь. Иногда Анне Михайловне казалось — только могила посреди села, наперекор всему, незабываемо утверждает перемену.

Солнце жгло траву, дождь и ветер разрушали палисад, вьюги заносили могилу снегом, мороз заковывал ее льдом, но из сугроба упрямо поднимался крест с мохнатой, заиндевевшей звездой и летом на могиле бессмертно цвели васильки.

Анна Михайловна любила, забрав сыновей, сидеть летними вечерами в палисаде.

Солнце отдыхало где-то далеко за лесом. Гасла заря, и на дубовом, потемневшем и мшалом от времени кресте звезда становилась черной. Угомонившись, село затихало в сумерках. Кое-где на завалинках тлели цыгарки мужиков, вышедших перед сном на улицу. Балалаечной струной звенели комары. Вот жук прогудел над головой, наткнулся на крест и упал в траву. Ребята сползли с лавочки и побежали его искать. Анна Михайловна смотрела, как они карабкаются на могилу, и думала о счастье, за которое погиб Леша. Где же это счастье?..

Через дорогу Анне Михайловне было видно открытое окно просторной исаевской избы. На столе светло горела лампа, двоясь в никелированном самоваре. Разноцветной горой лежал ландрин в сахарнице. Дымило паром варево, должно быть мясное, в широком оловянном блюде... Исаиха стояла у стола и, прижав к заплывшей груди каравай, резала хлеб толстыми ломтями. Косматая тень самого хозяина падала на занавеску соседнего окна.

Уронив на колени руки, Анна Михайловна глядела на освещенные окна исаевой избы. Глухая ненависть поднималась у ней в груди.

— Выкарабкались... сволочи, — бормотала она. — Подпалить бы с четырех сторон... чтобы духу вашего не было.

Иногда в палисад заглядывал Николай Семенов. Он

неслышно опускался на лавочку и подолгу сидел молча, крутя „собачью ножку“. Как-то раз спросил:

— Тоскуешь?

Анна Михайловна пожалала плечами.

— Нет, радуюсь. Живут люди...

— Ну?

— Вот тебе и гну. Мужей наших богатеи поубивали и жиреют... Так бы, кажется...

Она подняла кулаки, вздохнула и уронила их на колени.

— А ты ненависть побереги. Пригодится, — сказал Семенов, чиркая спичку.

Огонь озарил его худое черное лицо в рыжих ключках. Семенову тоже жилось не сладко. Семья все прибавлялась. Как с лютым врагом, бился он с нуждой и не мог одолеть ее. Помолчав, он сказал:

— Дай срок, и мы заживем.

— На том свете... — усмехнулась Анна Михайловна, — спасибочко.

Нахмурившись, Семенов зажег цыгарку и бросил спичку. Огненным мотыльком порхнула она в темноте и погасла.

— Зачем? Не об этом речь. Власть-то в наших руках. Ленин знает, что делает... Чуешь?.. Силу копим. Придет время — раздавим кулачье, как букашек...

Он курил, покашливая.

— Ты вот что... в исполком сходи. Наказывали... Там тебе пособие выхлопотали.

Медленно и неловко повязывала Анна Михайловна сбившийся платок. С реки тянуло сыростью. Где-то во ржи неуверенно закричал дергач и смолк. В палисаде, на могиле, щебетали ребята. Анна Михайловна тронула Семенова за локоть.

— Не сердись, Коля... баба я, вот и болею сердцем... Да не за себя, пойми, ребятушек жалко!

Точно подслушав разговор, сыновья бросили игру и, подбежав, теребили ее за юбку.

— Домой, ма-ам... по-и-ись...

— А-а! — воскликнул Семенов, хватая ближнего за штанишки. — Поесть? Это хорошо. Растешь, значит?

Он подбрасывал парнишку, и тот летал на его руках, как на качелях, визжа от удовольствия.

— И меня... дядя Коля, и меня! — тянулся второй, став на цыпочки.

— И тебя... Вот для кого живет Михайловна... Ух, тяжеленький!

Мать следила, как кружатся и летают в воздухе, точно на крыльях, ее ребята. Подумала: „Батки нехватает... Уж он бы повозился с вами“.

— Ну, будет, будет. Уронишь еще, — проворчала она, отнимая сыновей. — Своих, видать, тебе мало?

Семенов сконфуженно рассмеялся.

— Мало, ей-богу. Жаден я до ребят... Видно, старость приходит.

## XII

Сыновья росли, не замечая матери, принимая ее любовь, как должное, обыкновенное, вроде хлеба, который они всегда находили в суднавке, когда голодные прибегали с улицы. Они постоянно торопились, особенно Мишка, словно боясь пропустить самое интересное.

— И что вам дома не сидится? — говорила Анна Михайловна, жадно лаская сыновей. — Посидели бы со мной, поговорили... я бы вам песенку спела. Что хорошего по задворкам шляться? Вон Мишка опять штаны изорвал... Не напасу заплат на вас.

— У дяди Никодима колодец роют... глубоченный, — торопливо объяснял Мишка, набивая рот хлебом.

— Ну и пусть роют, вам-то какое дело?

— Да ведь глубоченный!

— Сейчас воду зачнут отчерпывать, — добавлял Ленка, посапывая. — Ух, водищи сколько!

— Айда! — командовал Мишка, пряча хлеб за пазуху.

И они поспешно убегали.

Анна Михайловна видела из окна, как быстроногий Мишка стрелой летел по улице, оставив далеко позади себя увалистого брата. Придерживая штанишки, Ленка переваливался с боку на бок и сердито кричал:

— Мишка, постой... Мишка, обожди меня!

Мать отходила от окна и бралась за дело. Иногда, вспоминая про умерших детей, она высчитывала: „Старшенькому, Володе, на Егорьев день двадцать лет минуло бы. Парень был бы... подмога. И Катюшке шестнадцатый пошел бы. Невеста... За какие грехи господь отнял у меня детей и мужа?“



Но чаще она думала о живых, и тревога не покидала ее.

— „Кажись, и не поднимешь ребятушек моих, сиротами останутся, — тоскливо приходило ей в голову. — Силы, чую, не стало. Как наклонюсь — голова кружится и в глазах темнеет. Вот и поясница ноет, пес ее задержит. Намедни плетуху отавы зараз не могла принести... Господи! Ради деток, дай еще пожить... хоть немножко... — жарко молилась она, опускаясь на колени перед образами. — Царица небесная, заступись ты за меня там, на небе. Ведь и ты матерью была, все понимаешь... Детские дома, говорят, есть в городах. Поместь не дадут, не такое время... Да без матки-то каково им будет? Побранить всякий умеет, а вот приласкать...“

И тут же, с огорчением вспоминая, как не замечают ребята ее, матери, она с досадой перечила себе: „А что им matka? Поели — убежали... ровно и нет матки. Им что родная, что чужая — одинаково, лишь бы сыты были.“

Это была и правда и неправда. Сыновья не замечали ее, пока все шло хорошо. Но стоило их обидеть кому-либо на улице, ребята с ревом бежали к матери в избу.

— Так вам и надо! — сердилась Анна Михайловна, ожесточаясь. — Поменьше с озорниками водитесь. Я вот еще от себя прибавлю, — грозила она. Но, взглянув на измазанные грязью и слезами лица сыновей, утешала и ласкала, как могла: давала по куску сахара, прикладывая к синякам медные пятаки, отмывала теплой водой грязь, приговаривая: — Смотри-ка, и мать сыскалась... Завсегда так. Пока не больно — и матки знать не знаем... А у матери и радости — лишней раз взглянуть на вас.

Ребята сидели смирно, умытые, покорные. Они грызли сахар, слушая мать, и, ласкаясь, клали иногда головы ей на колени. Она брала гребень, приглаживала вихры. Ей было хорошо, и она, довольная, заключала:

— Много ли матери надо? Ласка для нее всего слаще.

Мишка поднимал голову.

— А сахар?

Анна Михайловна грустно смеялась. Ей хотелось по-дольше удержать сыновей возле себя, что-то сказать им такое заветное, нужное на всю жизнь. Но синяки у ребят переставали болеть, и улица снова манила их. Болтая ногами и насвистывая, Мишка уже строил планы, как отомстит обидчикам.

— Подстерегу вечером у овина, да и звездану камнем... Пошли, Ленька, в куру играть.

— Пошли.

Их окружал свой мир — с играми, удочками, ножами, спичками, драками. Каждый день ребята открывали что-нибудь новое. И они делились этой новостью с матерью.

— У Гуциных Ласка оценилась. Трех принесла... слепенькие, — сообщал Ленька за обедом. — До чего смешные! Ползают, пищат, а глаз нет... Мам, почему щенята рождаются без глаз?

— От господ-бога так положено, — объясняла Анна Михайловна. — Вот подрастут, и глаза будут.

— А откуда они возьмутся?

Сообразительный Мишка насмешливо толкал братя локтем.

— Э, дурак, откуда?.. Вырастут. Зубы у тебя растут? Ну, и глаза растут.

Ленька переставал есть, думал и, посапывая, взглядывал исподлобья на мать.

— С Мишкой мы... тоже без глаз... родились?

— С глазами, — улыбалась Анна Михайловна.

— А почему? — допытывался Ленька.

— Ну, почему, почему... Много будешь знать — борода вырастет. Говорю, от бога все.

Ей было приятно это ненасытное ребячье любопытство, хотя иногда вопросы сыновей ставили ее в тупик и она не знала, что отвечать. Ее трогали и волновали неумелые, застенчивые ласки ребят, маленькие услуги, которые сыновья ей оказывали то неохотно, с перекорами и жалобами, то с азартом — „кто скорее“; трогали пустяки: вот Мишка за чаем, распорядясь кринкой топленого молока, положил ей в чашку румяную пенку, вот Ленька, ложась спать, аккуратно сложил рубашку и отнес на сундук, как она учила... Мать замечала все.

Однажды ребята ушли на Волгу и долго не возвращались. Анна Михайловна, беспокоясь, пошла их искать. „Уж задам я вам порку, негодяи... Еще потонете со своими удочками... Ни за что больше на реку не отпускаю!“ — гневалась она и выломала на гумне, по дороге, ивовый прут.

Выйдя в поле, она еще издали увидела сыновей. „Бредут, как путечки, нехотя... а у матери все сердце избо-

делось". Она сжала в руке прут и остановилась, поджидая.

— Вы что же это делаете? — закричала она, когда ребята подошли ближе. — Матки не слушаться? Ведь сказано было вам...

И замолчала, спрятав прут за спину. Ребята шли медленно и важно, точно с ярмарки. Мишка тащил удочки и банку с червями, а Ленька, откинув наотмашь свободную руку и изогнувшись, словно от непомерной тяжести, нес веревочку, на которой болталось несколько рыбешек. Это была их первая добыча.

— Посмотри, мама, сколько рыбищи, — сказал Ленька, подходя и протягивая веревку. Голубые глаза его восторженно сияли. — Вот эту рыбку я поймал. Окунь... Здорово, дьявол, заглотал, насилу крючок вытащил... — возбужденно рассказывал он. — А это сорога, видишь? Ишь, бельма красные выпучила!

Мишка бросил на землю удочки, банку и тоже схватился за добычу.

— Два ерша мои. Эвон, колючие! И сорога моя... Ка-ак дернет, пробка на утоп и... Я больше Леньки выудил, — захлебываясь словами, хвастал он. — Дай понесу, теперь моя очередь.

— Вот так ваша рыба... кости одни, — проворчала мать, вынимая из-за спины пустые руки. — Измокли все... Грязи-то на штанах. Вот и стирай на вас... А это карась, что ли? — она потрогала серебристого подлещика.

Она сварила в кашнике уху, и ребята угощали ее за завтраком.

— Ешь, мама... еще наловим.

— Теперь мы тебя рыбой закормим.

— Ох, уж вы... добытчики! — усмехнулась мать.

Она протянула ложку, почерпнула ухи. Рука у нее задрожала, и она пролила уху на стол. Сыновья услужливо подвинули кашник поближе к матери.

### ХIII

Теперь Анна Михайловна меньше беспокоилась, оставляя ребят одних в избе на долгий летний день. Она только прятала от них спички и наказывала далеко от дому не уходить.

Сыновья редко нарушали этот материн наказ. К ним

повадился ходить дед Панкрат, и они весело проводили с ним время.

В широченных портках из мешковины и такой же рубахе, длинной и без пояса, сивобородый и лысый, он появлялся у избы спозаранку, стучал под окном палкой и хрипло звал:

— Эй, воробышки... вылетайте!

Ребята с криком бежали на улицу. Дед Панкрат присаживался на завалинку, набивал глиняную трубку-носогрейку едучим „самосадам“ и дыма, как волжский пароход.

Ребята нетерпеливо терлись об его колени.

— Дед, что принес?

— Ничего.

— Нет, покажи! — приставал Мишка и лез к карману.

— Брысь! — ворчал дед, отталкивая. — Каждый день вам гостинца приносить... больно жирно будет.

— Принес! Принес! Эвон из кармана топырится... — кричал Мишка, прыгая на одной ноге.

Ленька, пристально глядя в густую сивую бороду деда, серьезно спрашивал:

— Это у тебя в трубке хрипит или в груди?

— В груди, воробышек, в глотке, — бормотал дед, заволакиваясь дымом. — Трубку я, почесть, перед каждым куревом чищу, а глотку... чем ее прочистишь? Разве в праздник винцом чуть-чуть... С музыкой живу.

Выкурив трубочку и прокашлявшись, дед подмигивал притихшим ребятам, и Анне Михайловне видно было из избы, как он медленно запуская корявую ладонь в просторный карман штанов. Он долго шебаршил там, кряхтел, словно никак не мог вытащить что-то большое. Ребята совалясь ближе, и дед Панкрат, блаженно жмурясь, показывал из кармана три черных пальца, сложенных фигой.

Мишка и Ленька покатывались со смеху. Не уступал им и дед. Ежедневно он начинал с этой шутки, и всегда она доставляла и ему и ребятам удовольствие.

„Что малый, что старый... одна потеха, — думалось Анне Михайловне. — Складный старик, болтлив только“.

А Панкрат уже вынимал из кармана самодельную игрушку.

— Что это такое? — спрашивал он.

— Дудка.

— А, ну... подуди, — приказывал дед.

Мишка пробовал, но у него выходило плохо. Дудка хрипела, как старая, сдавленная грудь Панкрата.

— Не так во рту держишь, воробей, — строго говорил дед. — Смотри, вот как надо.

В сивой борде Панкрата разверзалась черная яма. Желтые редкие зубы торчали в ней гнилушками. Дед прилаживал дудку к языку и учил ребят свистеть.

Раз он пришел вечером, рубаха у него против обыкновения была туго подпоясана мочалиной, перед вздулся пузырем. Дед поддерживал этот пузырь обеими руками, подмышкой у него торчала палка.

— Это что такое? — начал он, как всегда, обращаясь к Леньке и Мишке.

Осторожно расстегнул ворот, сунул за пазуху руку и вытащил за уши зайчонка-русака.

То-то было радости у ребят. Анна Михайловна слезила на чердак и достала сыновьям ящик под клетку. Пока строили клетку, зайца посадили под гуменную плетуху, и Мишка, оседлав корзинку и пронзительно насвистывая, сторожил русака.

— Как ты поймал? Дед, расскажи! — допытывался Ленька, с помощью матери наколачивая на ящик решетку.

— Поймал. И очень просто... Догнал, на хвост соли насыпал, — хрипел дед, хмурясь. — Вся хитрость — чтобы соль ему на хвост попала. На уши ни боже мой — убежит, поминай, как звали. На хвост хоть крупицу... остановится, как вкопанный.

— Врешь?

— Вру, — охотно согласился дед, потирая лысину. — В пучки косоглазый забрался, у овина. Тут я его и сцапал. Молодой — глупый. Старика-то и ружьем не всякий раз возьмешь.

Заяц долго жил у ребят, подрос и как-то ночью прогрыз прутья в клетке и убежал.

— Всякая тварь волю любит, — заключил Панкрат, утешая огорченных ребят новыми замысловатыми свистульками. — Худо ли ему у вас было? Тут тебе и капуста, и морковка — самая заячья сладость... Ан, нет. Домой, в лес потянуло. В лесу-то он, может, по три дня голодным будет бегать, осину глотать, а все — воля.

Ребята слушали деда, затаив дыхание.

— Еще, дед, расскажи еще! — просили они.

И дед без устали чесал языком, покуривая носогрейку и глухо кашляя.

Ребята так привязались к Панкрату, что Анна Михайловна стала даже косо на него поглядывать. „Носит нелегкая... Ровно приворожил ребятшек, болтун, — с досадой думала она, следя за стариком ревнивыми глазами. — Небось, около матери так не трутся“.

— Не смей у меня на улицу бегать! — сердито приказывала она сыновьям.

— Дед пришел, — объяснял Мишка, не понимая, на что мать гневается.

— Ну и что же?

— Рассказывать будет... интересно.

Так продолжалось целое лето. Потом сыновья стали реже выбегать к деду. И как-то утром, идя на гумно, Анна Михайловна услышала недовольное замечание Ленки:

— Ты, дед, позавчера про это говорил.

— Разве? — удивился Панкрат и смущенно почесал лысину. — Скажи, какой памятный.

А Мишка, небрежно подкидывая и ловя на ладонь свистульку, настойчиво спрашивал:

— А гармонь делать умеешь?

— Умею.

— А почему всё дудки приносишь?

„Надоел“, — решила Анна Михайловна и успокоилась.

#### XIV

Трудно было угодить ребятам. Они всегда требовали нового, необыкновенного и теперь не могли слушать или делать одно и то же. В погоне за этим новым они познавали страх, боль, радость, мальчишескую зависть и гордость. Очень скоро научились презирать слезы, стали стыдиться ласк матери, научились уважать смелость, выносливость в том особенном детском понимании, когда головокружительный прыжок с липы или хождение босиком по снегу кажутся геройским подвигом. Разумеется, они подражали взрослым мужикам в курении табака, сплевывании, брани.

Анна Михайловна и смеялась, и сердилась, и плакала, глядя на сыновей. Вместе с ними она переживала свое детство, такое далекое и туманное, как неуловимый край неба осенью, детство, вдруг вернувшееся к ней и озарившее ее дни молодым горячим светом. Сквозь забавы и страсти сыновей материнский пытливый глаз примечал складывавшиеся характеры.

Маленький, юркий и озорноватый Мишка любил шумные, подвижные игры. Он придумывал их множество и всегда бросал, не кончив. В избе и на улице Мишка бедокурил больше брата, всех передразнивал, задирал. Он любил петь и свистать на все лады. Особенно нравилось ему брать деревянную, облезлую поварешку, натягивать на нее ворованные у матери нитки и, сев на порожек, воображать, что он играет на балалайке. Нитки пищали слабо, и он подсоблял им, громогласно наигрывая песни губами.

— Головушка у меня болит от твоего баловства. Перестань! — приказывала мать.

Мишка надувал щеки и трубил пуще прежнего.

— Я тебе что сказала? Положь на место поварешку.

Сын непременно передразнивал ее, повторяя ее слова, жесты, и рассерженный слетал с порога.

— Поиграть нельзя... На... жри свою поварешку! — и швырял ложку на пол.

„Весь в меня... огонь“, — мелькало у Анны Михайловны.

Прилику ради она шлепала сына. Тот ревел, больше от обиды, чем от боли.

— В совет пойду, — грозился он. — Там тебе покажут... как маленьких бить.

— Это на мать-то в совет? — Анна Михайловна изумленно всплескивала руками. — Ах, стервец, что выдумал! Постой, я тебе покажу совет... черессдельником.

Мишка живо забирался на голбец.

Немного проходило времени, как в тишине, с голбца, доносилось тихое пение скворца, щебетание ласточки: вначале с паузами, застенчивое, как бы про себя, затем громче, с вывертами и соловьиными коленцами, с прищелкиванием языком, пальцами. И вот уже вся изба

заселена дроздами, синицами, чижами, малиновками, и нет от них нигде спасения.

„Экий певун... Душа играет, пусть“, — умилялась Анна Михайловна, повязываясь платком, чтобы в ушах не так звенело.

Ленька уважал игры тихие, сидячие. Любимым его занятием было строить домики, огороды, мостики, вначале из прутьиков веника, спичечных коробков, щепочек, потом из чурбашков, старых жестяных банок, проволоки. Молчаливый, не по летам рослый и сильный увалень он залезал иногда с утра на сундук и, вздыхая, вечно что-нибудь ладил. Раз взявшись за дело, не бросал его, напротив, возвращался к нему на другой день, на третий, пыхтя и вдохновенно высунув на сторону язык, строгал, резал, стучал, пока не выходило то, что он задумал. Тогда он, переваливаясь и вздыхая, шел к матери показывать.

— Что же ты сляпал такое? Не пойму, — спрашивала она.

— Эва, не видишь — дом... — хмурясь, отвечал Ленька. — Вот на крышу дранки нехватило. Дыра, видишь? Дождик пойдет — все измочит... Дай лучинку.

„Вылитый тятка... плотником, должно, будет“, — думала Анна Михайловна, приглаживая русый хохол на голове сына. И чувствовала — Леньку она любит больше, чем Мишку. Она рассказывала Леньке об отце, как они хорошо жили прежде и как заживут хорошо, когда они, ребята, вырастут и будут помогать матери. Уставив неподвижные голубые глаза на рот матери, Ленька охотно слушал ее и все допытывался о чем-то потаенном, самом главном, не высказанном матерью.

— Дотошный ты у меня, — смеялась Анна Михайловна. — Не все дано человеку знать. Все только один бог знает-ведает.

— А почему?

— Уж такой он всезнающий, всемогущий...

— Дядя Коля тоже все знает. Он — всезнающий?

— Иди, иди, Емеля, — сердилась Анна Михайловна, принимаясь за работу. — Мешаешь ты мне разговорами.

— Сама звала, — говорил Ленька. И, подумав, невесело усмехался: — Не знаешь ничего, а рассказываешь... Эх, ты!

Промеж себя братья дрались нещадно — из-за палки, понравившейся обоим, из-за того, что кусок пирога мать



дала одному вроде как поболее и поджаристей. Начиная всегда Мишка. Как петух, налетал он на увалистого брата и, пользуясь его неповоротливостью, щипал, царапал, дубасил кулаками. Ленька обычно лишь оборонялся. Но если царапки и щипки донимали его по-настоящему, он свирепел, и горе тогда было щупленькому, слабенькому Мишке.

Анна Михайловна брала веревку, с которой ходила за дровами, и живо разнимала драчунов.

— Господи, когда вы у меня поумнеете? — кричала она в отчаянии. — Грызетесь, как собаки... Ведь братья родные. Разве так можно?

Ребята виновато молчали. Час-другой их не было слышно в избе, а потом все начиналось снова.

Горько и страшно было думать матери, что сыновья никогда не будут дружны, что вот подрастут они и под горячую руку в ход пустят ножи, колья, и все, о чем она мечтает, за что бьется — одинокая, старая, — развеется придорожной пылью, и она, мать, умрет, не порадовавшись на сыновей.

Однажды в драке Ленька зашиб брату глаз. Сияк багрово вспух, и глаз закрылся. Анна Михайловна выпорола сыновей, прогнала одного на голбец, другого на кровать и, расстроенная, ушла с коромыслом по воду. Когда она вернулась и, неслышно отворив дверь, вошла в избу, до нее долетел с голбца шопот. Стоя у порога с ведрами, она взглянула на голбец.

Подле Мишки, свернувшегося калачиком, зажавшего ладонью глаз, сидел Ленька и угрюмо кусал ногти.

— Больно? — шопотом спрашивал он у брата. — Больно?

— Да-а... тебе бы та-ак...

— Я не нарочно. Ты не реви. — Ленька помолчал. Потом наклонился к брату и неумело и застенчиво погладил его плечо. — Слушай, ударь меня... в глаз. Со всей силы ударь. Ну?

Мишка, всхлипывая, не отвечал.

— Хочешь... я сам ударю? — страшным шопотом сказал Ленька. — Вот скалку возьму и ударю себя в глаз. Хочешь?

Мишка приподнялся, отнял ладонь от мокрой вспухшей щеки. Исподлобья, одним глазом, посмотрел на брата.

— Ударь, — согласился он.

Брат полез за скалкой. Мишка наблюдал за ним. Вдруг он заплакал, схватил Леньку за руку:

— Не надо... Ленька, не надо!

Анна Михайловна осторожно сняла ведра с коромысла, поставила их у порога и тихо притворила за собой дверь.

## XV

Сыновья пошли в школу, и забот Анне Михайловне прибавилось. Она перешивала мужнины ластиковые рубахи, штаны из „чортовой кожи“ и старенькие плотницкие пиджаки „на рыбьем меху“. Тащила к сапожнику штилеты, голенища яловых сапог, валенцы. Чинила и латала все, что можно было, пока материя не распозалась под иглой. Перетряхнула запас мужниних вещей раз, перетряхнула два, скоро этому запасу пришел конец. Добралась она и до пронафталиненных праздничных кофт, юбок и подвенечных, хранимых как сокровище и память, желтых башмаков с пуговками.

— Думала, в гроб в них лягу, ан пригодились при жизни, — пошутила Анна Михайловна, с тихой грустью разглядывая башмаки. Они были совсем новые, аккуратные, на розовой фланелевой подкладке и с таким узким носком, что Анна Михайловна подивилась, как могла их надевать.

И она вспомнила, как жали ей ногу эти башмаки в церкви, во время венчания, и как непривычно ей было ступать высокими каблуками по гулкому и скользкому каменному полу. Блеск огней ослеплял ей глаза. Она не видела Леши, но тревожно и счастливо чувствовала его рядом. „Исаия, ликуй!“ — громом раскатился на хорах торжественный возглас с клироса. У Анны Михайловны испуганно и радостно забилося сердце. Рука у нее задрожала, свеча покосилась, и горячий воск обжег пальцы. Шафер, Петр Елисеев, молча поправил ей свечу, и она, невольно оглянувшись, увидела подле себя черный, с залежалыми складками, рукав лешиного пиджака. Рукав был короток, знакомая кисть руки, с большой ладонью и длинными узловатыми пальцами, свисала, точно выдернутая. „Что он рукав-то не поправит, ведь нехорошо“, — подумалось ей тогда. Она отвела взгляд, потом застенчиво покосилась еще раз, пробежала глазами по рукаву вверх и увидела белый ворот лешиной

рубахи — ворот туго обнимал загорелую шею, еще выше увидела краешек бритого подбородка... Дальше она не посмела взглянуть...

Анна Михайловна подышала на башмаки, фартуком протерла желтую мягкую кожу. Сковырнула присохшую к носку травинку.

— В лаптях прохожу, невелика барыня... Каблуки-то сшибать придется... — пробормотала она, все еще думая о том, как это было хорошо — и свадьба, и песни, и пляска, и всего краше — она и Леша, сидевшие в красном углу; и как наутро били горшки перед чуланом, где они спали; и как она подметала пол и гости, по обычаю, кидали ей пятаки и серебрушки, завернутые в бумагу, — все, все было хорошо. Потом вдруг старик Елисеев, отец Петра, не в меру выпив, расскандалился и при гостях потребовал, чтобы жених вернул ему пиджак, и как ей было стыдно, когда Леша остался, точно пастух, в одной мятой рубашке, и все узнали, что венчался он в чужом пиджаке...

— В отца Петр-то... такой же горячий... и жадный, — задумчиво проговорила Анна Михайловна, осторожно ставя башмаки на лавку. — И все-то он недоволен, все ему мало. Многополье какое-то выдумал, свеклу сеять. Поделом мужики его насмех подняли. Накричит, наорет, а потом самому стыдно... Ольга сказывала, в воскресенье напился пьянехонек и заплакал. Совесть, должно, мучает.

Анна Михайловна вспомнила сходку осенью. Бородастый и постаревший, сидел тогда Петр Елисеев в палисаде, у могилы. Кожаный рваный картуз валялся подле ног. Ветер наметал в картуз блеклые листья, трепал, поднимая дыбом, жесткие выцветшие волосы на голове Елисеева, обнажая изуродованное ухо. И тогда Анне Михайловне, против воли, было жалко Петра. Он жевал ус и, не глядя на мужиков, хрипло ругался:

— Как звери живем. Друг друга норовим заживо слопать... Да разве это жизнь? Тьфу!.. Брошу все к чорту... уйду в город... рабочим. Провалитесь вы с землей, коли толку в ней не понимаете!

— Вы с Семеновым толк знаете, — насмешливо отвечал Исаев. — У одного министра рубаха с плеч свалилась, другой — на турнепсе помешался... умники!

— Не ахти ума надо, чтоб многополье завести. Пятый год твержу. На факте доказал... опытами.

— От твоих опытов с голоду подохнешь... Нет уж, разводи турнепсы на своей земле, да вот еще у дружка прихвати. Он все равно в перелогі землю-то запустил.

— Семенова не трожь,—заступился хромой Никодим.— У него рысаков нет, да душа чиста... Ладу, Петр Васильич, промеж нас, точно, мало. Иной раз—дело пустяк, а разговору с три короба. Дорогу пойдём чинить и то переругаемся. Город дружней живет, это верно. Город—любота.

— А почему?—спрашивал Елисеев сердито. И сам себе отвечал:—Командир есть. Фабрика, что эскадрон,—дисциплину знает... Амуниция пригнана—не звякнет, не брякнет. На работе народ, как на войне... А у нас? Подними в поход—потянется леший знает что, сам чорт ногу ломает.

— А ты отдай добро товарищам, вот оно мешать и не будет,—посоветовал Исаев.—А? Жалко?

— Жалко... что не было меня здесь в восемнадцатом году,—отрезал Елисеев, доставая картуз и выпрямляясь.— Не пришлось бы тебе сейчас языком блудить.

— В совхозе вот еще хорошо...—задумчиво говорил Андрей Блинов.— Проезжал я вчера с базара мимо кривецкой усадьбы, посмотрел. Ширь... тракторами пашут... порядочек.

— Пиши Калинину прошение—все деревни на совхозы переделать,—верещал Савелий Гуцин, весело обнимая Блинова.— Рай... где нас нет.

— Николаша Семенов сказывал—мужичьи совхозы есть,—осторожно заметил Блинов.

— Коммуна? Твое—мое... Слыхали, родной, слыхали!—застрекотала Прасковья Щербакова, вмешиваясь в разговор.— Намедни стучит под окошком нищий. Пузо голое, а обут в валенки. „Откуда, сердешный?“—спрашиваю. „От Знаменья,—грит,—из коммуны... Поддай Христа-ради кусочек, околеваем с голоду...“

— А ты помолчи, трещетка. Без тебя тошно.

— Пей больше, может, тошнота пройдет и ума прибавится.

— У тебя займу, пустобреха.

„Лаютя, незнамо отчего... и диви кто—сытые. Все им мало да плохо,—думала Анна Михайловна, вспоминая все это и качая головой.— Настоящего горя не

хлебнули, вот что. Пожили бы, как я, небось, попусту не стали бы языком чесать“.

Она еще раз осмотрела подвенечные башмаки.

— Ну-ка, Минька, померяй... У тебя нога вроде моей, маленькая, Леньке, пожалуй, не влезут.

— Да-а, стану я в бабьих башмаках ходить... как девчонка, — захныкал Мишка.

— Вот я тебе с голенищами куплю. Из каких барышей? — прикрикнула Анна Михайловна. — Сказано — меряй.

Мишка забрался на лавку и со слезами принялся надевать башмаки.

— Не лезут... пальцы жме-ет...

— Врешь!

— Ей-богу... — ревел Мишка, болтая ногами. — Я бо-сиком лучше, ма-а́мка...

— Давай я померяю, — сказал Ленька, хмурясь и не глядя на мать.

Посапывая, он натянул башмаки, застегнул через пуговицу, прошелся по избе, прихрамывая и стуча каблуками. Башмаки жали, словно колодки, но, чтобы не огорчать мать, Ленька уверенно сказал:

— В самый аккурат.

— Ну, и носи на здоровье, — ласково разрешила Анна Михайловна и задумалась снова. — Ума не приложу, во что обуть Мишку... Разве спросить у Савелия Федорыча... не продаст ли каких стареньких, завалящих... Ох, беда мне с вами, ребята!

## XVI

Быстро, словно горох в огороде, росли парнишки. Анна Михайловна не успевала надставлять им рукава и штаны. Большерукие, вихрастые, сыновья уже таскали матери воду, кололи дрова и за столом ели, как взаправдашные мужики. Прибежав из школы, не раздеваясь, они первым делом лезли в суднавку. Экономя каждый кусок, мать, когда бывала одна, ела хлебанье с картошкой вместо хлеба, приберегая для сыновей лишнюю горбушку.

Подошла вторая зима, и ребятам не в чем стало ходить в школу. От материных праздничных юбок, кофт, башмаков и помину не осталось.

Упала духом Анна Михайловна. Сколько ни ворошила

она в чулане старье, гадая, не завалилось ли что-нибудь путное на ее счастье, под руку попадались одни лохмотья да гнилье. Как ни раскидывала она умом — придумать ничего не могла. Пособия нехватало на еду. Итти в исполком и просить прибавки Анна Михайловна не смела: ведь не инвалидка же она безрукая или безногая какая. Обратиться к Николаю Семенову совестилась. Да и чем мог помочь Семенов, у самого ребятя босиком бегаёт.

Оставалось последнее и страшное — продать корову на обувку и одевку сыновей. Анна Михайловна понимала — это был конец. Без коровы ей не прокормиться. Проешь Красотку, и тогда останется одна дорога — самой итти по миру с корзинкой, а сыновей рядить в пастухи.

И все, о чем иногда так хорошо думалось долгими вдовьими ночами, во что Анна Михайловна верила, наблюдая жизнь, глядя на сыновей и слушая Николая Семенова, теперь казалось зоревым бабьим сном, который никогда не сбудется. Жить тебе, Анна Михайловна, до самой смерти постылой, нищенской долей. Не уйти от нее и твоим сыновьям. Прогнезала ты господа-бога, забыла его, вот и карает он тебя.

Зачастила Анна Михайловна в церковь, на последние копейки покупала самодельные, мутного воска, свечи, простаивала заутрени и обедни на коленях, не отрывая горячих, затуманенных глаз от строгого лика Спасителя. Она не смела просить и только шептала без конца: „Господи, господи...“

Она ждала обычного успокоения и не находила его. Прежде, как только Анна Михайловна входила в церковь, ее радостно ослепляли бесчисленные огни, приятно оглушали торжественные напевы, и она, забыв домашние дела и просветлев лицом, стояла всю службу, как замороженная. После темной и тесной избы этот поющий, благоухающий, залитый светом простор воисгину казался небесным раем.

Теперь в церкви было сумрачно и глухо. Дымно горели редкие лампы и свечи. Тускло светилась потертая риза на отце Василии. С клироса вразнобой тянули песнопение жидкие старушечьи голоса. Их торопливо покрывал тенорок Савелия Гушина.

Молящихся было не много, и в холодном мраке Анна Михайловна против желания явственно слышала, как шушукалась Строчица с Авдотьей Куприяновой и крях-

тел, вздыхая, на правой, вовсе пустой, стороне Исаев, грузно поднимаясь с пола; слышала, как стучал и шаркал сапогами одинокий отец Василий на амвоне, сердито выговаривая сторожу за потухшее кадило. И не приходило желанное забытье. С надеждой и мольбой смотрела Анна Михайловна на образ Спасителя, а видела церковного старосту, который, послунявив кривые пальцы, раньше срока тушил ее свечу и, понюхав, прятал огарок в карман.

„Видно, и бог-то нынче обеднял“, — горько думалось Анне Михайловне. И не радовало, что отец Василий приветливо кивал ей, когда она подходила к кресту, и не сразу отнимал его медный ледяной краешек от ее скорбных губ. Из церкви Анна Михайловна возвращалась разбитая, точно после работы...

На самый покров выпал сухой, крупянистый снег и сразу ударили морозы.

Ребята прибежали из школы, опущенные инеем. Они не полезли, как всегда, шарить в суднавку, а поскорей стали раздеваться, так продрогли. Развязав кое-как тесемки у своей заячьей шапки-ушанки, сбросив на пол рваную материну кофту, Мишка присел на нее, ухватился окоченелыми руками за веревки, которыми для крепости были обмотаны опорки, и расплакался — ноги у него примерзли к портянкам. Ленька, сидя на пороге, молча щипал и растирал белые, не чувствовавшие боли, словно чужие, подошвы.

Тогда Анна Михайловна решилась. Отогрев и накормив сыновей, она, несмотря на поздний час, пошла на станцию в железнодорожный буфет продавать корову.

„Буду жива — выкормлю новую, — утешала она себя дорогой, плотнее запахивая шубенку и по самый нос кутаясь дырявым полушалком. — Справлю ребятам валенки, пальтишки какие немудрящие... глядишь, и на телочку останется. Год прогорюем без молока, авось, не умрем... Да в корове ли свет, господи? Ребятишек бы в люди вывести...“

А в глазах стояла Красотка, белоногая, очкастая. Вот идет она с выгона — посмотреть любо, как цава выступает, каждая шерстинка на солнце светится, розовое вымя траву задевает. Шугка ли, с новотелу по двенадцать кринок доит. Поди-ка, сыщи другую такую корову. В еде аккуратная, а молоком хоть облейся. Не чаяла с ней расстаться Анна Михайловна.

— Дорогушечка моя, безответная... — шепчет Анна Михайловна, и липнут веки морозной слезой.

Тошно скрипит под лаптями снег. Крутится мгла перед глазами. Рвет шубенку ветер. Люто бьет в загорбок. Опомнись, что ты делаешь? За коровой дом продашь, суму наденешь. Не одна ты — ребята пагубу примут...

Седые ели машут длинными ветвями, загораживают дорогу, зло осыпают снегом. Ой, поверни назад, пока не поздно. Не подстать твоим сыновьям грамотеями быть. Припаси-ка зараз лапти и кнут... промысел не видный, да сытый.

Остановилась Анна Михайловна. Так ей холодно, даже сердце озябло. Полдороги не пройдено, коли повернуть назад, через полчаса в тепле будешь.

Только подумала, и померещился ей человек впереди, высокий, прямой такой. Идет — будто дорогу указывает и громко так торопит: „Скорей, скорей!“ Скрипят на нем сапоги яловые, новые. Парусит, хлопает по голенищам шинель серая... „Скорей, скорей!“

Да не Леша ли это с того света знак подает?

Перекрестилась Анна Михайловна, смахнула иней с лица, вытерла слезы. Одна она на дороге стоит и от ветра ежится. Далеко за лесом горит в небе зарево над станцией. Нет, будь что будет, нельзя Анне Михайловне поворачивать назад.

Немного отошла, всмотрелась — и впрямь навстречу кто-то идет и песню горланит. Знакомый точно голос. Ветром его перехватывает, а певуну нипочем, знай гремит:

...Вдоль да по бережку, бережку крутому  
Добрый молодец идет.

Подошел ближе и замолчал.

— Михайловна, ты?

— Никак... Коля? — не вдруг ответила Анна Михайловна.

— Он самый. Куда на ночь глядя потащилась? — весело спросил Семенов, здороваясь.

Анна Михайловна промолчала. Дивно ей — стоит на морозе Семенов точно летом: пиджак ватный нараспашку, голова не покрытая, ворот рубахи расстегнут, и шапка с варежками подмышкой. Усы промерзли, сосулями ви-



сят, а от копны волос пар валит. „Пьяный“, — догадалась Анна Михайловна.

— А я с поезда. В губ... в губернию ездил на партийную конференцию, — словоохотливо сообщил Семенов, поворачиваясь спиной к ветру и закуривая. — Насмотрелся, наслушался на всю жизнь. Что я видел! М-м... Михайловна! Да не в городе, в деревне. Верст сорок от города деревня та... Озябла, дрожишь? На-ка, выпей. Я, знаешь, на радостях половинку в буфете отхватил.

Не хотела Анна Михайловна, да приневолил Семенов, глотнула из бутылки.

— Что за радость? — спросила она, больше из благодарности, чем из любопытства, чувствуя, как бежит ручьями желанное тепло по телу. — Прикрой голову, охолодаешь, — пожалела она пьяного Николая.

— Жарко мне, — сказал Семенов, утираясь рукавом, однако послушно нахлобучил шапку, но пиджак свой так и не застегнул. — Вылезает, Михайловна, в п-прениях на трибуну делегат один — мужичонка с виду незаметный. А про дела такое говорит, аж пот прошибает... Ночевали мы с ним вместе в доме крестьянина, я его и прижал. Не верю! Заливаешь! Партийную конференцию в обман вводишь!.. А он чуть не крестится — правда. Приезжай, дескать, посмотри... Сорок верст киселя хлебать кому захочется... А я возьми да и прикати. Два дня гостил. Живут, леший их задери... Н-ну!

Семенов ударил в ладоши и притопнул. Под ноги ему, должно, попалась ледяшка, он поскользнулся. Поднял ледяшку, уставился на нее, чему-то улыбаясь, потом глянул на ели, выбрал глазами дальнюю, самую тонкую.

— П-попаду... или не попаду?

По-мальчишески отступил назад, размахнулся, кинул ледяшку.

— Промазал... — пробормотал он с огорчением.

Глухо шумели вокруг разлапые ели, осыпая колючий снег. Ветер подхватывал его и швырял в лицо, царапаясь ледяными иглами. Зло разбирало Анну Михайловну. Стоит посреди дороги и с пьяным лясом точит, на ребячество его смотрит, словно дел у ней никаких больше нет.

— Не пойму твоей радости, — сказала она с досадой. — Мало ли народу хорошо живет. Нам-то с тобой от этого легче?

— Будет легче... если и мы... на эту дорожку повер-

нем, — ответил Семенов и совсем по-пьяному зачастил бес-  
связно и громко: — Земля-а... ух, ты! Лошади, ин-вен-  
тарь... Не твое, не мое — общее. А работает каждый за  
себя. Смекаешь?.. Нет, ты скажи — пло-охо? На амбар...  
шапка валится... взглянешь. То-то же! Я говорю, в по-  
лусапожках ходят бабы-то по будням. Хлеба — завались...  
Сам видел, провалиться мне, в полусапожках, и калоши  
новые. А называется: кол-хоз. Да ведь просто как! Вме-  
сто — на небо влезти. Отчего же? П-полезем. Не хуже  
вас полезем... Толком не понимал раньше, а слышал... Те-  
перь, брат, ра-аскусил. Шалишь! Подниму мужиков. Я им,  
чертям, раз-во-ро-шу мозги на сегодняшний день. А ма-  
шины? Полюбилось мне... все полюбилось. Житья не дам,  
пока не тронутся. Пстой... куда ты?

— На станцию.

Семенов нагнал Анну Михайловну и, утираясь вареж-  
кой, рассмеялся.

— Не м-могу один, все во мне пере-в-ворачивается...  
провожу тебя маленько. Да ты что торопишься?

— Дело есть.

Видно, голос изменил Анне Михайловне, дрогнул. За-  
метил Семенов неладное, пристал:

— Говори прямой.

— Ну... — Анна Михайловна замялась. — Ну, корову...  
продать... хочу.

Николай остановился, словно протрезвев, застегнул  
пиджак, потом схватил Анну Михайловну за плечи, по-  
вернул лицом к себе.

— С ума спятила? — сердито спросил он.

И все, что накипело на сердце Анны Михайловны,  
прорвалось в крике:

— Спятишь... Жить-то как-нибудь надо? Трепотней  
твоей не проживешь... Ни обуви, ни одежки у ребят...  
Неужто в самом деле в пастухи придется отдавать? Где  
же правда-то!

— Не там ее ищешь, Михайловна, — задумчиво сказал  
Семенов.

Она пошла было дальше, но Семенов загородил ей до-  
рогу, не пустил. Так ей и пришлось с ним вернуться  
обратно в село.

На другой день Николай поехал в город хлопотать для  
малоимущих школьников обувь и одежду от государства.

Вернулся он ни с чем, поехал другой раз, третий и добился-таки своего: привез школе десять пар валенок и несколько бобриковых пальтишек. Их распределили среди наиболее нуждающихся ребят.

— Вот тебе правда, Михайловна! — гремел Семенов, вваливаясь в избу с подарками. — К весне я твоим молодцам кожаные сапоги, как пить дать, оборудую. Ну, живем на сегодняшний день? Привалит к нам счастье, а?

Анна Михайловна устало отмахнулась.

— Уж какое там счастье... с голодухи бы не умереть — и ладно.

Но когда ребята обулись в серые теплые, как печурки, валенки, надели новые, с барашковыми воротниками, пальто, которых с роду не носили, и Анна Михайловна глянула на сыновей, — она поверила Николаю Семенову, и ей стало совестно за свои слова.

— Господи, ребята... как картинки! — с волнением сказала она, отступая немного назад, чтобы лучше разглядеть обновки.

Она потрогала ворс на добротном бобрике, обошла кругом сыновей, любуясь хлястиками и воротниками.

— Складные какие, только в праздник ходить. И козова цела... За кого же мне теперь бога молить, ребята?

Каждый вечер стал для матери маленьким праздником.

За день в избе порядком выстывало, и Анна Михайловна в сумерки, управившись по хозяйству, приносила вязанку дров, клала ее в подтопок. Согревая дыханием неловкие, застывшие пальцы, чиркала спичку, потом брала из кухни низенькую скамейку и, не раздеваясь, в полушубке и шали, садилась возле подтопка.

Коробилась, свертываясь в трубочки, береста, огонь перебежал на поленья, долго лизал их светлым языком. Дрова разгорались, трещали и шипели. Струйки горячего пара не то дыма били из сырого ольхового кругляша. Теплый льющийся свет розовато затоплял нижнюю часть избы. Отблески его дрожали на ножке и перекладине стола, на оцарапанном нижнем ящике комода, на горшках и кринках под лавкой. Длинная черная тень от Анны Михайловны ложилась на пол через всю избу.

Синевато мерцали запорошенные снегом окна. Ровно

и спокойно тикали ходики, одобрительно выговаривая: „Так... так... так“. Весело потрескивали дрова в подтопке, стреляя красными углями. Почувяв тепло, тараканы ползли по стене к подтопку.

Греясь, Анна Михайловна смотрела на огонь, глаза у нее слипались, клонило в дрему. Не поддаваясь ей, Анна Михайловна освобождалась от полушубка, шали и еще немножко сидела у огня. Жар донимал, она отодвигала скамейку все дальше, потом снимала лапти, разматывала онучи и в юдних чулках бродила в потеплевшей, слабо освещенной избе. В старой, облупившейся кринке варила картошку ребятам. Наливала воды в самовар.

Не успевал самовар закипеть, как на крыльце гремела щеколда, знакомо топали подмороженные, точно деревянные, валенки, распахивалась настежь дверь, и в клубах холодного пара, словно верхом на облаке, влетали сыновья — в снегу, мокрые, красные и оживленные.

— Закрывайте дверь, все тепло у меня выстудите, — ворчала мать, зажигая лампу. — Господи, и где угораздило вас так вывалиться?

— А, картошка! — удивляясь, говорил Ленька, сбивая шапкой снег с валенок. — Вот хорошо... Чур, верхнюю, самую обгорелую — мне.

— Пополам! Вместе сказали, пополам! — торопливо кричал Мишка и, кое-как свалив на пол в кучу пальто, варежки, шапку и сапоги, первым лез за стол.

Ленька раздевался медленно и аккуратно, относил свою и брата одежду сушить на печку, грел руки у подтопка и потом уже садился рядом с Мишкой.

— Лбы-то хоть перекрестите, — говорила Анна Михайловна, сердито и счастливо оглядывая сыновей, резала хлеб, доставала соль и, подумав, приносила из чулана в чайном блюде остаток льняного масла.

— Ай да мамка! Вот это я люблю... Э-э, да тут его прорва. На всех хватит, — сообщал Мишка брату, заглядывая в блюдо и пальцем меряя глубину масла.

Если мать задерживалась на кухне, он торопил:

— Давайте есть... Мамка, что ты там копаешься?

— Ешьте, ешьте, — откликалась Анна Михайловна.

Она садилась за стол напротив сыновей и из-за самовара наблюдала, как ребята красными, отогретыми ручонками доставали из кринки горячую, дымящую паром, картошку, дули на нее, перебрасывая с ладошки на ла-

дошку, чистили, — белую, словно яйцо, макали сперва в соль, потом в масло и отправляли в рот.

Анна Михайловна не столько ела, сколько, довольная, смотрела, как едят ребята. Мишка глотал торопливо, давась и обжигаясь картошкой, Ленька неспеша, как и все, что он делал, старательно прожевывал и посапывал от удовольствия.

— Маме, — значительно говорил Мишка, вынимая из кринки последние две картошины и показывая их брату. — На, мама... ешь.

— Ешь, мама, — повторял и Ленька.

Анна Михайловна, усмехаясь, принимала картошины. Глупые ребята, им и невдомек, что мать сыта тем, что поглядела на них, сыновей, порадовалась. Она наливала ребятам чай и давала по большому куску сахара. Сама же еле откусывала зубами сахарные крупинки и пила чай по шести чашек, удобно поставив блюдце на растопыренные пальцы и подперев согнутую в локте правую руку ладонью другой руки.

Ребята болтали за столом разные разности. Они приносили из школы много нового, чего мать не знала. Сыновья как бы связывали ее невидимыми нитями с окружающей жизнью, не всегда понятной, то радующей, то огорчающей, но не похожей на прошлую. Эту жизнь проклинали на сходах Исаевы, значит, было в ней что-то хорошее, невыгодное богатеям. Но это хорошее подмечалось с трудом, а плохое так и лезло в глаза. И Анна Михайловна спорила то в шутку, то всерьез с сыновьями.

— У глебовского Шурки отец на побывку приехал. Ну, у Пузана, знаешь? — рассказывал Мишка. — В лесу завод строит отец-то. Бо-ольшой... Шурка говорил, в десять раз больше нашего села завод.

— Большой, да толку мало, — перечила мать. — Заводы строят, а сапогов нет.

Хмурясь, Ленька повторял услышанную им от Николая Семенова фразу:

— Для того и строят, чтобы сапогов было побольше.

— Полно, дурак, сапоги-то, чай, сапожники шьют, не на заводах...

— Ничего ты, мамка, не понимаешь, — сердился Ленька. — Вот ни крошечки не понимаешь!

— Понять не трудно, жить тяжело, — вздыхала Анна Михайловна, принимаясь мыть чайную посуду.

— Скорей, скорей! — торопил Мишка, доставая с гвоздя холщевую сумку. — Нам уроки учить надо.

Ребята раскладывали тетради и книжки, ставили пучки с чернилами и, близко придвинув к себе лампу, склоняли головы над столом. Анна Михайловна садилась у печки за прялку. Ей было тепло и хорошо. Веретено пчелой жужжало в ее проворной руке, куделя как бы сама тянулась длинной и ровной ниткой. И так же, как нитка, сама собой тянулась дума о своем и чужом.

„...У Марьи Лебедевой корова не растелилась, прирезать пришлось. Ведь вот, где тонко — там и рвется... Ладно, Савелий Федорыч мясо купил и свою телку отдал. Человек богатый, а чужое горе понимает... Вот те и жулик. Зря его лавочку прихлопнули. Беда, как и моя Красотка не растелится. Третью неделю межмолоками ходит, а брюхо разнесло бочкой. Уж не двойни ли? То-то бы хорошо на мою бедность. Выпоила бы я телят да на жеребеночка сменяла... Коля Семенов говорит — скоро лошади общие будут. Поди-ко! Отдадут тебе мужики лошадей, что выдумал... И откуда у него берется такое, несусветное? Человек умный, а рассуждает, как ребенок малый... Тот раз думала — спяну болтает. Ан нет, и мужикам на собрании то же самое рассказывал... И ведь дивно — слушают его мужики, выпытывают, вроде как не верят, а промеж себя ругаются, словно и про настоящее дело говорят. Чудно... Петр Елисейев распалился, кричит: „У меня хозяйство, а у тебя нет ничего. Значит, на моем горбу будешь в колхозе этом самом ехать?“ А Исаев, лиса, нарочно подзуживает: „Чу, надоело тебе добро, бросить все хотел. Вот и отдай в колхоз, прожрут“. Батюшки-светы, что тут было... как на пожаре. Один Савелий Федорыч, знай, посмеивается, точно мирит народ. Да разве помиришь... А зачнет Коля толковать — тихо так становится, будто и согласны все. Замолчит — и пошло все сызнова, что ни слово, то мать-перемать... тошно слушать“.

Эти споры о жизни, все чаще и чаще возникавшие на сходках, всегда кончались перекурами и руганью. И трудно было разобраться, кто чего хочет.

„У каждого свои расчеты. Попробуй, угоди. Бог на всех не может угодить, человек — и подавно“, — думала

Анна Михайловна. Но всегда, когда начинались споры, она ждала — вот кто-нибудь из мужиков скажет единственное словечко, которого все ждут — не дождутся, и пойдет жизнь иначе, и ей, Анне Михайловне, вздохнется легко. Но такого слова никто не знал. Да и есть ли на свете такое слово? Может, только чудится, оно Анне Михайловне, как огонек, что мерещится в сказке людям, разыскивающим клад; манит, зовет огонек, а подойди, протяни руку — и нет ничего.

„А ну, как сыщется это слово?“

Анна Михайловна слюнула пальцы, чтобы ловчей прихватить куделю. Веретенко опускалось до пола и кружилось и пело там; Анна Михайловна подхватывала его, на лету сматывая звенящую пряжу.

„Почему бы не сыскаться такому слову? Многому не верили, а сбылось... Вон как мужики Семенова уважать зачали. И не мудрено — все по его выходит. Оттого, знать, и повеселел Коля... Даже в голосе заметно. Говорит — будто рублем дарит и про запас еще пригоршню имеет... Может, и в самом деле сбудутся его слова. Может, колхоз и есть это самое слово, которого мы ждем... Будет, будет моим ребятушкам счастье... Не забыть киселька овсяного растворить на завтра, побаловать. Муки-то в лукошке последки остались... Ну, да как-нибудь... Молоко скоро... Проживем“.

Анна Михайловна шурилась на свет. Сыновья, зажав уши ладошками, чтобы не слышать друг друга, нашептывали что-то себе под нос. Должно быть, заучивали стишки наизусть. Шустрый Мишка так и впился в книгу, подпирая ее подбородком. Большая лохматая голова Леньки покачивалась из стороны в сторону, точно Ленька читал и все удивлялся написанному.

Вот и она, когда бегала в школу, любила заучивать разные стишки. Складные, помнится, были стишки, как песни пелись. Поди, теперь таких стишков в книгах не пишут.

И незаметно для себя мать переносилась в детство.

## XVIII

Видела она низкую закопченную избу, солому, настланную для тепла по гнилому, щелистому полу. Окна наглухо завалены омяльем, заткнуты тряпками, и не видно,

что делается на улице. Должно, вьюга в трубе воеет, ■  
холод ползет от дверей.

Подобрав под себя босые ноги, Анка сидит на широкой лавке у стола. Шубенка накинута на голову. Анке тепло и удобно, как в домушке. Она шопотом твердит заданный на завтра урок и, когда надо поворачивать страницу, прислоняется щекой к книге, выпячивает губы и прихватывает ими листок. Выставлять руку из-под шубы лень, да и холодно.

Дымно горит в светце лучина, то вспыхивая, то затухая. Пригнув голову к зыбкому свету, насупившись по обыкновению, отец чинит сбрую. И дым от лучины запутался у него в бороде. Отец отмахивается рукавом зипуна, трет карие добрые глаза.

— Поправь лучину, Анка... все глаза изъело.

Поневоле приходится выпрастывать из-под шубы руку, а то и обе, и очень долго бывает неловко, все никак не угнездишься, а потом опять тепло и хорошо.

Когда лучина горит светло, у печки видна мать. Она качает ногой скрипучую зыбку и прядет лен. И за спиной у нее, на белой печной стене, ворочается черная бабища и тоже прядет лен. А на голбце, впотьмах, покашливает себе да покашливает больная бабушка.

Урок выучен, давно отужинали, слипаются глаза — пора Анке спать. Но ей не хочется снимать шубу и там приятно дремать сидя, положив под голову книгу.

— Тятенька, у меня... на лаптях... дырочка... снег попадает, — сонно тянет Анка тонюсеньким голоском.

— Что же ты раньше не сказала? — ворчит отец. — Ну-ка покажи.

Анка не решаетесь ступить босыми ногами на холодную солому. Лапки ее валяются на кухне — путь не близкий. Она ворошится под шубой, смотрит на мать, и та, словно понимая ее, молча встает и приносит лапти.

— Э-э, баловница... тут заново подошву плести... И когда успела порвать? — сердится отец. Но голос его совсем не строгий, отец любит Анку. — Бестолковая, сказала бы с вечера, а теперь — ночь не спать.

— Я, тятенька, прохожу завтра. Снег-то маненечко... сыплется.

— А опосля захрипишь, как намедни, и тащи четвертак Пашке-знахарю, — вмешивается мать. — Не много у нас четвертаков-то... Почини, отец, до петухов посидим.



Анка рассталась-таки с шубой и лезет на голбец к бабушке.

— Замерзла, поскакушка? Подь на тепленькое местечко, — говорит бабушка, покашливая.

Сворачивается Анка калачиком и засыпает. А утром весело скрипит снег под ее лапотками.

Так проходит зима. А на вторую, под рождество, прибегает Анка из школы и видит — лежит бабушка на лавке, под образами, вся в белом холсте, точно в снегу. Мать воеет и причитает. Отец, сколачивая гроб из старых досок, грустно говорит:

— Вот и нет бабушки... приказала тебе долго жить... Царство ей небесное, не во-время умерла. Придется, Анка, бросить школу, с мальчонком нянчиться...

Горько плачет Анка, ей жалко и бабушку и школу...

И вот она с подружками жарким летним днем, посадив на закорки брата, бежит на реку купаться. Ей тяжело, но отставать от девочек не хочется. Братец дышит ей в затылок, шебаршит ручонками под подбородком — щекотно.

— Сиди смирно... а то брошу, — задыхаясь, говорит она братцу.

За овинами колышется высоченная рожь, и тропинки в ней — точно нора барсучья. Согнувшись, Анка ныряет в рожь. Подружек не видно, только слышны далеко впереди их щебечущие, затихающие голоса. Анка прибавляет шагу, семенит изо всех сил, колосья хлещут братца по лицу, и он плачет.

— У-у, толстун, несчастный!.. Навязался ты на мою шею... — бормочет Анка, беря братца на руки.

Пот льет с нее в три ручья. Тонкие, как соломинки, руки совсем не держат братца. Нет, не дойти Анке до речки. Придется отдыхать. А во ржи страшно одной... А девчонки, поди, бессовестные, уже купаются. И вода, наверно, такая холодная, желанная... А может, донесет? Ну, еще маленечко, еще...

И в тот самый миг, как руки Анки бессильно пригибаются вниз и братец кубарем летит на тропу, — восковая стена ржи раздвигается, видно крутой зеленый берег и девчонка, с визгом барахтающихся в воде.

Анка скатывается с братцем на песок.

— Нишкни... водяной утащит. Смотри, как я занырну сейчас.

Рубашонка сброшена, студеной вода обжигает голяшки, мураши бегут по всему телу...

Кужель<sup>1</sup> на прялке кончился. Анна Михайловна знобко пожалала плечами и усмехнулась, чувствуя, как мураши еще ползут по спине.

„Время было такое... учись не учись — в люди не выйдешь. Мне бы сейчас девчонкой быть, — подумала она, подвязывая новый кужель. — До грамоты я вострая. Может, докторшей бы стала, как попова дочка... А чем мои ребята хуже?“

Ей вспомнился Исаев, он играл ременным кнутом и, поглядывая на ее сыновей, криво усмехался:

— Складные пареньки... В подпаски скоро?

— В семилетку скоро, — сухо ответила она тогда.

— Н-ну? — захохотал Исаев, щелкая кнутом. — Думаешь, за грамотных пастухов мужики больше дадут?

— Врешь, врешь, нечистый дух! — пробормотала Анна Михайловна, мысленно продолжая спор с Исаевым. — Я баба глупая, неученая... может, не все понимаю. Да ведь глаза-то и у меня есть. Вижу, куда жизнь поворачивает. Не сладко мне, а на старую не променяю, живоглот окаянный.

— Кого ты там, мама, ругаешь? — спросил Ленька, отрываясь от тетрадей и потягиваясь.

— Так я... я про себя... Ты учи свои уроки, хорошенько учи.

— Да я выучил, — ответил Ленька, позевывая. — А Мишка уснул. Ми-ишка! Эй!

— Ну, чего орешь: Ми-ишка! Я не глухой... И вовсе не сплю, — сердито передразнивая Леньку, оправдывается брат.

— А глаза зачем закрыл?

— Нарочно. Чтобы лучше запоминалось, балда.

— Сказывай... Слышал я, как ты нахрапывал.

Мишка шлепнул брата сумкой по голове и убежал из-за стола.

— Спать, ребята, спать! — приказывает Анна Михайловна.

Она отправляется на кухню, зажигает лучину и опускает ее в овсяный отвар, чтобы кисель лучше закипел, по-

---

<sup>1</sup> Кужель — волокно, подготовленное для прядения.

том идет во двор, к корове. И когда возвращается, сыновей уже не слышно.

С лампой мать подходит к кровати и долго смотрит на спящих ребят. Они лежат рядышком, лицом к лицу. Мишка держит брата за рукав: должно быть, они разговаривали в постели, и он оборвал их болтовню на полуслове. Мишка, как всегда, спит, подкорчив ноги, Ленька, напротив, вытянувшись, и из-под дерюги выглядывает его желтая, словно брюква, голая пятка. Анна Михайловна осторожно поправляет дерюгу.

Щеки у сыновей горят огнем, и капельки пота висят на кудряшках, возле ушей. Анна Михайловна наклоняется и слушает ровное глубокое дыхание. Вот Ленька заворочался, чмокнул губами, прошептал что-то и засмеялся во сне. И мать тихонько засмеялась вместе с ним.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

Началось еще осенью.

Анна Михайловна идет с понатыми к житнице Исаева. День теплый, безветренный, по-осеннему лиловатый. С утра падал, как бы нехотя, дождь, час от часу реже и мельче, и, посеяв ситом, к обеду затих, точно повис бисерными каплями на оголенных ветвях лип, берез, на дымящихся паром крышах, на потемневших, сырых огородах, дальних умытых полях.

Анне Михайловне почему-то неловко, она не смеет поднять глаз от земли и, сбивая намокшими, тяжелыми лаптями водяную пыль с отавы, все норовит для чего-то ступить в подковки-лужицы, выдавленные острыми каблуками ямщицких сапог. Исаев идет грузно, задыхаясь, в кармане у него звякают ключи. Рядом с ним, должно быть, идет Блинов и, как слышно по молодому задиристому голосу, Костя Шаров, только что демобилизованный из армии. Где-то впереди бесшумно скользит по тропе Николай Семенов.

— От государства излишки хлеба изволите скрывать, гражданин Исаев. Ай, нехорошо! — задирает Костя Шаров, посмеиваясь.

— Скрывать мне нечего, — глухо бурчит Исаев. — Что было — отдал... дочиста обобрали.

— Уж будто дочиста? Бросьте эти кулацкие штучки.

— Это ты брось... дерьмо, молокосос! — хрипит Исаев, сочным хрустом давя каблуками траву.

— Не могу. Имею полное право голоса... в отличие от вас.

— А на кой ляд он мне сдался... ваш голос?

— Правильно, — насмешливо и весело соглашается Шаров. — Голоса нет, зато есть твердое задание.

— Костя, отвяжись ты от него, христа-ради, — упрямивает Блинов, стеснительно покашливая. — Почто раздражаешь человека? Ему и так не сладко... Ты бы, старина, сдал излишки без канители. А, право?

— Сказано — нет хлеба, — отрезает Исаев, и ключи перестают греметь в его кармане.

„Уйти бы от греха...“ — думает Анна Михайловна, замедляя шаги. Но какая-то неведомая сила властно толкает ее к житнице. Вскинув голову, она с изумлением и завистью, точно впервые, видит толстенные, потрескавшиеся от времени, еловые срубы. Дранка на крыше новехонькая, на два ската. Кажется, проруби окна — изба выйдет получше, чем у Анны Михайловны. Широкая дверь обита ржавым железом, и на ней строго чернеет старинный запор.

Николай Семенов, бритый, помолодевший, достает ключи и, не глядя на Исаева, отрывисто приказывает:

— Отпирай.

Тот швыряет ему ключи под ноги. Огромные, ржавые, без бородок, они глухо гремят, падая на землю.

— Коли тебе надо, сам и отпирай.

Видит Анна Михайловна, как Шаров Костя поднимает ключи, с интересом взвешивает их на ладони и, решительно сбив на стриженный затылок фуражку с блекло-зеленым верхом, по-мальчишески торопливо, чтобы кто не опередил, бежит к двери.

Понятые проходят в житницу. Анна Михайловна не решается итти за ними.

— Лезь, Анка... пользуйся. Все равно уж... грабь, — стонет Исаев. Губы у него дрожат, кажется, вот-вот он заплачет.

— Грех тебе так говорить, — отвечает Анна Михайловна и сама готова заплакать. — Не по своей воле... выбрали.

— А ты бы отказалась. Мало я тебе лошадь давал? Забыла? — жалобно хрипит Исаев.

И эти слова молнией озаряют память Анны Михайловны. Видит она, как Исаев стаскивает ее за ноги с кровати, как, ухватясь за постельник, она, спасая сыновей, успевает одной рукой накинуть на них дерюгу;

кричат и хохочут дезертиры, Исаев таскает ее по полу и бьет каблуками в живот, в спину, по голове, злобно приговаривая: „Лошадь тебе?.. хлеба?..“

— Не забыла. Все помню, — говорит Анна Михайловна, чувствуя, как у нее сохнет во рту и громко колотится сердце.

Она идет в житницу.

Запахи хомутины, дегтя и духовитого льняного масла встречают ее на пороге. В житнице просторно, темно. Привыкнув к темноте, Анна Михайловна различает корчаги и кадки, доверху наполненные льняным семенем. У стены прислонен скат колес с белыми спицами и темными, крашеными втулками. С переклада свисает сбруя, и, когда, проходя мимо, Анна Михайловна ненароком задевает ее головой, сбруя слабо звенит медными бляхами и бубенцами. Сусеки почти в человеческий рост, как в общественной магазине. Два сусека засыпаны мякиной, у третьего толпятся понятые,

— Мешков пять... может, поболе, — определяет Блинов, забравшись на кадку. Перегибаясь через стенку сусека, он запускает руку в зерно. — На донышке... Вот те и твердозаданец!

Молча выходят все из житницы. Николай Семенов, щурясь от дыма цыгарки, в упор смотрит на Исаева.

— Не валяй дурака. Где остальной хлеб? — спрашивает он.

Исаев распахивает пиджак, медленно достает красный, горошком, платок и аккуратно, на все пуговицы, застегивается. Он спокоен и даже как будто весел.

— А ты мне его сеял? — зло усмехается он, вытирая бороду. Отнимает у сконфуженного Кости ключи, со скрипом и звоном запирает житницу.

— Ну, так я покажу тебе, где хлеб на сегодняшний день, — тихо говорит Семенов. — Товарищи понятые, давай лопаты, заступы!

И вот они в ямщицком огороде, раскидали поленницу дров и копают землю, перемешанную с гнилушками, берестой. Сбегается народ. Исаиха, простоволосая, в полушубке и босиком, как выскочила из избы, так беспрестанно и носится по огороду, как полоумная, и зовет кого-то на помощь: „Караул!.. Кара-ул!“ — визжит она на все село. Сам Исаев свалился на грядку и мол-

чит. Борода у него в земле, весь он почернел, скрючился и стал маленьким и горбатым.

Накрапывает дождь, темнеет, но никто не расходится. Петр Елисеев подошел с улицы к огороду, облокотился на жерди и растерянно царапает себе щеку. Вдруг он сердито кричит Семенову:

— Вторую поленницу разноси... Там.

С сухим треском валяются березовые дрова.

Выпрямившись, Елисеев смаху перекидывает тело через тын и, подбежав, вырывает заступ у Анны Михайловны.

— Ковыряешься... Разве так копают?

Комья сырой, жирной земли, щепки градом летят во все стороны. Заступ, звеня, ударяется обо что-то. Елисеев, натужившись, отворачивает доску, другую... И вместе с трухой и землей к ногам Анны Михайловны летят набухшие, хвостатые зерна ржи.

Ахает и кричит народ. Анна Михайловна бросается к яме, заглядывает в нее, как в могилу. От ямы валит пар. Остро и сладко пахнет солодом. Лапти скользят, земля осыпается, и Анна Михайловна, оборвавшись, проваливается по колено в красноватую прелую рожь. Выбравшись из ямы и не помня себя, она кидается на Исаева и плюет ему в злые застывшие глаза.

— Пес! — кричит она со слезами. — Что ты с хлебушком, анафема, наделал?

Смеркается, когда понятия и народ идут на гумно Савелия Гущина. Промокший и оживленный Николай Семенов, размахивая длинными руками и крупно шагая, так, что Анна Михайловна в притруску еле поспевает за ним, тихо и доверчиво говорит Елисееву:

— Видишь, до чего дошло, Петя? Сегодня они хлеб прячут, завтра — сельсовет подожгут, как в восемнадцатом году... Война...

— Гм-м... — с сомнением хмыкает Елисеев, дергая плечом. — Воевать у них силенки нехватит.

— Как сказать... Ты не смотри, что они старенькие да слабенькие. Притворяются, сволочи. Рассказывали мне, как Исаев наемни хвастал народу: мы, говорит, не одни, за нас тоже кое-кто постоит. Разуьте, говорит, дурачье, бельма, читайте газеты — не видите разве, какая у товарищей в партии заваруха началась. Чуешь, куда ветер дует? — Трогая Петра за рукав, Семенов заканчи-

вает этот тревожный и непонятный Анне Михайловне разговор все той же своей постоянной мыслью: — Нет, колхоз нам нужен дозарезу.

— Что ж ты... этим колхозом... думаешь, голову богачам проломишь?

— Обязательно. И хлеб будет... себе и государству хлеб.

— Да ведь он не в колхозе, на земле родится. По мне — многополье... машины... вот это подходяще.

— Межи сроем, для всего простор будет.

— И при межах простору хватит... ежели хозяйствовать с толком.

— Добро жалеешь?

Елисеев не отвечает, он оглядывается по сторонам, отстает, и Анна Михайловна примечает, как, пропустив народ, Петр поворачивает обратно, к дому.

Понятые не проходят и половины гумна Савелия Гущина, как из-за сараев, бултыхая по лужам и ямам, вылетает подвода. Знакомая телега, обитая железом и крашенная охрой, нагружена мешками. На мешках сидит Катерина, племянница Гущина, черная, глазастая, как сыч, и, по обыкновению, молчаливая. Савелий, без шапки, в брезентовом дождевике внакидку, бежит сбоку телеги, нахлестывая кобылу вожжами.

— Сам везу, сам... четыре пуда лишку навалил... Знай наших! — верещит он, завидев народ.

Суетливо перебрасывает на ходу вожжи на воз Катерине, ласково и весело приказывая:

— Дуй к ссыпному напрямки, дочка.

Катерина хватает отсыревшие, тяжелые вожжи в одну руку, останавливает лошадь, поднимается на возу во весь свой высокий рост и, размахнувшись, бросает веревочный ком прямо в белобрысую вертлявую голову Савелия.

— Какая я тебе дочка? Отвяжись, косой чорт! — кричит она таким сильным грудным голосом, какого никто и не слышал у нее прежде.

— Вот здорово! — восхищенно бормочет подле Анны Михайловны Костя Шаров. — В самую маковку залепила.

Потирая голову, Савелий хохочет, оглядывается на мужиков и баб, словно приглашает их посмеяться над этой веселой историей, но все точно воды в рот набрал, да и у самого Савелия смеха не получается.



— Ладно, старуха, не ворчи... вместе поедем,— взвизгивает наконец он, легко и жадно вскакивая на воз.— Вижу—ночи боишься... Ну, сиди, сиди... я править буду.

— Никакой я ночи не боюсь. И тебя не боюсь... не поеду!— еще громче кричит Катерина, прыгая с телеги.— При всем народе скажу... Мочи нет... надоело... пристаёт, кобель старый.

Сорвав полушалок, она закрывает им лицо и с плачем бежит в проулок.

## II

А утром спозаранку всем стало известно, что Катерина перебралась жить к бабке Фекле. Говорили, будто Катерина и не племянница вовсе Гушину, что уламывал он девку любовницей быть, да не вышло.

Бросив дела, Савелий бегал по избам и жаловался, оправдываясь:

— Сироту призрел. За сродственницу считал... от жалости и доброты сердца. А она оплеухой меня отблагодарила... и такой поклеп возводит, хоть вешайся со стыда... Да разве я позволю себе от живой жены? Да что я, бык али жеребец какой, прости господи!

В косых мутных глазах его стыли слезы. Он, стесняясь, отворачивался, сморкался в полу дождевика и, поуспокоившись, объяснял:

— Думал, замуж пожелает—отцом за княжий стол сяду. Приданое справлю не хуже людей... Я ей на книжку капитал положил. Чем недовольна?.. Ай, Катерина! Ай, молчальница! Пакость какую выдумала... Ф-фу!..— шумно вздыхал Савелий, удивленно крутя белобрысой головой. И, как-то сразу повеселев, хлопал в ладоши.—Прощаю. Все прощаю... Телку зараз отведу и хлеба дам. Живи, поминай добром Савелия Гушина.

И верно, в тот же день, не мешкая, Савелий привел на двор бабки Феклы нетелю, дымчатую, швицкой породы, свалил в семях шесть мешков муки и положил на стол перед Катериной сберегательную книжку. И было в той книжке не мало, не много—ровнехонько полторы тысячи рублей. Сказывали, будто просил Савелий Катерину простить, коли в чем ненароком обидел, но Катерина не простила. Зато бабка Фекла, смекалистая и расторопная, несмотря на свои восемьдесят лет, старуха,

жившая только грибами да ягодами, воспользовалась случившимся и выговорила еще воз картошки, три воза сена для телки и омет соломы на подстилку, а также дров. Гуцин ни в чем не отказал.

И разно стал толковать народ. Одни утверждали, что такой жулябии, как Гуцин, на белом свете поискать, замает следы, косыга двужилная; поди-ко теперь, подкапайся под него, чисто обстрипал дельце, и протокол, который составил Николай Семенов, ему не страшен. Другие говорили, что Катерине благодарить Савелия Федоровича надо, а не хаять и напраслину городить. Кто-то позарится на цыганку, не девка, а ступа березовая. И еще не известно, кто с кем заигрывал, у народа тоже глаза есть. А что Савелий Федорович за племянницу ее почитал, в том его доброе сердце сказалось, и уплатил он за работу — дай бог каждому.

Слушала Анна Михайловна эти толки и не знала, кто прав. Впрочем, скоро перестали говорить о Гуцине. Дни пошли еще тревожнее.

Перед самым рождеством вдруг пропал Петр Елисеев. Ольга со слезами бегала по селу, спрашивала, не видал ли кто ее мужа. Он ушел из дому, не сказавшись, в понедельник с утра, не ночевал и не вернулся на другой и на третий день.

Страшно было смотреть на Ольгу, она опухла от слез, забросила скотину, не топила печь, забыла про ребят и носилась по округе, по дальним родственникам, разыскивая мужа.

— Не заметила ли ты чего? — спрашивал встревоженный Семенов Ольгу, зайдя к ней в избу вместе с Анной Михайловной. — Что он говорил, Петр-то? Может, грехом, поругались вы?

— Ох, ничего такого не было... Слова поперек не сказала... Вся примета — молчал он шибко, прямо слова не добьешься, да по ночам дюже ворочался... Ой, чует мое сердце недоброе, чует!

— Из себя он каков был? Утром, когда уходил? — допытывался Семенов, мрачней и отворачиваясь.

— Да почему я знаю! — отвечала Ольга, утираясь и беспрестанно глядя в окно. — Обыкновенный... Чаю попил, картошки я ему поджарила... поел, как быть следует. Вижу, валенцы черные, новые обувает... Я говорю: поберег бы, завсе-то ходить и подшитые хороши. А он

еще, помню, матюгнул меня, вот, грит, на божницу поставлю, молиться на них зачну... Обулся, полушубок надел... и ушел.

Кто-то прошел мимо избы. Ольга кинулась к одному окну, к другому, слабо и страшно вскрикнула и повалилась на лавку, забилась.

— Грози-лся... за обедом грози-лся... Без смерти, грит, смерть при... шла... А-а!

Еле уговорили Ольгу не пугать ребят и себя не расстраивать. Анна Михайловна истопила ей печку, управилась по хозяйству, помогла накормить ребят и осталась ночевать, точно в доме был покойник.

Еще в четверг, по распоряжению Семенова, мужики тайком от Ольги искали Петра по ригам, в лесу, шарили шестами в проруби, подо льдом на Волге. Сельский совет послал извещение в милицию.

А в субботу Андрей Блинов, ездивший на станцию за жмыхом в кооператив, неожиданно повстречал Петра. Елисеев слез с поезда, осунувшийся, сдержанно поздоровался и попросил подвезти его. Всю дорогу он молчал да покусывал ус. А когда приехали в село, он, не заходя домой, прошел к Семенову.

После Николай рассказывал Анне Михайловне: Петр посидел, погрелся, пальцами по столу побарабанил, проронил нехотя:

— Твоя правда.

И попросил табаку.

— Да ведь ты не куришь? — Семенов достал кисет.

— Стал курить, — усмехнулся Петр.

Дома он, не обращая внимания на радость, слезы и брань Ольги, наелся щей, молока, завалился на печь и проспал сутки. Выспавшись, потребовал у мужиков собрания.

С этого собрания и пошла в селе суматоха, точно светопреставление началось.

Дело было в ранние сумерки. Черед оказался за Авдотьей Куприяновой, а она только что пол вымыла и не хотела пускать сход, все ворчала, что наследят мужики, нахаркают, наплюют, и не зажигала огня. Хорошо пахло дресвой и рогожами, которые Авдотья сердито кинула на желтый просыхающий пол. От печки-временки, жарко натопленной, от железных труб, косо

протянувшихся через всю избу, так и дышало теплом. Чуть светлее было возле окон и придвинутого к ним стола, покрытого суровой скатертью, слабо мерцала лампадка в переднем углу у икон, а дальше все тонуло в сизом зимнем сумраке, и народ запинаясь за рогожи, входя с улицы. Собирались на сход долго, многие еще не управились, а кое-кто и нарочно тянул.

— Не курить у меня... смерть не люблю табачище! — который раз кричала Авдотья Петру Елисееву.

А тот, отмалчиваясь, знай себе вертел дыгарки, дымил, сидя у печки на корточках, и ни с кем не разговаривал. Да и все больше помалкивали, и эта настоженная сдержанность, эта чистая скатерть на столе, и вымытый пол, застланный рогожами, этот ласково-печальный огонек лампадки напоминали Анне Михайловне почему-то молебен. Вот так, в прежние годы, в крещенье ждали попа, и всегда было хорошо в этот день. Люто трещал мороз, а старики, посмеиваясь, весело толковали — зима ломается, жди весны. И верно, сладко пахло в этот день снегом, ярко светило низкое солнце, и где-нибудь у сарая, в затишьи, прямо на глазах таял мохнатый иней на солнечной стороне крыши. Пусть будут назавтра морозы, выюги-подерухи и до весны еще далеко, но талый, чуть темный краешек крыши, свинцовая капля, одиноко скатившаяся на наст и застывшая там искристой льдинкой, — неувовимо на миг дохнули теплом. И тревожно и радостно начинало стучать сердце, захватывало дыхание и томительно ждалось чего-то.

Когда собрались почти все и Николай Семенов открыл собрание, Елисеев встал, жадно затакнулся, обжигая пальцы окурком, и шагнул к столу. Он снял шапку и молча поклонился народу. И было это так необыкновенно, что у Анны Михайловны мороз прошел по спине. Очень тихо стало в избе.

— Дай огня, чего жадничаешь? — сказал Семенов Авдотье, и та, сразу присмирив, послушно поставила на стол лампу и бросилась чистить стекло.

Свет ударил в лицо Петру, и все увидели, что он стоит, закрыв глаза, дергает сухой пепельной щечкой и ус шевелится у него.

— Мужики, — глухо сказал Петр, прямо и горячо взглянув на народ. — Все это правда, мужики... что Се-

ионов говорит. Был я там... в колхозе... В трех колхозах был... Неправильно мы живем.

Говорил Петр медленно, тяжело, словно бревна вращал. И ничего он не сказал такого особенного, нового, лишь подтвердил семеновы рассказы да посоветовал за ум взяться. Загадали, как всегда, бабы, полезли мужики за кистетами, но Анна Михайловна вдруг неуволимо почувяла сердцем, что будет так, как говорит Елисеев. Она тихонько перекрестилась. „Господи, — подумала она, — да коли взаправду хорошо в нем, в колхозе, так чего же еще нам нужно? Полегчает жизнь — и слава тебе...“ И ее опять охватило беспокойное и радующее предчувствие того невозвратно-далекого времени, когда она, не дыша, смотрела на мокрый край крыши сарая и на первую замерзающую капель.

А на собрании бушевали бабы. Продираясь вперед, они чуть не задавили прикорнувшего в кути, у печки, деда Панкрата и гневной стеной обступили Елисеева.

— Лучше бы ты сгинул, нечистый дух!

— Жалели тебя, окаянного, как пропадавал...

— Думали, путный человек... И на-ко тебе!

— А, дуры-бабы... Ну, чего прилипли? Правду говорю, — ворчал Петр, обороняясь от разгневанных баб, от их локтей и горячих кулаков. — Не любо — не слушайте... сдыхайте на своей трехполке. А я не желаю... понятно? Мне ихние опыты со льном да пшеницей все сердце разбередили... Я те поцарапаю, чортова кукла!

— Ты почто народ взбудоражил? — наседала Строчиха, норовя дотянуться до Петра. — Не слышали, что ли, брехни про колхоз?.. Мы те подстрижем усы!

— Хорошенько его, бабы, хорошенько! — кричала с плачем Ольга, вскочив на скамью. — Житья мне с ним не стало.

Мужики покатывались от хохота. Семенов, смеясь и уговаривая, отнимал от баб Елисеева.

— Постой, — жена пригрозила ему кулаком, — мы и до тебя доберемся... коммунист несчастный!

— Да о чем крик? — вмешался Савелий Федорович Гушин, лукаво и весело косясь на баб. — Петр Васильевич никого не неволит. Дело полюбовное.

— Ты мастер на полюбовные дела, — отрезала Авдотья Куприянова. — Одна полюбовница уж от тебя плачет.

— Прошу понапрасну не оскорблять, — обиделся Са-

велий Федорович, насупившись. — Слушай ухом, а не брюхом... О колхозе я.

— Да ну-у? А я о прошлогоднем снеге... ты-то в колхоз пойдешь?

— Я пойду, куда народ пойдет.

— Народ пойдет по домам... спать, — сказал Ваня Яблоков, лениво позевывая. Но встать ему, видать, не хотелось, он так и не тронулся с насиженного места.

Запомнилась Анне Михайловне на собрании сказка Семенова. Он рассказал ее, когда бабы отступились от Петра, охрипли от крика, а мужики, куря и сплевывая на чистый авдотьян пол, молчали.

— Жил-был орел на высокой горе, на самой круче у синего моря, — начал Николай, посмеиваясь и потряхивая рыжей копной волос. — Д-да, жил орел... и был у него малый орленок. Батько-орел летал по горам, по синю морю и добывал птенцу пищу. Мясную, как и полагается этой птице... Орленок был глуп, пищу принимал охотно, даже добавки выпрашивал, а понимать ничего не понимал. Таращился из гнезда на свет божий и все спрашивал своего батьку-орла: „А что это такое?.. да там что такое?“ Ну, орел пояснял, как малым ребятам в таких случаях поясняют... Вот и заметил раз орленок у своего батьки крылья. Большие, чисто у мельницы. Пристал: „Что такое? Почему у меня нет? Зачем крылья?“ Отвечает орел: „Вырастут — узнаешь“.

Семенов помолчал, посмотрел на притихших баб, на покуливающихся внимательных мужиков и продолжал негромко:

— Долго ли, коротко ли, выросли у орленка крылья. Не такие большущие, как у батьки, однако порядочные. Вот и повел однажды орел своего птенца на кручу... Глянул тот, а с кручи и земли не видать, такая пропасть — голова кружится. Синее море внизу, солнце там, из-за моря, всходит. Простор. И хочется туда, и боязно... „Ну, — говорит орел, — полетим“. А птенец пятится от испуга, нехорошо сказать, наклал под себя. Пищит: „Упаду-ду! Страшно... Разобьюсь насмерть!“ — „Полно, дурак, — говорит орел, — на то и крылья, чтобы не падать...“

Николай поднялся из-за стола, выпрямился. Статный, высокий, сильный, в рыжем пламени волос, он, как бы раздвинув избу, смотрел, прищурившись, поверх голов

мужиков и баб, куда-то в неизвестную даль и словно видел там невидимое другим. Он смотрел так пристально, так хорошо улыбался этому далекому, что Анна Михайловна невольно и сама заулыбалась.

— На то и крылья, чтобы летать, — повторил Семенов. — И толкнул орел птенца легонько под задок. Повалился орленок с кручи. „Батюшки, — орет благим матом, — падаю... спасите!“ Да ненароком и раскрыл крылья, махнул ими, — Семенов с силой раскинул руки. — Чует орленок — ладно получается... Замахал он тут на радостях во всю мочь... и подлетел со своим батюшкой-орлом, куда им было желательно.

Пуще прежнего принялись дымить мужики. Хмуро помалкивали бабы. Но у всех как-то посветлело на душе.

— Это что же, выходит, и нас... советская власть под зад... к хорошей жизни... толкает? — сердито спросила, запинаясь, Ольга Елисеева, утирая ладошкой мокрые щеки.

— Раскусила? — заулыбался хромой Никодим, озорно оглядывая Ольгу. — Любота! — Он набил нос табаком, блаженно морщась, чихнул и шутливо всех поздравил: — На здоровье, граждане, вас... с колхозом!

Все-таки на собрании этом ничего не решили.

### III

И на втором собрании просидели без толку до петухов, переругались все, перекорились. Везде, где встречался народ, — у колодца, на гумне, в кооперации, — только и разговоров было, что о колхозе. Пошли слухи по селу один другого страшнее. Поговаривали, будто кто не пойдет в колхоз, тому твердое задание навалит; что в колхозе печь хлебы будут в одной избе, раз в неделю, и по кусочку станут давать к завтраку, обеду и ужину — съел, и больше не спрашивай; божились, что запретят колхозникам в церковь ходить, ребят крестить; и дома не помолишься — иконы отберут да в сельсовет отвезут на дрова.

Иные — верили, иные — смеялись и сердились, а ладу все не получалось, хотя зачастили сходы, по два на день собирались. Из города агитаторы стали наезжать, уговаривать. Николай Семенов опять оброс рыжими колотками и, похудевший, не выспавшийся, только и

делал, что собрания проводил да по избам ходил, толковал с хозяевами и хозяйками по отдельности. Уж, кажется, вот-вот уговорил, вечером согласились которые в колхоз итти, а утром поглядишь — бегут выписываться.

— С нашим народом разве сладишь? Поколеют — не пойдут, — говорил Петр Елисеев Семенову.

— Пойдут. Разузнать бы, кто стращает... брехней кулацкой.

— А чорт его знает... все говорят. По мне бы, и вправду закатить которым по твердому заданию. Зачесались бы остальные, одумались... — горячо и злобно усмехался Петр. — Припугнуть, а? Подмогнуло бы...

— Не мели! — сердито обрывал Николай и снова шел по избам разговаривать с мужиками и бабами.

И стало казаться Анне Михайловне, что обмануло ее предчувствие. Видать, перебесится народ и успокоится, по-старому, по-привычному жизнь пойдет... Ну, и бог с ним, с колхозом. Может, и верно, как болтают бабы, обман все это. А тут хоть плохонькое хозяйствишко, но свое, тяжела жизнь, да изведена. Не привыкать стать Анне Михайловне свой крест нести.

Но против воли, наслушавшись рассказов Семенова, так ладно думалось по ночам о колхозе, так споро и хорошо, как во сне, строила Анна Михайловна себе новую избу, заводила поросенка, шила ребятам суконные пиджаки, пекла по воскресеньям белые пироги с яйцами и зеленым луком, и, главное, ей представлялось, как споро и легко работается на людях, без заботы, что не на чем пахать и нечем сеять, — с весельем, песнями, по которым она истосковалась в своем одиночестве; все это так ясно и правдоподобно виделось Анне Михайловне, что она желала, не могла не желать колхоза и опять верила в него. Она не смела про все это говорить на сходах, да, вероятно, если бы посмела, то не нашла бы слов; она молча слушала баб и мужиков, но сердце у нее так и кипело.

Как-то вечером, идя по воду, Анна Михайловна повстречала отца Василия. Он шел, должно быть, из церкви, после всенощной, в бараньем тулупе, высокой меховой шапке, тяжело опираясь на клюшку. Анна Михайловна поклонилась, отец Василий остановился, поманил к себе.



— Слышал, в колхоз... собираешься? — спросил он, благословляя длинным рукавом тулупа.

Анна Михайловна поцеловала холодный кислый рукав и замялась.

— Не знаю, батюшка... как народ.

Отец Василий грустно вздохнул.

— Что тебе надо в этом... колхозе?

— Лошади, говорят, общие будут, — тихо ответила Анна Михайловна. — Измучилась я, батюшка, без лошадки.

Отец Василий печально и строго покачал белой бородой.

— На чужое зарисься? А заповедь божья — не укради...

— Зачем же воровать, батюшка? — робко сказала Анна Михайловна. — По-свободному, добровольно лошадей сведут... коли захотят. Вместе-то ведь легче работать.

Помолчал отец Василий, поковырял клюшкой мерзлый снег под ногами.

— Смотри, — сказал он на прощанье, — не прогадай.. Неудобное богу задумала. Не потеряй последнего... как мужа потеряла.

И страшно стало от этих слов Анне Михайловне.

— Батюшка, — заплакала она, бросаясь вслед ему, гремя ведрами и кланяясь в черную спину тулупа. — А как жить-то? Зачем стращаешь, батюшка? Совет дай, научи!..

— Богу чаще молись... он научит, — ответил отец Василий, не оборачиваясь.

С пустыми ведрами, расстроенная, вернулась в избу Анна Михайловна. Чего только не передумала она за долгую бессонную ночь. И уж не выростала в небо тесовая светелка нового дома, не работала Анна Михайловна споро и весело на людях, без заботы и горя, не кормила сыновей пшеничными пряженцами и пирогами, не шила суконных пиджаков. Другое, нехорошее и опять правдоподобное, лезло ей в голову: то видела она мужа — он лежал в неведомом краю, в рыжей своей шинели, стоптанных солдатских сапогах, и удивленно раскрытые голубые глаза его клевали вороны; то она снаряжала ребят за милостыней, вешая им за плечи холщевые мешки; то сама она, живая, ложилась в гроб, хотела умереть, а отец Василий, исповедуя, не отпускал ей грехов.

Под утро от этих черных, нехороших дум ей стало совсем немогоду. Она слезла с печи, тихонько зажгла лампаду перед иконой и, босая, в одной безрукавной старенькой рубашке, опустила на колени. Ее затрясло от холода и слез.

В избе было мертвенно-тихо, даже дыхания сыновей не было слышно, и часы, не заведенные с вечера, перестали успокаивающе тикать. Лишь тараканы, как всегда, шуршали за обоями; глухо лаяла где-то на селе собака, да стучало сердце Анны Михайловны. Слабо теплилась розоватым ободряющим огоньком лампада, и потемневший, чуть зримый лик Спасителя выступал из мрака.

— Милостивец... господь-бог! — горячо прошептала Анна Михайловна, сложив на груди онемелые руки. — Вразуми ты меня, простую, глупую бабу. Как жить? Просвети... Не за себя прошу, господи, за ребятущек. Смилуйся над ними! Меня покарай, а их благослови. Адом покарай, коли прогневала, только дай выкормить-выпоить свет мой, радость мою несказанную... Заступись, мать божия, владычица... Научи... сам знаешь, господи, миром-то добро жить, не в одиночку. Чем же тебе не угодно это? Может, врет отец Василий?

Она прошептала это вгорячах и сразу опомнилась, испуганно перекрестилась.

— Прости ты меня, грешную. Нехорошо о попе подумала.

Долго молилась Анна Михайловна. Она не чувствовала ни рук, ни ног, и тело ее, околеченвшее от холода, стало тяжелым и непослушным. Скоро она уже не могла кланяться, спина отнялась, подогнулись колени, и сложенные шепотью пальцы застыли прижатыми ко лбу. Но вся она, сердцем, разумом, стремилась к живому, ласковому пятнышку света, и ей казалось, что пятнышко это растет, рассеивает мрак и просветлевшее, грустно-доброе и такое знакомое лицо, успокаивая, приближается к ней.

Сделав усилие, она медленно перекрестилась, коснулась растрепанной тяжелой головой холодного пола, с трудом поднялась и полезла на печь.

Она хотела заснуть, но, отогревшись, опять стала думать, и все то, что мучило ее и страшило, с новой силой обрушилось на нее.

И, промаявшись до свету, разбитая бессонницей и

думами, Анна Михайловна поздно топила печь, все валялось у нее из рук, и ребята собрались в школу, первый раз не дождавшись чая.

— Сейчас самовар закипит... картошка готова, — виновато уговаривала мать, досадуя и на себя, и на ребят и без толку суетясь у печки. — Загорелось там у вас, в школе? Успеете набаловаться-то.

— Набаловаться... да, как же! — сердито передразнил Мишка, торопливо доедая ломоть хлеба и застегиваясь. Он схватил сумку и взглянул в окно. — Эвон, Пузан пробежал. На урок опоздаем. Айда, Ленька!.. Мамка, где варешки?

— Почем я знаю... Где положил, там и возьми... Хоть картошки с собой захватите, все не всухомятку, — предложила она огорченно.

— Это можно, — сказал Ленька, помогая брату разыскивать по лавкам варешки. — В большую перемену сгодятся. Эге?

— Эге, — согласился Мишка и, сунув найденные варешки за пазуху, стал набивать карманы картошкой.

— Ох, чорт, какая горячая!

— Поругайся у меня! — пригрозила мать и замахнулась на него.

Мишка живо увернулся и юркнул в дверь, за ним — Ленька. Анна Михайловна притворила было дверь за ребятами, потом, вспомнив, схватила со стола солонку и выскочила в сени.

— Соль забыли, растяпы!

— А мы без соли... — сказал Ленька, сбегая с крыльца. Мишка был уже на улице и криком и свистом торопил брата.

Анна Михайловна постояла на крыльце.

Морозное белое солнце поднималось в голубовато-белом небе над завьюженной крышей риги. Все вокруг горело и сверкало белым, чистым блеском — и бескрайные, нетронутый белизны, поля, и снежная шапка риги, нахлобученная по самый вход, и сугробы, подступавшие к избе, и молодой, опушенный инеем, тополь у крыльца. Даже валявшийся на приступке веник был серебряный и сверкал пучком упавших солнечных лучей.

Пробегая мимо тополя, Ленька ударил его тонкий ствол ногой. Иней осыпал ему и Мишке бобриковые пальто. Воротники и плечи у ребят стали белыми.

Прижав солонку к груди, не замечая холода, Анна Михайловна, щурясь, проводила долгим взглядом сыновей. Ребята, переговариваясь и отряхивая иней, бежали по искрящейся тропе на дорогу, и снег весело хрустел и пел под их валенками. Из оттопыренных карманов струился легкий парок.

Усмехаясь, Анна Михайловна вздрогнула, хлебнув полным ртом морозного, солоноватого воздуха, и подумала: „Да чего же я боюсь? Хуже не будет... Не любо некоторым богатеям — вот и страшат“.

#### IV

На святках Анна Михайловна пришла домой с собрания в третьем часу утра.

Легонько притворив заиндеветшую дверь и не зажигая огня, чтобы не потревожить ребят, она размотала шаль, скинула шубу. Из окошка, расписанного морозными елками, падал на пол лунный свет и зеленоватым волнистым половиком тянулся к порогу. Анна Михайловна ступила на этот половик и заметила снег на лаптях, снег мерцал синевато, как сахар, когда его колют в темноте. „Может, и сахару теперь у меня вволю заведется“, — подумала она, обметая веником лапти.

Пройдя на кухню, осторожно пошарила в суднавке. Хлеба там не нашлось, верно, ребята весь съели за ужином. Тогда мать подошла к ушату, ковшиком продавала ледяную хрустящую корку и напилась. Перекрестившись, полезла на печь.

— Вступила? — пробормотал с кровати Мишка.

Она подумала, что сын разговаривает во сне, и не ответила. Потрогала кирпичи, они были еще теплые. Радуюсь, согнала ощупью тараканов с изголовья, перевернула постельник нагретой стороной вверх, разделась и прилегла, накрывшись старой пальтушкой.

— Вступила? — настойчиво повторил мишкин голос.

— Что ты? — шопотом спросила Анна Михайловна.

— В колхоз, говорю, вступила?

— Спи... какое тебе дело? — сердито ответила мать.

Кровать скрипнула, и Ленька, недовольно посапывая, поддержал брата:

— Не чужие... Нам тоже знать надо. Завтра в школе будут спрашивать.

Анна Михайловна молчала.

— Говори, мамка, а то спать не дам... песни буду жеть, — пригрозил Мишка.

— Ну... вступила, — сказала Анна Михайловна, вздохнув. — Да дрыхните вы, полуношники! Никогда мне покоя от вас нет.

— И тетка Прасковья вступила?

— Вступила.

— И дядя Петр?

— Отстань!

— Ты бы поужинала, мама, — посоветовал Ленка, зевая. — Суп в печи, а хлеб в комодке..., в полотенце завернут.

— Не хочу я... спите.

Сыновья пошептались еще недолго, поворочились и затихли.

А матери сна не было. Она лежала в тепле и тишине, накрывшись с головой пальтушкой, а в ушах не смолкал сердитый галдеж, словно в избе продолжалось собрание, и холод почему-то щипал сердце. Она повернулась на бок, поправила подушку, удобно сунула под голову согнутую руку, закрыла глаза, но сон не шел.

Видит Анна Михайловна взволнованное лицо Петра Елисеева. Беспреданно дымя цыгаркой, Елисеев все сует в рот бурый острый ус, жует его, и этот левый ус словно стал у него много короче правого; ревет Строчица, приговаривая: „Что делается... что делается, господи!“; таращит круглые испуганные глаза и украдкой держит мужа за рукав, не подпуская к столу, Куприяника; бушует под окнами пьяный Исаев; приезжий из города товарищ, распахнув шинель и утирая потное усталое лицо, хрипло говорит речь, хотя его никто не слушает; веселый и сосредоточенный Николай Семенов, взъерошив волосы, облокотился на стол и, постукивая карандашом, настойчиво спрашивает: „Кто следующий?“

Тут с треском распаивается дверь, и, внося холод и молчание, в избу входит Савелий Федорович Гушин. На нем лица нет, такое белое, словно обмороженное, одни косые глаза живые блестят. Одет Савелий на диво — по-праздничному. Он в лисьей шубе с каракулевым воротником, в черных покойных бурках. Левый борт шубы отстегнут и вывернут, как на гуляньи для жары, и всем виден огнево-пушистый треугольник меха.

Строго покосившись на подростков, толпящихся у двери, Савелий Федорович без обычных шуток, не торопясь и как-то важно, почти торжественно, снимает котиковую, пирожком, старомодную шапку, и все расступаются перед ним. Прямо и высоко поднята его белобрысая голова, грудь выпячена. Он смело идет к столу и молча быстрым движением короткой ловкой руки, затянутой в кожаную перчатку, кладет перед Семеновым бумажный сверток.

— Что это? — спрашивает Семенов, сдвигая брови.

— Ключи.

— Какие ключи?

— От дому... — протяжно произносит Савелий, точно молитву читает. — Жертвую... от чистого сердца... колхозу. Мне с женой бани за глаза хватит... я уж перебрался.

На белом неподвижном лице его что-то дрогнуло, глаза перестали косить; Савелий жалко улыбнулся.

Гул удивления и одобрения прокатился по избе. Мужики перестали курить. Бабы вскочили с мест, чтобы лучше видеть и слышать. Авдотья Куприянова выпустила мужнин рукав и шепчет Анне Михайловне на ухо:

— Сама видела, вот провалиться мне, на санках жену в баню вез. Думала — париться, ан смотри-ка... С ума рехнулся, помяни мое слово, рехнулся!

Опрокидывая скамьи, расталкивая баб, Петр Елисеев бросается к Савелию.

— Спасибо!.. — кричит он, задыхаясь. — Это, брат, полколхозному.

Товарищ из города, пристально оглядев Савелия, наклоняется к Семенову и что-то тихо говорит ему.

— Сам знаю, — долетает до Анны Михайловны короткий недовольный ответ Николая.

Он стучит по столу карандашом, играя острыми скучами. Подает Гущину сверток обратно.

— Вот что, Савелий Федорович... Спрячь свои ключи. Пожертвований не принимаем. Потребуется, сами все возьмем. Иди домой. Мы делом заняты.

Гущин непонимающе таращится на Семенова, потом стриженная голова его склоняется набок. Он достает из кармана мятую шапку и никак не может надеть ее. Шапка и ключи падают на пол. И вдруг Савелий, всплеснув руками и по-бабьи охнув, валится в новую шубе перед народом на колени.

— Встань! Это еще что за представление? — сердито говорит Семенов.

— Не вста-ану... Народу в ножки кланяюсь. Судите меня, граждане! За все грехи судите... — визжит Савелий и, словно в беспамятстве, обрывает пуговицы на шубе, рвет ворот новой ластиковой рубашки и, закатив глаза, бьет себя кожаным кулаком в грудь.

Анна Михайловна прячет лицо в шалюшку. Ей слышно, как всхлипывает рядом Авдотья, как тяжело сопит ее муж, как гневно кричит Елисеев, что Семенов не имеет права так говорить от имени собрания; слышит Анна Михайловна, как мужики поддерживают Елисеева и уговаривают Савелия Федоровича встать и успокоиться, а тот елозит коленями по полу и воет, но все тише и реже... И вот уже слышен его срывающийся, свистящий шопот:

— Не скрываюсь... обманывал. И добро, и пакость людям делал... Все было... Не могу так больше жить... душа не позволяет. Ведь и у меня есть душа, граждане, душа, а не мочалка! Примите... к себе... в колхоз. Спасибо скажу, сил не пожалею... все отдам... Не примете — воля ваша. Значит, того заслужил... значит, головой в прорубь. Туда мне и дорога!

Слезы душат Анну Михайловну. Ей и жалко Гущина, и не верится ему. Ведь вот плакался Исаев, когда у него житницу обыскивали. По-бабьи тогда пожалела его Анна Михайловна. А что вышло? Ей было и стыдно и обидно потом, когда обнаружилось, что ямщик сгноил хлеб в огороде, в яме под поленницей.

„То собака Исаев, ненавистник, — думает она, утираясь шалюшкой. — От Савелия Федоровича худого слова не слышали... И помогал он, не отказывал... Зачем же на смерть человека толкать?“

— Принять! Принять! — горячо и радостно кричит Петр Елисеев.

Бабы и мужики подхватывают, повторяют на разные лады:

— Принять! Чего там, работяга... А старое что вспоминать, и мы — не ангелы... Пиши его!

— Нельзя, товарищи. Все это обман, — гремит Семенов, и голос его, злой, железный, как ножом, режет по сердцу Анны Михайловны. — Дом отдаст, а добро себе оставляет. Раскулачиванья он боится, вот и вся музыка.

— Смерти не боюсь! В прорубь... — взвизгивает Гудин, и Анне Михайловне слышно, как он, стуча каблуками бурок, стремительно вскакивает с пола. — Верно... Не принимайте. Недостойн я...

Анна Михайловна срывает с головы шалюшку, поднимается из угла и слабо и горько кричит:

— Коля, почто так? Почто-о?

Ее возглас тонет в шуме и гаме. Сторону Семенова держат товарищ из города, Костя Шаров и эта выскочка, бессовестная цыганка Катерина. Хорошо, что им не дают говорить мужики и бабы.

— Это что же, мужики, — спрашивает с обидой Андрей Блинов: — которые не желают, — силком тащат, которые по-добру, по-здорову идут, — не принимают... Да чей же колхоз-то: наш или дяди? Тогда и нас выписывай!

Смотрит Николай Семенов на мужиков и баб, сердится, а ничего поделывать не может.

— Ставь на голосование... — требует Петр Елисеев. — Зачем народу рот зажимаешь?

Приходится Семенову подчиниться. И чащоба поднятых рук загораживает его огорченное лицо от Анны Михайловны.

Она и сейчас, лежа на печи, видит эту живую чащобу рук и думает о том, как хорошо, что приняли в колхоз Савелия Федоровича, за ним и остальные потянулись, даже Авдотья Куприянова и Прасковья Строчица. И вот, слава богу, кажись, сладилось дело, теперь народу только подавай работы.

Колхоз освобождал Анну Михайловну от постоянных забот о лошади, семенах, которых она не имела. А работать ей было безразлично на чьей земле, лишь бы прокормиться. Справные мужики и бабы жалели лошадей, вторых коров, хлеб, амбары, которые они отдавали в колхоз. Ей же нечего было жалеть, не с чем было расставаться. Она несла в колхоз только свою бедность и натруженные, охочие до работы руки. По совести говоря, Анне Михайловне осточертел ее одинокий труд. Колхоз ей представлялся мирской „помощью“, как это бывало в прежние годы, в горячую пору нзвозницы или сенокосов. Только теперь эта „помощь“ была не на день, не на два, а на все время. И она по опыту знала — на людях работать веселей, легче и, главное, скорее.



Анна Михайловна потянулась во всю длину на теплой печи, зевнула, подумала немножко еще о чем-то неясном, но таком ладном, приятном, и уснула крепко и сладко, как она давно не спала за все эти суматошные дни.

## V

Анна Михайловна поняла справедливость новой жизни, когда раскулачили и выселили Исаевых. Над крыльцом просторной исаевской избы Николай Семенов, выбранный председателем колхоза, собственноручно прибил железную вывеску: „Правление колхоза „Общий труд“.

В доме Савелия Федоровича выломали стену и, соединив лавку с жилым зимним помещением, открыли избу-читальню. Гушину велели перебраться из бани в летнюю горницу. Не гоже было колхознику, да еще с больной женой, тереться в бане, как нищему. Савелий Федорович долго не соглашался, все хотел пострадать за старые грехи, но его уговорили, а в доказательство, что старое забыто, выбрали завхозом, против воли Николая Семенова.

И ожил Савелий Федорович, повеселел, как прежде. Сбив шапку на стриженный затылок, в стареньком полушубке нараспашку, с ключами у пояса, он целыми днями носился по амбарам и житницам, принимая колхозное добро, все вымерял, подсчитал до зернышка, до соломинки. Он уличил Куприянику, когда та спрятала новый хомут под застреху, и первым свел на общественный двор гнедую рысистую кобылу с жеребенком-стригуном и комолую, швицкой породы, корову. Мастер на все руки, Савелий Федорович вечерами сам сложил себе в горнице русскую печь, напросился в кузницу подсоблять кривому Антону ладить плуги, бороны, шиновать старые колеса, а потом взялся чинить за шорника сбрую.

— Весна прикатит, и мигнуть не успеешь. Она, брат, как девка — ждать не любит, — балагурил он. — Кто зевает, на перестарках женится. Хо-хо!.. А мы, брат, нашему колхозу молодую да богатую жизнь сосватаем.

В феврале, как всегда, начались метели. Тошно завыл ветер, поднял до неба и закрутил снега. Завесив все окрест белой и холодной, свистящей мглой, он принялся кудесничать. В полях, на просторе, ветер словно

метлой дочиста обмел пригорки, оголив ледяное, звенящее жнивье, сухой белоус и кусты татарника; навалил рассыпчатые сугробы около изб и сараев, задрав соломой на крышах; с хрустом ломал сучья ив, тополей и лип; озоруя, переставлял на реке вешки у прорубей; заносил дороги и торил новые, неведомо куда.

Иногда вьюга на час затихала. Низко спускалось чернильное небо, тянуло с юга теплыню, оседали талые сугробы, и снег становился лиловатым. С криком носились по улицам и задворкам ребята, валялись, как в масленицу, в сугробах, сладко и досыта сосали лиловые, обжигавшие рот холодом, комья снега, катали сырые глыбы и лепили снежные чудища с круглыми угольными глазами и ручищами из палок и старых облезлых веников.

Но короток был этот час тепла и затишья. Налетала с севера, из-за леса, шалая подеруха, разгоняла озябшую ребятню.

В метелицу вышла Анна Михайловна с бабами сортировать колхозные семена. До амбаров нельзя было добраться, так надуло снегу и перемело дорогу. Вьюга слепила глаза, и бабы, плутая по гумну, молча шли гуськом, увязая по пояс в сугробах. —

Все было необыкновенно и значительно: и то, как с вечера наряжал на работу бригадир Петр Елисеев, как появился он в избе Анны Михайловны, запорошенный снегом, долго отряхивался на кухне, а пройдя к столу, вынул из-за пазухи мокрую тетрадку и, развернув ее и пошлюбив карандаш, торжественно поставил жирную палочку; как, расправив фиолетовые, запачканные карандашом усы, он внушительно сказал: „Стало быть, завтра в семь... по-военному“; и то, как дружно сошлись у правления бабы на эту первую колхозную работу и, хоть полаялись немножко, что света белого не видать и можно было повременить с сортированием, чай, не завтра сеять, — но ни одна не повернула обратно в теплую избу, а замотали плотнее головы шалюшками, остались на стуже; и вот — не страшась вьюги, молча и яростно, месят бабы лаптями и валенками сыпучий снег.

У исаевского амбара, на ветру, поджидал Николай Семенов с бригадиром и завхозом.

— Ну, курицы, обмочили хвосты... али что поболее? — весело заверещал, встречая баб, Савелий Гушин.

— Тебе, петуху, хорошо в штанах, — огрызнулась Елисеева Ольга, переводя дух. — Знамо, по пупок измокли... охолодаем теперича.\*

— А куда вас понесло? — набросился на жену Петр. — Я ж кричал вам — берите левее, на блинову житницу, там не глыбко.

— Ничего, согреемся, — примирительно сказала Анна Михайловна, боясь ссоры.

— Да еще как согреемся! Работенки всем хватит, — живо откликнулся Семенов, поняв ее, и приказал открывать амбар.

Все зашли под навес. Здесь было тише, пахло сенной трухой. Бабы оправили волосы, выбили снег из-под юбок, присев на солому, переобулись.

А когда, теснясь, вошли в амбар, сразу забылись и вьюга, и холод. Пол-амбара было завалено мешками с зерном. Разномастные, из беленого холста и грубой желтой мешковины, в заплатках и новенькие, они пестрой стеной уходили под самый переклад.

— Батюшки, да неужто все это наше... колхозное? — изумилась Анна Михайловна.

— Наше, Михайловна, все наше! — ответил, посмеиваясь, Николай. Снял рукавицы и, держа их в зубах, погладил своими широченными, словно лопаты, ладонями тугую округлую холстину.

Анна Михайловна не утерпела и тоже потянулась к мешкам, пощупала. Одни были с овсом, и сквозь редкую мешковину усатые зерна приятно покалывали и щекотали пальцы, другие, видать, были с рожью, в третьих знакомо переливалось скользкое льняное семя.

— Экая благодать... экая благодать! — приговаривала Анна Михайловна, переходя от одного мешка к другому.

— Земли нехватит! — радостно галдели за ее спиной бабы. — Тут сей — не пересеешь.

— Раскорчем Волчью пустошь. По целине знатно будет лен родиться, — сказал Елисеев и, горячий, жадный до работы, сбросив шубу, взялся налаживать сортировку.

— Не мал у нас лен... одна куделя, — перечила Авдотья Куприянова.

— На брагинский сменяем. Чистое золото.

— А кусать что будешь?

— Белые пироги.

— Кусать мне не обязательно, — пошутил Савелий Федорович, помогая Петру вытаскивать из угла на свет темнозеленую гремящую сортировку. — Вот она, матушка! Сто лет берег... пригодилась. Осторожнее, Петр Васильич, моя машина ласку любит. А пироги у нас, бабочки, крупчатые будут... без дуранды, — продолжал он, весело косясь на Семенова. — Наш председатель переделает рожь на пшеницу.

— Скажи, какой чудотворец выискался!

— Действительно, — серьезно сказал Семенов, — рожь мы на яровую пшеницу обменяем. Вчера из района наряд в сембазу получен.

— Давай, давай! Хватит языком чесать... Накручивай! — нетерпеливо распорядился Елисейев, волоком подтаскивая первый мешок с зерном к сортировке. — Завхоз, гони нам сюда триер со станции, да смотри не утопи коня... блинова мерина запрягай.

— Ну, господи, благослови... — Анна Михайловна перекрестилась и, подойдя к сортировке, взялась за ручку. — Засыпай, Ольга, а мы вот хоть с Авдотьей вертеть начнем.

И целый день, не умолкая, отрадно грохотала в амбаре сортировка, заглушая вой вьюги. До самой крыши поднялась рыжая пыль, но Анна Михайловна в горячах долго не замечала ее, пока не стало першить в горле. Работалось бездумно, сил точно прибавилось, и она не уступала молодухам, сортировавшим рожь-ярицу на второй исаевской машине. Кинула на пол шубенку и для ловкости даже засучила рукава кофты. Бабы громко переговаривались, судили-рядили про всякое, зубоскалили с дедом Панкратом, заглянувшим в амбар, просили старика погреть их, бедных, и Панкрат, кашляя от пыли и табаку, болтал, что горазд на такие дела, да вот оказия — грелку на печи оставил. Но все это не мешало, работа спорилась. Живым светлым ручьем неустанно брызгал овес на разостланную дерюгу, и, глядя на эту золотую, все увеличивавшуюся запруду, Анна Михайловна забывалась, и потом, когда мешок подходил к концу и надо было подтаскивать следующий, очнувшись, она радостно дивилась, что сделано так много и так легко.

Вот такой и представлялась в думах колхозная работа Анне Михайловне. И то, что она не обманулась, веселило ее, приносило уверенность, что и дальше все в кол-

хозяе пойдѣт ладно, какъ рассказывал Коля Семенов, и, пожалуй, на самомъ дѣлѣ заживетъ она съ ребятами полюдски.

Правда, въ разговорахъ бабы, какъ прежде, хаяли колхозъ и такихъ страстей навывкрикивали за день — беда: и послѣднихъ коровъ, слышь, отнимутъ, и до куръ доберутся, и подохнетъ народъ на работѣ, да безъ толку — съ проклятымъ льномъ, гляди, какъ разъ безъ хлеба „товарищи“ оставятъ. Слушала Анна Михайловна бабъ, тревожилась, хотя и не верила. Хуже было, что Елисеевъ, осматривая мешки, ругался — не овесъ ссыпали, одинъ мышинный горохъ, получше себѣ приберегли, чортовы колхознички; отъ такихъ не жди добра: какъ сеять, зададутъ стрекача на свои загоны. „Не дай богъ, — подумала Анна Михайловна, — тогда колхозъ развалится“.

Тутъ подъѣхалъ съ триеромъ къ амбару Савелій Федоровичъ, и Петръ, глянувъ въ дверь, побелѣлъ отъ злости.

— Гдѣ тебя чортъ носилъ? Полдня на станцію ездилъ!.. — закричалъ онъ на завхоза.

Но поняла Анна Михайловна: злится Елисеевъ на Гушина совсемъ за другое, за то, что запрягъ тотъ безъ спросу елисеевского Буяна.

А когда уходили вечеромъ съ работы, Строчица бестыдно навалила полный подолъ высевокъ и хотѣла унести домой курамъ. Анна Михайловна не дала, сказавъ, что высевки колхозной скотинѣ сгодятся, и они поругались. Прасковья укорила Анну Михайловну, что она гольшкой пришла въ колхозъ, на готовенькое, овсины завалящей не принесла, а туда же, какъ путная, — распоряжается. Горько было слушать эти попреки Аннѣ Михайловнѣ.

Она заплакала, устало застегивая шубенку, и, выходя послѣдней изъ амбара, чужевато и безразлично оглядела гору мешковъ, порадовавшихъ ее утромъ. Не хозяйка она этому добру, а такъ — съ боку-припеку. Воруютъ на глазахъ, и не смей слова сказать. Гольшка!.. Да не пожалела бы она добра, коли было бы, господи. Ужъ, наверно, не подсунула бы мышинного гороха вместо овса и не стала бы злиться, какъ Елисеевъ, изъ-за того, что безъ спросу его лошадей запрягли. Прахомъ все полетитъ въ такомъ колхозѣ.

На гумнѣ было еще светло, а навстрѣчу Аннѣ Михайловнѣ, прямикомъ по сугробамъ, уже скользилъ на лыжахъ,

проваливаясь и шурша снегом, с берданкой за плечами, Костя Шаров. Должно, была его очередь нынче сторожить амбары. Вьюга улеглась, потеплело, и в мягкой вечерней тишине ясно слышались стуки, голоса и шорохи замиравшего дня. Везли с реки, по откопанной дороге, на скотный двор воду, и слабо звякали ведра, привязанные к бочкам. Удалялся и затихал говор баб, торопившихся к домам, чтобы засветло управиться по хозяйству. Как дятел, настукивал далекий молоток в кузнице. На селе кричали ребята, и Anne Михайловне показалось, что она различает голоса и смех сыновей.

Она постояла и послушала.

У житницы мужики разгребали снег, и, невидимый за сугробами, Николай Семенов громко и весело наказывал кому-то пораньше отправить завтра подводы в город за пшеницей. Где-то рядом, вверху, тонко и редко пел топор. Анна Михайловна подняла голову и увидела на крыше сарая Никодима. Оседлав конек, он поправлял развороченную вьюгой крышу, подрубал жерди, пригнетая ими солому.

И, не спуская глаз с Никодима, слушая певучие удары его топора, дробный стук молотка в кузнице и гремящий голос Николая Семенова, Анна Михайловна невольно подумала — важно не то, что ее обидела Строчиха, что Петр Елисеев считает еще своим Буяна, и даже не сорный овес, подсунутый жадными хозяевами; важно другое: вот эта радивость Никодима, этот поздний стук в кузнице, груды зерна, просортированного бабами, хруст снега под лопатами — вся эта большая, еще толком не изведенная, но манящая хлопотами жизнь колхоза, которая, гляди, не смолкает и к ночи.

— Свалишься, старый хрен, — сказала Анна Михайловна Никодиму, здороваясь. — Смотри, на вторую захрамешь.

— И любота! Надоело одной хромать... на обе ловчее, — пошутил Никодим, играя топором. — Такое наше отчаянное ремесло. Не знаешь, часом, где и помрешь.

— А ты не больно лазай по крышам.

— Да ведь посмотреть охота. Отсюда жизнь-матушка виднее... Посмотреть, да и умереть...

Анна Михайловна посмеялась и пошла дальше по сырому, промятому бабами снегу. От соседнего амбара, в котором хранилось общественное сено, глубоко и

лилово проступал по снегу двойной след полозьев. След вел к конюшне, и по обеим сторонам его, словно нарочно, была осыпана гороховина. Анна Михайловна собрала охапку и занесла по пути в конюшню.

— Ты что же, анафема, раскидываешь добро по снегу? Ошалел?—сердито закричала она конюху Ване Яблокову, мирно покуривавшему, сидя на печи, в водогрейке..—Чужое не жалко? Свое-то, чай, по травинке бы собрал и снег языком вылизал... Полвоза обронил, шатун!

— Ну, уж и полвоза, — невозмутимо протянул Яблоков, сплевывая на горячие кирпичи.—Труха, поди.

— За такую труху—в правление сведу. Там тебе, чорту ленивому, натрухают!

— Но, но, потише... Я сам трухать мастер, — вяло огрызнулся Яблоков, медленно слезая с печи.

Он взял корзину и, переваливаясь, загребая утиными ногами солому на дворе, побрел нехотя в ворота.

— Тьфу!.. — плюнула ему вслед Анна Михайловна.— Как только земля держит такого человека...

## VI

Полюбила Анна Михайловна ходить в избу-читальню на огонек. Каждый вечер, после работы, собирались в дом Савелия Федоровича мужики с туго набитыми табаком кисетами, захаживали и бабы с прялками и вязаньем. Точно на посиделках, рассаживались все чинно по скамьям, за столы, а кому нехватало места, устраивались прямо на полу. Костя Шаров, добровольно вызвавшийся заведывать читальней, зажигал лампу-„молнию“ под жестяным, широким, словно зонт, абажуром и, если света было маловато, подавал на столы еще парочку семилинеек, приносил из правления свежие газеты, ребята тащили самодельные шашки, а любители резаться в „козла“, „подкидного“ и „свои козыри“ обзаводились колодой пухлых, растрепанных карт.

Пристроившись поближе к лампе, возле которой Андрей Блинов всегда читал вслух газету, Анна Михайловна вынимала из-за пазухи спицы, клубок толстых льняных ниток, чуть ссученных с дорогой, выменянной на яйца, овечьей шерстью, и вязала сыновьям варежки или теплые носки. Часто приходилось греть руки, в

читальне было холодно, печь топили здесь редко, да и ребята, балуясь, то и дело хлопали дверью, выбегая на улицу. От едучей махорки очень скоро начинало щипать глаза. Но хорошо было слушать внятный громкий голос Блинова, тихую возню и смех молодежи в дальнем, темном углу, шушуканье баб, мягкие грустные переборы гитары, шлепанье карт по столу; приятно было посмеяться над Ваней Яблоковым и кривым Антоном, постоянно оказывающимися на пару „козлами“, перекинуться словом с Ольгой Елисейевой, поглядеть, отвернувшись на минутку от света, как, примостившись на подоконнике, обыгрывает Мишка деда Панкрата в шашки, и посердиться на баб, которым неймется — опять ругмяругают колхозы, благо Семенова нет, в город уехал, и ответить им как следует некому, и про коров такое неладное твердят: отберут, отберут, — а кто отберет, зачем отберет — неизвестно, только понапрасну людей тревожат.

Она старалась не слушать баб, отогревала руки, живе́й перебирала спицами, подвигалась вплотную к Блинову и, хотя многого не понимала из того, что он вычитывал, все же кивала ему, охотно поддакивала, словно он для нее одной читал газету. И шутки мужиков, споры их промеж себя, и яркий, праздничный свет ви́сячей лампы „молнии“, и хрустящая белая газета, придавленная тяжелым локтем Андрея, и приглушенный визг девушек, даже ругань баб — вся эта жизнь на людях была по душе Анне Михайловне.

А тут еще выходит со своей половины Савелий Федорович, в пиджаке внакидку, зябко ежится и кричит:

— Эй, хозяйева... тараканов, что ли, морозите?

— Дров нет, — отвечает Костя Шаров, появляясь из темного угла с гитарой.

— А мои?

— Неловко... без спросу.

— Какой тебе спрос? Теперича нет чужого. Знай бери, все ловко... У меня дров на два года запасено. Да постой, я сам...

Он принесил добрую охалку сухих, мелко наколотых березовых поленьев, с грохотом кидал на пол, возле печки, потом брал веник.

— Грязно, грязно... — говорил Савелий Федорович, с неудовольствием замечая сор на крашеном полу. — Кол-



хоз, други, любит во всем ~~порядочек~~, чистоту... Девки, что же вы смотрите?

Жарко разгорались дрова. Весело плясали рыжие блики огня по отпотелым стеклам окон. В читальне становилось тепло, как дома. Мужики перебирались от стола к печке и, сидя на корточках, раскуривали горячими угольками дыгарки, слушая Андрея Блинова. Тот вычитывал, как растут по деревням колхозы, сплошная коллективизация идет на Украине, на Кубани, машино-тракторные станции создаются, по решениям сходов выселяет народ кулаков, а в хоромах их детские ясли да столовые открывает.

— Ну, бабы, кидай мужей... вона какая вашей сестре свобода объявлена, — зубоскалили мужики.

— Кинешь вас, окаянных... чисто цепями к горшкам припаяли.

— А вот мы столовую откроем.

— Чего там, ресторан: на первое — лапша со свиной, на второе — жареный баран.

— Ха! Али щи пустые с кукишом в прикуску.

Никодим, зарядив нос очередной понюшкой, чихал, точно из ружья стрелял.

— Любота! Коли не врет газетка, родятся колхозы ровно грибы опосля дождя.

— Во! Мухоморы... видимо-невидимо.

— Поганый язык у тебя, Яблоков.

— Гриб, он хорош белый, — вмешивался в разговор Савелий Федорович, посмеиваясь. — В дождливый год нет его лучше, белого-то гриба. Ядреный. Крупный. Запашистый... А чуть солнышко — гниль, одни черви.

— Это ты к чему? — Блинов поднимал голову от газеты.

— К слову. Про белый гриб.

— А мы думали — про колхозы, — сипло хохотал Ваня Яблоков, мусоля карты. — Гляди, к весне и в колхозах черви заведутся.

Анну Михайловну так и подмывало встать и при всем народе плюнуть Яблокову в заспанное, опухшее лицо.

— Эй, будет вам щупаться, — кричала которая-нибудь из баб парням и девушкам. — Хоть бы песню спели.

Молодежь выбиралась из угла на свет. Немножко, по обычаю, спорили — что петь, кому начинать. Костя Шаров осторожно трогал плачущие струны гитары, и Ка-

терина, кинув в его сторону быстрый вопросительный взгляд, заводила густым, сильным голосом:

Ах, да вы уж ночи мои, ночи темные,  
Ночи темные, долги осенние...

Ломко подхватывал Костя:

Ах, да надоели вы, ночи, наскучили.  
Со милым-то дружкой поразлучили.

И бабы, отодвигая прялки, бросая на колени вязанье, медленно выпрямляли спины. Вздыхая, бабы печально и так знакомо Анне Михайловне закрывали глаза и вдруг легко и дружно, совсем по-молодому, несли, точно на руках, широкую песню:

Всю-то я ноченьку, млада, просидела,  
Всю я темную, млада, проплакала.  
Все я думушки, млада, продумала,  
Одна думушка да мне с ума нейдет.

Мужики затихали-у печки, бросали курить и вторили, кто как умел, бабам. Примолкшие ребята, распахнув дверь, толпились в сенях. Слабо качалась под потолком лампа. И от песни, от грустных правильных слов ее у Анны Михайловны больно и сладко ныло сердце. Она прятала нитки и спицы за пазуху, опускала глаза и плотней сжимала губы. А песня все ширилась, росла, подхватывая с собой Анну Михайловну.

Проторич то ли милый путь-дороженьку,  
Пропустил то ли милый худу славушку,  
Ах, да я сама то ли, девка, глупо сделала,  
Дружка милого да распрогневала...

Савелий Федорович, протирая тряпкой окна, укоризненно качал белобрисой стриженной головой.

— Завыли... ровно по покойнику. Кого хоронить собрались?

— Тебя.

— Да я еще пожить хочу... в колхозном царстве.

— Смотри, в этом царстве как раз ноги и протянешь.

— Ну что ж! — Гушин весело косил глазами, размазывая мокрой тряпкой. — На миру, сказывают, и смерть красна.

— Страшна... вернее, брат.

— Полно, десяти не бывает, одной не миновать... Вот я сейчас сам себе похоронную отпою!

— Ну-ка... отпой... — говорили с усмешкой мужики. — Тебе, Савелий Федорыч, только это и остается.

Гущин бежал в свою половину и возвращался со старинной, выложенной перламутром, балалайкой. Он настраивал ее, опершись ногой на табуретку и высоко задрав колено в заплатанной штанине. Потом, дурачась, выходил на середину избы, кланялся на все четыре стороны.

— Выручайте, ненаглядные! — подмигивая, обращался он к бабам, и те, понимая Гущина, смеясь, откашливались.

Не трогая балалайки, Савелий Федорович начинал негромким приятным тенорком:

— Баба, баба, куда ты в лаптях ту ходила?

— На похороны, мой батюшка, на похороны,—

вразнобой, не спевшись, отвечали бабы.

— На чьи ты похороны-то ходила?—

с участием спрашивал Гущин.

— На мужины, мой батюшка, на мужины,

хором, грустно и ладно, пели бабы.

— Как у тебя мужь-то звали?

— Васильюшком, мой батюшка, Васильюшком.

— Чем он у тебя занимался?

— Балалаешник, мой батюшка, балалаешник.

— Что он у тебя играл ту?

На мгновенье в читальне становилось тихо. Савелий Федорович неслышно прижимал к груди балалайку, заносил руку, и в ту самую секунду, не раньше и не позже, как короткие пальцы Гущина ударяли по всем шести звонким струнам, бабы рвали напропалую:

По улице мостовой  
Шла девица за водой,  
За холодной, ключевой,  
За ней парень молодой...

В плясовую вступали девичьи игривые голоса, свист парней, притопывывае мужичьих валенок.

— Ах, чтоб вас! — кричала Строчи́ха и, оттокнув прялку, сорвав с голозы платок, пускалась навстречу Гушину, виляя хвостом длинной полосатой юбки.

И долго сотрясала избу плясовая, гудели половицы, и мигали лампы на столах, если в читальню случаем не заглядывал Петр Елисе́ев. При бригадире все стихало. Елисе́ев не любил ни песен, ни плясок и всегда находил повод с кем-нибудь поругаться.

— Что ж ты, шорник, — сердито говорил он еще с порога Гушину, — в балалайку тренькаешь, а на хому́тах справного гу́жа днем с огнем найщешься.

— На все свое время, Петр Васильевич.

— Пра то и речь. Взялся, так не тяни, делай по-военному... Кто в амбар за клевером вечером ходил, Яблоков?

— Почему я знаю.

— Как так не знаешь?! — вспыхивал бригадир.

— Ну я... Да ты не ори, не с женой лаешься.

— С тобой, чортов конюх, мирно-то во сне не потолкуешь. Почему амбар не заперт?

— Воровать некому.

— И так растащат... кому не лень, — хихикала Куприя́ниха. — Ко-олхоз — бочки слез!

А Строчи́ха уж тут как тут:

— Обожди, Авдстю́шка, так ли еще наплачемся.. в три ручья.

Колхозное дело двигалось вперед со скру́пом, как новая необъезженная телега. Но Анну Михайловну теперь это не очень пугало, забота была общая, государство помогало колхозам деньгами, машинами, зерном, и страшного ничего не было.

Но однажды пришла из района бумага. Требовали обобществить всех коров. Исполнялось бабье пророчество. Накаракали они беду, как воронье.

Прямо с собрания Анна Михайловна прибежала во двор, окоченелыми руками отворила калитку и, спотыкаясь в темноте о мерзлые комья навоза, пошла к корове.

— Красотка, где ты тут?.. Красотка? — шопотом повзвала она, торопливо шаря по соломе возле яслей.

Мрак, холод и тишина окружали ее. Слышно было, как на нашесте тревожно завозились куры.

— Батюшки, да где же корова-то? Нету коровы, нету... — испуганно бормотала Анна Михайловна, ползая на коленях.

Ей вдруг показалось, что, пока она ходила на собрание, корову увели. У нее замерло сердце.

— Красотка?.. Матушка моя, радость единственная! — запричитала она.

И тут услышала, где-то позади себя, знакомый протяжный вздох и вслед за ним ровную, спокойную жвачку. Корова лежала в дальнем углу за навозным скотом, на голой земле.

— Ну, ты... разлеглась, барыня! Нашла место,— набросилась Анна Михайловна, утирая потный лоб рукавом шубы. — Завалишься, дура, поднимай тебя на веревках... Ну? — Она толкнула Красотку ладонью в шершавый, покрытый мерзлым навозом бок.

Обдавая теплым дыханием, корова медленно встала и пошла к яслям.

Продолжая ворчать, Анна Михайловна отыскала плетуху с сеном, приволокла ее к яслям. Накладывая щедрыми охапками гороховину, она нечаянно коснулась теплой и влажной коровьей морды. В лицо ей пахнуло дыханием, сладковатым и нежным, как парное молоко.

— Не отдам! — прошептала она, обнимая курчавую заиндевелую шею корову. — Чем я рсбляг кормить буду?.. Не отдам.

Когда на следующий день за коровой пришел Савелий Федорович с мужиками, Анна Михайловна не пустила их во двор и пригрозила вилами. А потом прибежали сыновья из школы и расходились, разругались, как взрослые.

— На всю школу нас опозорила! — кричал Мишка, швыряя книги на лавку. — Хоть глаз не показывай.

— Как так? — растерялась мать.

— Ка-ак та-ак... — передразнил Мишка. — Соображать надо. Ты думаешь, мы маленькие, ничего не понимаем? Да мы больше твоего понимаем, вот... Мы — пионеры и должны пример показывать, сознательность.

— Плевала я на вашу сознательность. На нее коровы не купишь.

— Коровы тебе жалко, а нас не жалко? — спросил Ленька, строго, исподлобья, глядя на мать.

— Да вы что на мать кричите, а?

Анна Михайловна побежала на кухню искать веревку.

— Мать учить? Ах, вы... сопляки! Видать, я вам деры давно не прописывала.

— Мы не кричим, — покорно, в один голос, сказали сыновья.

— Только драться и умеешь, — прибавил Мишка. — Нет чтобы посоветоваться.

— С вами?.. Господи!

Веревка выпала из обмякших рук Анны Михайловны. Ей и в голову не приходила такая мысль.

Ребята стояли перед ней, вихрастые, колючие, как ежи. Худой высокий Ленька, насупившись, грыз ногти. Курносый Мишка, выдвинувшись вперед, задорно поднял голову, словно собираясь запеть или засвистеть, и оглядывался на брата, как бы спрашивая — пора начинать или еще рано.

Анне Михайловне было смешно и досадно, и что-то приятное было во всей этой необычной ссоре. Ей вспомнился почему-то теленок, как он, вылизанный коровой, отогретый под голбцем, пробовал встать на ноги, падал, скользя копытцами, и снова вскидывал зад, пока не встал, качаясь, широко и косо раздвинул тонкие непослушные ноги.

— Садись-ка за стол... советчики, — усмехаясь, сказала мать и отнесла веревку обратно на кухню.

За обедом Мишка отказался хлебать молоко и расплакался.

— Ну и дурак, — сказал Ленька, придвигая к себе блюдо. — Губа толще — брюхо тоньше. Молоко-то чем виновато?.. И слезами стену не прошибешь.

Мать ударила Леньку ложкой по лбу.

— Паршивец, да о ком я хлопочу? Разве мне корова нужна?.. Что жрать будете?

И ушла на печь.

Мишка не унимался, сквозь слезы он приговаривал из спальни:

— Был бы жив... па-пка... по-оказал он тебе... как корову в колхоз... не от-давать.

Упоминание о муже вконец расстроило Анну Михайловну.

— А пес вас задери! Ведите! — закричала она с печи. У нее вырвалось это вгорячах, а сынозья уже одевались, поспешно и весело переговариваясь.

— Говорил я тебе, реветь надо, — шептал Мишка, насвистывая. — Ревом все возьмешь.

— Да нет же... Она сознательная, только с виду перечит. Старая, чего уж тут, — отвечал Ленька.

— Как бы нас Красотка не боднула. Рожищи-то у ней здоровенные. Разве взять веревку?.. — соображал Мишка, нахлобучивая по глаза шапку. — Слушай, отведем корову и пойдем шары гонять. Эге?

— Эге. А уроки — как стемнеет.

Ребята заюпали по кухне.

— Куда? Не сметь! — Анна Михайловна слетела с печи и жестоко выпорола сыновей.

## VII

Все-таки Анна Михайловна свела корову и потом каждое утро бегала на скотный двор посмотреть на нее и, как и все бабы, ругалась с доярками, что они своих коров кормят клевером, а чужим одну яровицу валят и навоз не сгребают — удивительно, за что только им, вертушкам, будет колхоз добро платить.

Двор Савелия Федоровича, где стояли коровы, считался когда-то на селе самым большим. В навозницу распахивались со скрипом его широкие ворота с двух сторон. Здесь было так просторно, что — Анна Михайловна помнила — „на помочи“ клали у Гущина навоз сразу на три телеги и возчики заворачивали и разъезжались на дворе, как на большой дороге. И свету было столько, что, кажется, урони иголку в солому — не затеряется, найдешь.

Теперь двор перегородили жердями вдоль и поперек, в узких закутках было набито по пять и по шесть коров. Теснясь к яслям, они до крови обдирали бока о сучки жердей, бодались и беспокойно мычали. Горы навоза намерзли у стен, и негде было как следует полежать коровам. Петр Елисеев приказал заткнуть оконца и подворотни омельем для тепла. На дворе стало темно и вроде еще теснее.

Сердце разрывалось у Анны Михайловны, когда она глядела на все это.

— Ровно на бойню согнали.. Да разве можно в такой тесноте скотину держать? Которая корова отелится бычком али телушкой — затопчут, не дай бог, — сердито и жалобно сказала она Семенову.

— Стельных мы на исаев двор перевели.

— И там не слаще. Не поеные, не кормленные стоят, как поглядишь... вымя — в навозе... Хоть бы ты, Коля, дозволил мне самой за Красоткой ухаживать.. Никакой платы не надо!

Семенов неуступчиво покачал головой.

— Пойми, Михайловна, нельзя... не по-колхозному это.. До выгона как-нибудь пробьемся, а к осени настоящий скотный двор сгромаем, любо-дорого посмотреть. И не жалея ты своей коровы, — уговаривал он, наклонясь и тихонько, ласково глядя ее по плечу. — Разбогатеем — тыщу коров заведем... ярославок. Утопим вас, баб, в молоке.

Анна Михайловна с обидой отвела плечо.

— Ты меня соской не утешай, я не маленькая. Лучше скажи, что это за колхоз... за жизнь такая, коли последнюю корову отбирают? Чем я ребят кормить буду?

— Всем не легко. Вон Елисеев Петя двух свел и Буяна... Усы-то свои начисто обкусал, а молчит, понимает, — ответил Семенов, хмурясь. Лицо его было задумчиво, он часто потирал лоб, морщился, словно решал что-то в уме и никак не мог решить. — У тебя хоть подросли сынишки на сегодняшний день, — сказал он тихо, — а у меня... Как за стол сядем, такой рев поднимут, хоть на улицу беги... Дарья-то меня совсем заела, — застенчиво признался он, усмехаясь. — Сам знаю — пустой похлебкой ребятшек не накормишь. Да в ней ли главное? Вперед надо смотреть... Большое дело ладим, Михайловна, не грех и потерпеть немножко.

— Было бы за что терпеть... Да ведь, леший ты эдакий, не мешает мне корова в колхозе работать! — со слезами воскликнула Анна Михайловна и увидела, как вдруг прояснилось лицо Николая, пропали морщины на лбу; он вскинул из-под рыжих насупленных бровей прямые добрые глаза, пристально посмотрел на Анну Михайловну и, помолчав, признался:

— Я сам так думаю. В район ездил... Поругался я там... Чую — нескладно у нас на сегодняшний день вы-



ходит, а доказать не могу... В область решил махнуть. Не добьюсь толку — и в Москву дорога не заказана.

„Успокаивает... отболит, дескать, и оторвется“, — горько подумала Анна Михайловна.

И верно, Семенов сказал ей, опять темнея лицом и морщась:

— Ты, Михайловна, прежде времени не тревожь народ. И так вчера бабы чуть стекла в правлении не вышибли. Может, не понимаю я чего... Может, правильно это самое... что коров обобществили.

Ничего не добившись и только растравив себя, возвращалась Анна Михайловна домой, по привычке ставила в печку чугунок с пойлом для коровы, а потом выливали нагретую воду в помойное ведро. Для ребят она пекла ржаные пироги с картошкой, варила щи и суп с грибами, жарила картофель на остатках коровьего масла. Сыновья ели и помалкивали. Только однажды, когда грибы и скоромное масло вышло и она подала сыновьям на обед пустой суп — болтушку, заправленную мукой, и сковородку засохшего, с крупинками соли, немасленного картофеля, Мишка, поев и не глядя на мать, сказал:

— Хоть бы ты, мамка, нам когда по яичку сварила!

— Может, вам яичницу сделать... на молочке? — с усмешкой спросила мать.

— Молоко я не люблю, — Мишка шмыгнул носом, раздувая ноздри. — От него живот пучит.

— В молоке бактерий много... оно вредное, — подтвердил Ленька, налегая на картошку так, что она скрипела у него на зубах.

— Что-то не примечала я в кринках ничего, кроме молока да сметаны, — ответила мать, поджимая губы. — Это уж не пионеры ли говорят... которые у матерей коров отбирают?

— В книгах пишут, — пробормотал Ленька, не поднимая лохматой головы от сковородки и посалывая. — И никто у тебя коровы не отбирал... сама свела. Мы на санках тогда катались. Мишка, помнишь?

— Ясное дело, помню.

— Уж лучше помолчите, умники, — мать погрозила им вилкой, — не бередите мое сердце... А яиц вам до пасхи не видать, — добавила она сердито.

Однако в тот же день слазила в подполье и принесла в избу знакомую ребятам лубяную, без дужки, корзинку,

в которой хранились завернутые в отрепье яйца, припасенные на разговенье. Утром, собираясь в школу, сыновья нашли в сумках по вареному яйцу.

— Вот уважила, мамка, спасибо! — обрадовался Мишка и пустился в пляс. — Полфунта мяса на брата отвалила... Ты знаешь, мам, яйцо махонькое, а жратвы в нем — ого-го!.. А завтра не вари, — сказал он деловито. — Ты нам раз в неделю давай... чтоб на дольше хватило.

— Недель-то в году больше, чем у меня запасено яиц.

— Ничего, — успокоил Ленка, — скоро весна. Мы щавель будем есть... грибы... рыбы наудим... Весной ты нам и обед не вари. Сами прокормимся и тебя прокормим.

— Идите-ка в школу... кормильцы, — проворчала, усмехаясь, мать.

Она не могла привыкнуть к порожним кринкам в суднавке, к жестяному помятому подойнику, опрокинутому вверх дном и валявшемуся без толку под лавкой. Она обтирала с кринок пыль и тенета мокрой тряпкой, вешала подойник на гвоздь и, сама того не желая, снова шла на скотный двор.

— Ты у меня на Красотку не ори, когда доишь, — выговаривала она доярке Катерине, приметив раз, что та неласково обходится с Красоткой. — Испортишь мне корову.

— Да она лягается!

— Чужие руки доят, понимает.

— Так что же мне, у тебя руки занимать?.. Проваливай-ка со двора... мешаешь, — обиделась, проходя мимо, Катерина, задевая ведром и расплескивая по навозу парное молоко. — Чай, корова теперь колхозная, не твоя.

— Как не моя? — вспыхнула Анна Михайловна. — Да я ее телушкой выпоила, восемь лет ходила... ровно за дочкой... Ты ей крапиву жала? — разгорелась она, не понимая, что говорит. — Листья из капустника ты таскала, брюхо надрывала?.. Кажинная шерстиночка моя, кажинный волосок мною выро...

И, опомнившись, замолчала, махнула рукой и убежала со двора.

После ей было совестно встречаться с Катериной.

Эту глазастую молчаливую и неловкую девку нельзя было теперь узнать, до того она переменялась. С тех

пор, как ушла Катерина от Гущина жить к бабке Фекле, она расцвела и точно руки себе развязала: и поворотливая стала и разговорчивая, хотя на слово и не больно ласковая. Смуглая, высокая да такая ладная, она осень и зиму работала на лесозаготовках и не уступала мужикам что на пилке, что на колке дров. А как приставили ее в колхозе к коровам, Катерина прямо залетала, закружилась по знакомому гущинскому двору. И главное, как заметила Анна Михайловна, она, по молодости, что ли, своей, ни капельки не жалела дареной гущинской телки. Отвела — и глазом не моргнула.

„Даром досталась телка, чего ей жалеть, — думала Анна Михайловна, оправдывая себя. — Походила бы с мое за коровой, небось, запела бы... почище меня заругалась“. Нет, не одному Петру Елисееву трудно расставаться с Буяном. А надо, зажав сердце в кулак, надо расставаться.

— И до чего некоторые женщины за коровий хвост держатся, прямо смех, — зубоскалил на скотном дворе Костя Шаров, сидя на опрокинутой корзине и покуривая. — Дальше коровьего хвоста они ничего не видят.

— Ты больно много видишь, глазастый, — обиделась Анна Михайловна.

— Да вот вижу — отец мой не за-зря погиб. Он и повешенный свое дело сделал... Про гранату-то слыхала? Молодую жизнь мне в наследство батька оставил.

— Хороша жизнь — жрать нечего.

— Ага! — белозубо и весело хохотал Костя, притопывая валенками. — Определенно, мамаша, на коровьем хвосте сидишь.

— А ты — на плетюхе. Помолчи уж, коли ничего не понимаешь в женском деле, — сердито вмешалась Катерина, неожиданно вставая на сторону Анны Михайловны. — Ну-ка, расселся... продавишь мне плетюху, не в чем сено будет носить.

Костя уселся плотнее, так что затрещали прутья.

— Велика беда. Новую сплету.

— Языком.

Катерина вырвала из-под него корзину, Костя съехал на солому и, поднимаясь, отряхивая серый, перешитый из шинели, ватный пиджак, сконфуженно проворчал:

— Повадочки у вас... коровьи.

— Что поделаешь, с кем поведешься, у того и набе-

решься, — отрезала безулыбчиво Катерина, быстро и ловко прибираясь на дворе.

Она пошла в водогрейку, и Костя, насупившись, проводил ее долгим взглядом, потом заломил набекрень свою красноармейскую, с зеленым верхом, фуражку, убежал со двора, но скоро опять вернулся.

Анне Михайловне приметилось — Костя отрастил себе чуб, купил гармонь, старался на колхозной работе и, по всему виду, думал обзаводиться семьей.

И, глядя на него, широкоплечего, веселого, Анна Михайловна невольно обращалась мыслями к своим ребятам. Поднимет ли она сыновей? Будут ли они вот такими парнями, здоровыми да веселыми, на утеху матери, выпоят ли, выкормит ли она ребят?.. И корова опять не выходила у нее из головы.

Однажды, управляясь по дому, Анна Михайловна, забывшись, пошла в сарай за сеном, туго, с верхом набила клевером плетюху, принесла ее. И только когда толкнула привычно ногой калитку во двор, вспомнила, что коровы нет.

На дворе было пусто и холодно. С повети свисал растрепанный, весь в инее, сноп соломы. В загородке, в углу, на каменно-замороженной навозной куче сидел, нахохлясь, петух. В ясли надуло снегом, он белел, как протитое молоко.

Плетюха вывалилась из рук. Впервые поняла Анна Михайловна не сердцем, а разумом, просто и больно, что Красотки нет и не будет. Стоять двору пустым, пока не развалится. Плачь не плачь, а так надо. Кому надо? Зачем надо? — она не могла сказать и боялась об этом думать, потому что тогда в голову лезло нехорошее о колхозе, страшное и обидное, а колхоз ей все-таки был по душе.

„Что же делать, господи?..“

Она опустила на порожек, зажала лицо трясущимися ладонями.

Так просидела она долго, покачиваясь в молчании, потом, вздохнув и посуровев лицом, поднялась, наметала в корыте курам мякины и отнесла сено обратно в сарай. Порожнюю плетюху оставила там же.

Возвращаясь с гумна, Анна Михайловна почувствовала, что продрогла, и зашла на минутку погреться на колхозный скотный двор.

Здесь крепко пахло теплым навозом, свежей соломой и неуловимым медовым настоем высушенных трав. Коровы домовито лежали на чистой подстилке, рядком в каждом стойле, и, отдуваясь, жевали жвачку.

Анна Михайловна разыскала Красотку и поманила ее. Корова долго не вставала, и Анна Михайловна, приклонясь к загородке, шопотом позвала:

— Красотка!.. Красотка!

Корова нехотя поднялась и, мерцая в полутьме блестящими понятливыми глазами, знакомо кивая круто загнутыми, как ухват, рогами, точно здороваясь, подошла и, как всегда, ткнула курчавую влажную морду в протянутые ладони и принялась лизать их. Анна Михайловна отняла одну руку, погладила холодные жесткие курчавинки меж рогов. Подошла авдотьиная корова и тоже потянулась через жерди. Анна Михайловна погладила и ее.

Потом заглянула в ясли, горстями выгребла из них труху. Отыскала запасенную доярками на ночь гороховину, перемешанную с яровицей, наложила стогом в ясли. Коровы сыто порылись, но есть не стали, опять легли, и Анна Михайловна пошла домой.

### VIII

В среду, пятого марта, вечером прибежала к Анне Михайловне в избу запыхавшаяся Ольга Елисеева и с порога, не здороваясь, выпалила:

— Коров отдают... обратно. Ай не знаешь, сидишь?

Анна Михайловна чистила вареную картошку на ужин. Решето свалилось у нее с колен, и картофель рассыпался по полу.

— Полно молоть не дело, — сказала она жалобно и строго. — Опять бабы скандал заводят?

— Какой там скандал! Сам Сталин в газетке написал и приказ районный отменил.

— Ой, врешь, Ольга? По глазам вижу — врешь!..

— Вот те крест, правда! — Ольга радостно перекрестилась, торопливо перевязывая платок. — Слава богу, дожили до праздничка, светлого христово воскресенья... Мой-то, молчун, вчера знал, а не сказал, припрятал газетку... А Семенов возьми да и прочитай всем на улице. Что было!..

— Опять врешь. Семенов третьеводни в область уехал.  
— Да вернулся он, безверная! Пойдем скорее, все бабы в правление побежали.

Нагнулась Анна Михайловна, стала подбирать картофель в решето. Картошины были мокрые, скользкие и не давались в руки. Терпеливо лоя их и чувствуя, как кровь приливает и стучит в висках, она сказала:

— Не пойду...

Ольга выскочила из избы. Слышно было, как в сенях она запнулась впопыхах за ларь, хлопнула в крыльце дверью.

Присев к столу, Анна Михайловна очистила две картошки, а третью — не могла. Вскочила, сдернула шубу с гвоздя, задула лампу. Кинула шубу на плечи и выбежала на улицу.

Тяжко колотилось сердце, подкашивались ноги. „Свыклась... отболело... а тут сызнава муки... ежели обманывает Ольга, — тоскливо подумалось ей. — И как мог узнать этот... Сталин про наш колхоз?.. Ведь он в Москве живет. Разве Коля туда ездил...“

Она провалилась в сугроб, упала. Шуба соскользнула, снег ожег руки, лицо, голую шею. „И куда я бегу, ровно на пожар? — подосадовала Анна Михайловна, отыскивая у шубы рукава. — Вот и платка не взяла... простыну... хоть бы отыскать ребят и послать за платком“. Но было темно, сыновей не видно, и так мучительно хотелось знать правду, так нарастали впереди крики, смех и плач, и вот замельтешили у крыльца правления желтые бродячие огни, вот уже виден Семенов с газетой в руках и сгрудившиеся около него бабы с фонарями — и для Анны Михайловны стало совсем не важно: простынет она или не простынет.

Добежав, она долго не могла отдышаться, прислонилась к крыльцу.

— Спаситель ты наш... батюшка... родимый товарищ Сталин... — голосила, сморкаясь, Дарья Семенова. — Услышал бабы слезы... прищемил нашим чортовым правлением хвост. Дай тебе бог здоровья!

— Читай... еще читай! — требовала, смеясь, Авдотья Куприяниха. — Про коров читай... про колхозы.

— Да ведь читано... который раз, — сипло отвечал Николай, откладывая газету. — Помитинговали, на сегодняшний день и хватит. Завтра на собрание приходите.

Расталкивая баб, ошалело выскочила наперед Строчиха. Фонарь багряно плясал и бился у нее о полы шубы.

— Сию минуточку подавай мне корову! — завизжала она, размахивая фонарем. — И из колхоза выписывай... Часу в нем, окаянном, быть не желаю!

Бабы подхватили ее визг.

— Пра-а... коров давай... выписывай. Распускают колхозы!

— Как так распускают? — вырвалось у Анны Михайловны.

— А очень просто — приказ самого товарища Сталина, — весело откликнулся, поязляясь у крыльца, Савелий Федорович. Он поднял над головой „летучую мышь“, и снежинки закружились в полосе света, как белые ночные бабочки. Гушин вытащил из кармана лист бумаги и потряс им. — Эй, вострохвостки, сейчас чиркать зачну! Выписывайтесь... кто желающие?

— Все желающие!

Бабы, толкаясь, хлынули к Гушину. Но Семенов ударил Гушина по руке, фонарь упал в снег и погас, и тотчас пропали снежинки-бабочки.

— Кто тебе дозволил?

— А чего держать? Дерьмо уплывет — золото останется.

— Уплывешь ты у меня... куда Макар телят не гонял, — погрозил Семенов.

— Так что же, Коля, — сказала Анна Михайловна, зябко ежась, — стало быть, нет теперь у нас... колхоза?

— Есть, Михайловна. И будет еще крепче!

— Коров, коров давай! — подступили к Семенову бабы.

— Успеете и утром взять. Не пропадут за ночь ваши коровы.

— Нет уж, Николай Иванович, успокой сердце, — попросила Ольга, хватая Семенова за рукав и не отпуская. — Стосковались по коровам.

А Строчиха пригрозила:

— Дсбром не отдашь — сами возьмем.

— Не терпится? — рассмеялся Семенов. — Ну, что с вами поделаешь, — он пожал плечами. — Берите своих коров.

Фонари светляками рассыпались по улице, освещая заснеженную, в ухабах, дорогу. Обгоняя друг дружку, переключаясь, бабы побежали на скотный двор. Пошла и

Анна Михайловна и только тут заметила, что около нее молча и, видать, давно трутся сыновья.

— Вам чего надо? — сурово спросила она, останавливаясь.

— Ничего... — пробормотал Мишка, пятясь и натываясь на брата. — Мы так... гуляем.

Ленька толкнул его кулаком в спину, и он, оглядываясь, зашипел:

— Не меш-шай!

Повертел по сторонам головой, тихонько посвистел. Потом нерешительно, боком подбираясь к матери, заметил:

— А ты, мам, платок обронила. Поискать?

— Дома оставила. Не догадались, дурьи башки? Чем шляться, взяли бы и принесли. Не видите, мать издрогла вся?

Подошел Ленька, молча снял шапку и подал.

— А сам?.. Озябнешь, — проворчала мать, не зная, что ей делать с шапкой.

— У меня волосьев много..! Я воротник подниму... тепло.

Помогая матери заправлять косу под шапку, Мишка вкрадчиво, шопотом спросил:

— За Красоткой, мама, да?.. — И громко, радостно: — Мы подсобим. Во, я ремень приготовил. Захлестнем рога, как собачка смирененькая пойдет.. А подоишь Красотку, — будем молоко хлебать. Эге?

— Да ведь оно вредное, — напомнила мать.

Сыновья промолчали.

— Эх вы... пионеры, — сказала она, усмехаясь. — Красные носите галстуки, в барабаны стучите, а правды не знаете. Вам только на мать кричать... А она, гляди, больше вас понимает, даром что не ученая... Ну, что языки прикусили? Ваш-то Сталин вон как рассудил, правильный человек.

— Вырастем... и мы будем... правильные, — угрюмо сказал, посапывая, Ленька.

— Дождись. Матери надо слушаться, вот что. Отправляйся-ка домой, пока уши не отморозил. Мы тут с Минькой управимся.

В этот вечер и на другой день не было других разговоров на селе, кроме как о колхозе. Написал това-



рниц Сталин — колхоз дело добровольное, хочешь — вступай и работай в нем, не желаешь — выписывайся, жизи по-старому, как тебе нравится.

Половина села ушла из колхоза. Выписались Строчица и Куприяниха с мужьями, Ваня Яблоков, кривой Антон Кузнец, выписались зять плотника Никодима, Марья Лебедева и многие другие. Андрей Блинов пожелал остаться, и жена выгнала его из дому, он ходил ночевать по очереди, то к Семенову, то к Петру Елисееву.

Произошло разделение села на согласных и не согласных с колхозом. И дела пошли на поправку и так быстро, что Анна Михайловна удивилась: как это никто не мог додуматься про то раньше Сталина. И ей захотелось знать, каков он с виду, этот догадливый, правильный человек, о котором мужики и бабы говорили с уважением.

Она слышала, что после смерти Ленина это самый наибольший человек у коммунистов, вроде старшого. А старшие ей всегда представлялись важными, пожилыми, как и полагалось им быть, большебородыми людьми.

Сыновья принесли из кооперации портрет Сталина и, прилаживая его в красном углу избы, заодно хотели снять иконы. Анна Михайловна раскричалась, по привычке обратилась за помощью на кухню, к спасительнице веревке, и прогнала ребят.

Потом она долго и молча стояла у портрета, сумрачная, строго поджав губы.

Ей показалось, портрет висит косо, — поправляя, она сняла его со стены и подошла к окну. Губы у нее дрогнули.

„Скажи на милость, бритый... как мой Леша“, — невольно подумала она, просветлев лицом.

Сходства, конечно, никакого не было, но то, что Сталин был бритый, Анне Михайловне понравилось.

— Вот только усы черные... У моего Леша посветлей были... Поди, женатый и ребят имеет... А не старый, — сказала она вслух. — И бритый...

## IX

Весной вернулись в колхоз двенадцать хозяйств. Их принимали на общем собрании, затянувшемся за полночь. Много было смеху и шуток, много было сказано

и хороших слов. Анна Михайловна наблюдала за Николаем Семеновым, и по тому, как он, сосредоточенно-оживленный, потряхивая огненной шапкой волос, громко и весело говорил на собрании, как охотно отвечали ему на шутки мужики и бабы, и, главное, по тому, как выходили к столу разопревшие и красные, точно из бани, беглецы и, запинаясь и робея, просили сызнова принять их в колхоз, — она поняла: колхозное дело стало нерушимым. И это согласие, царившее на собрании, это веселье людей были приятны ей.

Анна Михайловна сидела с Дарьей Семеновою и Ольгой Елисейевой на почетной передней скамье, с краю, и, когда надо было голосовать, поднимала вместе с другими руку. Она чувствовала себя равной в этой большой новой семье. В старое время, на сельских сходках, ее голос ничего не значил. Анна Михайловна всегда стояла позади, и на нее никто не обращал внимания. Все дела решали справные, богатые хозяева, не спрашивая, согласна она с ними или не согласна. Теперь Семенов начинал подсчитывать голоса с Анны Михайловны. От нее, равно как и от других членов колхоза, зависело: принять или не принять в колхоз Авдотью Куприяниху, кривого Антона Кузнеця, сеять или не сеять лен, покупать или не покупать племенного быка в колхозное стадо. Она сняла шубу, полушалок и простоволосая, как дома, сидела на собрании, думала, слушала выступавших, сама говорила одно-другое слово и при голосовании поступала так, как считала правильным.

Когда встал вопрос о расширении посева и контрактации льна — брагинского, того самого, что был чуть ли не до пазухи мужикам и серебрист, как седина, — и собрание заспорило, Анна Михайловна первая поддержала правление.

— Да что ж в самом деле, бабы, чего бояться? — сказала она решительно. — Не земля родит, а руки.

— Правильно, — подтвердил Петр, горячо и одобрительно оглядывая свою бригаду. — Контрактация нам — тот же хлеб дает.

Никодим постучал ногтем по берестяной тавлинке и рассмеялся.

— Семенов, пиши Струкову в ударницы. Вишь, напрашивается. Любота!

— А что же? — рассердилась Анна Михайловна, даже

встала со скамьи.— Мужики ударничают, а бабам доли нет?

— Бабу они ни во что не ставят. А без бабы повесма льна не обиходить... Ай, верно! Крой их, Михайловна! — возбужденно поддержали Дарья Семенова и Ольга Елисева.

На душе у Анны Михайловны было легко. Сыновья ее смеялись в кути. Там, примостившись на корточках у печки, дед Панкрат загадывал ребятам загадки.

— Били меня, колотили, во все чины производили, а опосля... на престол с царем посадили. Э?

— Опоздал, дед, царей теперь нет.

— Ну нет, так нет, — миролюбиво согласился старик. — Слушайте, воробышки, другую загадку...

Одно смущало Анну Михайловну — ранние сроки сева, назначенные правлением. В округе ни один колхоз еще не выходил на поле, поджидая тепла. Справедливо толковал народ, что от спешки добра не будет. Беда, как ударят утренники, пропадет подчистую лен. А председателю, знать, и горюшка мало. Известно, ему бы только перед районом выхвалиться, вот, дескать, какие мы, раньше всех отсеялись.

Перед самым собранием разговаривала Анна Михайловна с завхозом, поделилась своими опасениями.

Савелий Федорович развел руками.

— Мое дело маленькое: принять — отпустить... что прикажут. Елисеев нашего председателя подбил. Он ведь любитель известный... на чужом горбу опыты делать... А с Николая Иваныча что спрашивать? Бобыль. Ну и оставит нас всех осенью... бобылями.

В самом деле, что мог знать Семенов, с роду не сеявший льна. Другое дело — Савелий Федорович, у него прежде в хозяйстве всегда был самый лучший лен.

— Так что же молчишь... ты?! — воскликнула, похлодев, Анна Михайловна.

Скосив глаза, Гушин с обидой ответил:

— Рот зажат.

И верно, на собрании он ни слова не сказал против. Бабы и мужики ругались, споря с председателем и бригадиром, а Гушин, пристроившись на краешке стола, знай себе на счетах пощелкивает.

— Мы за себя не боимся, Коля, — сердито сказала Анна Михайловна напоследок. — Мы справимся... Вот

только ра... рановато, кажиесь. Послушайся народа. Всякое семя, как говорится, знает свое время.

— Стара пословица, Михайловна. У меня на сегодняшний день поновей есть: ранний сев к позднему в закрома не ходит, — весело и твердо сказал Семенов.

Наутро, чуть свет, вышли сеять лен.

Поля, овраги и перелески еще дремали в тумане, как под одеялом. За рекой, в синих елках, бормотали и чуждылись тетерева. В зеленоватом высоком небе плыли льдинами белые облака.

Из-под ног Анны Михайловны вырвался жаворонок. Ступенчато, как по невидимой лестнице, поднялся он в вышину и запел. Ей казалось, что жаворонок долетел до льдины-облака и купается в зеленой небесной затопи.

— Хо-ро-шо... — раздельно говорит Анна Михайловна, глубоко, всей грудью вдыхая запах талой земли.

С трепетным и грустным удивлением оглядывается она вокруг и, точно прозрев, видит этот огненный край солнца над лесом, это высокое спокойное утреннее небо, этот туман над беспредельной ширью полей и лесов. Мучительно остро ощущает она молодость природы и свою старость. Когда же она успела прожить жизнь? Почему раньше не замечала вот такого весеннего утра? Ей тревожно и чего-то жалко, вроде как хочется сызнова начать жизнь. Это невозможное, несбыточное желание смешит ее.

„Поди, все старые так думают... — усмехается она. — Да полно, какая еще я старуха. Старух не посылают лен сеять... А если и так, что за беда? Уж кто-кто, а я-то знаю, для кого жизнь промаялась... Дрыхнут на голбце мои мучители ненаглядные“.

На крайней от оврага меже стоит ее лукошко с красным кушаком. Подле — мешок с сортовым брагинским льносеменем. Никогда еще не доводилось Анне Михайловне рассеять такую прорву льна. Бережно отсыпает она из мешка в лукошко первую порцию стеклянно-коричневых, скользких семян. Она уже знает на ощупь это брагинское семя, несколько тощее на вид, с характерными загнутыми носиками. „Словно кувшинчики махонькие...“ — думает она, щурясь и пересыпая с ладони на ладонь семена. Не утерпев, пробует на зуб и, гло-

тая маслянистую пахучую слюну, идет в лукошком на полосу.

Земля так мягка, что ноги Анны Михайловны вязнут. И тревога вдруг щемит сердце. Для Анны Михайловны перестает существовать утро, которому она радовалась. Она ничего не видит, кроме непросохшей земли.

„Так и есть... говорила, обождать надо. Погубят лен, господи!“

Гнев и страх овладевают ею.

„Не свое — вали... а там хоть трава не расти“.

Анна Михайловна выбирается на межу и, отчаявшись, бросает лукошко. Она садится на мешок, нахохлившись, как ночная птица.

Подходит Николай Семенов, наклоняется, заботливо спрашивает:

— Заболела, Михайловна?

— Н-не-ет...

— Почему не сеешь?

— Не буду... — Она поднимает черные, блестящие слезой, глаза, и в них вспыхивают злобные огоньки. — Я тебе, Коля, открытую правду скажу.

— Ну, скажи.

— Земля... не принимает, — с хрипом выдавливает Анна Михайловна, и судорога кривит ее рот. — Голодными нас оставите с вашими опытами. Вот тебе моя правда!

Николай Семенов сурово сдвигает рыжие брови. Не первый раз он слышит это.

— Кулацкая брехня, Михайловна. Зачем ты ее слушаешь?

— Какая, к псу, кулацкая брехня! — кричит Анна Михайловна, вскакивая. — Да ты хоть раз лен сеял? Ранешнее время — как? Сей на Оленин день, потому сказано: Олена — длинные льны... А теперь что же это такое? Измываетесь над землей... Мачеха! Не жалко.

— И длинные льны тебе Олена давала? — не сдержавшись, смеется Семенов. — Эй, не криви душой, Михайловна!

— Врать не буду, длинноты особливой не видывала.

— Каким номером лен продавала?

— Не скажу. Чаще без номера шел.

— Значит, браком?

Семенов помолчал.

— Это хорошо, что ты близко к сердцу лен принимаешь. Спасибо... А теперь смотри...

Он берет горсть земли, давит ее в кулаке и, подняв руку на высоту груди, разжимает пальцы. Едва коснувшись земли, комок рассыпается.

— В точности, как агрономы советуют. Просохла земля, видишь? Ранний сев даст нам семнадцатый номер... Сей, Михайловна.

— Не буду я, Николай...

— А ну, давай сюда лукошко. Я вместо тебя буду сеять.

Семенов решительно наклоняется за лукошком. Но красный кушак оказывается в руках Анны Михайловны. Бранное слово застревает у ней в горле. Она торопливо надевает кушак через плечо и, взмахнув рукой, точно перекрестившись, бросает горсть семян.

— Коли не уродится, я на тебя пожалуюсь. Попомни это, Семенов.

— Есть такое дело. Ответ держать согласен,— весело откликается председатель, уходя.— Суди меня, Михайловна, но только осенью, не сейчас.

Светлое солнце, точно распуская кружева, неустанно гонит туман в низины. Все отчетливей, шире проступает черно-фиолетовая сырая пашня; поблескивающие лемехами плуги; телеги; лошади, запряженные в бороны; севцы, мернодвигающиеся по полю. Анна Михайловна делает шаг, и рука ее с прихваченной горстью семян, в такт движению, описывает размашистый полукруг, ударяя о ребро лукошка: „чок... чок...“

Семена льна брызжут из-под пальцев, косым блестящим дождем падают на землю...

„Взойдет ли?“— тревожно думала Анна Михайловна.

Таясь от ребят и соседей, она бегала по утрам на участок и подолгу стояла молча, ослабшая и растерянная. Пустынное, мертвое поле лежало перед ней. Ни одна травинка не пробивалась сквозь бурую хрупкую земляную корку.

На пятый или шестой день Анна Михайловна не вытерпела и, присев на корточки и затаив дыхание, осторожно копнула суглинок. От волнения она долго не могла ничего разглядеть. Безжизненная, как песок, осыпалась на ладонь земля.

„Пропал лен... Ничего нет. Пустая земля...“

Анна Михайловна не так горевала бы, если бы это была, как прежде, ее собственная, узкая, точно межник, полоска. С такого клина невелик убыток, да и взятки с тебя гладки: оплошала и помалкивай, а соседям дела нет. Теперь же она должна была держать ответ за испорченную землю перед целым обществом.

Но даже и не это мучило ее. Страшно было не то, что лен пропал на участке, который она засеяла, в конце концов загон не так уж велик, Семенова она предупредила, и ей не стыдно людям в глаза глядеть; страшно было то, что мертвое поле простиралось до самого леса. Видать, похоронит эта пустыня колхоз, разбежится народ, и придется Анне Михайловне сызнова, в проклятом одиночестве, ковырять свой клин.

Еще раз копнула она землю, и вдруг коричневая скользкая блеска, смахивающая на крохотный осколышек стекла, скатилась ей на ладонь, и она увидела желтоватый червячок ростка.

— А-а! — воскликнула Анна Михайловна, шумно вздыхая и примечая, как падает на ладонь второе проросшее семечко, третье...

Она бережно посадила ростки в землю, старательно заровняла лунку и, вставая, вытерла концом платка глаза.

Вскоре Анна Михайловна любовалась полем, усеянным зелеными, чуть видимыми, усиками. Она говорила о льне, как о малом ребенке:

— Растет... растет, родимый! Ах ты, мой красавчик!.. От земли только отошел, а уж вон как прет.

— Четвертый листок пустил, — подметила довольная Дарья Семенова. — Будем нонче со льном, коли блоха не сожрет.

— Я золы припасла мешок.

— Тут сто мешков надо.

— Сказать Коле — найдет и сто. Печи-то бабы топят?

— Печей много, а Коля один, — проворчала Дарья, утираясь передником. — Везде Коля... да что ему, больше всех надо? И так, почесть, неделями дома не бывает.

В голосе ее была ласковая гордость и обида. И Анна Михайловна сказала то, что приятно было слышать Дарье:

— Ну, что сделаешь, — председатель.

Они стояли на участке, облитые жаром весеннего солнца. Высоко над головами, в побелевшем небе, стригли, как ножницами, черными острыми крыльями стрижи. Сухой горячий воздух струился маревом.

— Ах, дождя бы... да проливного! — прошептала Анна Михайловна, изнемогая от жары и беспокойно озирая посеvy.

Запрокинув голову, с надеждой глядела она в небо, но было оно бездонным и пустым и только стрижи все стригли да стригли крыльями без устали.

— Хошь не хошь, а корову доить надо итти, — вздохнула Дарья, и Анна Михайловна, ощущая в сухом рту горечь и соль, поплелась за ней на выгон. И весь день ее не покидало тревожно-палющее чувство жажды.

Ночью Анна Михайловна два раза просыпалась и чутко прислушивалась — не шумит ли дождем крыша. В избе было тихо, душно и очень светло. Она встала, сонная, пила прямо из ведра, черпая пригоршнями, потом выглядывала на крыльцо.

Вечерняя долгая заря сходилась с утренней. В червонно-синем небе светились редкие звезды, точно прозрачные брызги воды. Не шелухнувшись, томительно никли ветви тополя. Слышно было, как на дворе ворочалась и тяжело дышала корова.

Спустившись с крыльца, Анна Михайловна ступила на луговину. Росы не было. Сухая прошлогодняя трава, шурша, колола и чуть холодила босые ноги.

„Сушь... ровно летом, господи!“ — думала Анна Михайловна и, понурившись, возвращалась в избу, легла на полу, не укрытая, и ей снилось два раза одно и то же — что она девчонкой шлепает по мутным лужам, потом, присев на корточки, пускает щепочки и, зачарованная, следит, как они, кружась и покачиваясь, уплывают в кипящий ручей.

Дождь пришел, крупный и теплый, когда его перестала ждать Анна Михайловна. К вечеру неожиданно и как-то сразу потемнело небо, сухо и сильно треснул гром, и начался ливень. Она выскочила из избы раньше ребят, протянула руки, замерла и в одну минуту промокла.

С гумна бежали куры, распластав крылья, вытянув



шей и опустив хвосты. Под стоком бурлил ручей, и Мишка, засучив штаны, носился у крыльца по пенной луже, выкрикивая:

Дождик, дождик, пуще,  
На бабью капусту,  
На девичий лен —  
Поливай ведром!

Стоя под косыми, отрадно хлеставшими струями, пожимаясь и ахая, Анна Михайловна вспомнила, как однажды, на диво ей, вот так же мокнул под дождем и радовался, словно мальчишка, Петр Елисеев. И только теперь она поняла его.

Дождь шел весь вечер и всю ночь. Наутро Анна Михайловна не узнала своего льна. Ровным зеленым лугом стался он по влажной дымящейся земле.

Лен пошел в „елочку“, теперь блоха ему была не страшна. Но вместе со льном подняли голову сорняки. Сурепка, повилика, осот, заячья капуста обступили тонкие мохнатые стебельки.

— Полоть лен, — распорядился Николай Семенов.

В первый же день Анна Михайловна заметила, что многие колхозницы работают сидя, приминая коленями нежные побеги льна. Вытеребленные сорняки оставались тут же на полосах. Она молча стала в ряды полольщиц, легко согнулась и, осторожно двигаясь, чтобы не помять льна, выдирала колючий осот. Она набрала охапку сорняков и отнесла в овраг. И, глядя на Анну Михайловну, колхозницы одна за другой вставали с колен.

— Не управимся во-время с прополкой.. копаются! — ворчал Петр Елисеев, кусая усы и понукая баб. Нетерпеливый, черный от загара, злой, он появлялся на поле неожиданно и всегда словно нарочно, когда колхозницы отдыхали.

— Ровно ему кто скажет, под бок ткнет, — говорили с досадой бабы, поднимаясь. — Околевать теперь на работе?

— Не околевать, а поменьше прохлаждаться.

— Да ведь не железные. Все рученьки повыдергали.

— Знаю, — отвечал Петр, горячась. — А вы думали, в колхозе ватрушки прямо с неба в рот валятся? За спасибо?.. А, дуры бабы!

Просыпая табак, он торопливо крутил цыгарку и, закурив, добрел, хвалил работу, неумело шутил. И Анна Михайловна, как и все, знала, для чего он это делал, ломая себя.

— Надо бы вечерку... прихватить, — как бы между прочим, невзначай, бросал он, уходя.

Прихватывали и вечерку, но конца прополке не было видно.

Тогда Анна Михайловна привела с собой в поле сыновей. Ленке и Мишке понравилась работа и — главное: обращение матери с ними, как со взрослыми. После обеда они явились во главе табуна ребят. Галками разлетелись ребята по полосам. Петр Елисеев даже замычал от удовольствия. А Семенов посулил:

— Ландрину куплю по фунту на нос. Выручай, пионерия!

Прополотый лен рос могуче. Он зацвел рано и дружно, окрасив поле в бирюзовый цвет. Казалось — полнеба упало на землю. Девушки заглядывались на цветущий лен и невольно срывали и прикалывали его на грудь, как незабудки.

По вечерам голубоглазый лен засыпал, дремотно сжимая лепестки, точно ресницы, а утром, умытый росой и обогретый солнцем, вновь раскрывал свои ясные очи.

Семенов привез из города конную льнотеребилку. Это была первая машина, приобретенная колхозом, и все сбежались смотреть на нее. Теребилка оказалась маленькая, словно игрушечная. И окрашена она была ярко, как игрушка, в красную и голубую краску.

— „Ком-со-мол-ка“... — прочитал Костя Шаров клеймо, и Анна Михайловна невольно засмеялась этому удачному прозвищу.

— Похоже! Форсистая... как девка.

— Как бы эта девка нам лен не испортила, — с сомнением сказала Ольга Елисеева. — Руками драть лен спокойнее. Что нихватишь — все в горсти останется.

— Много ты понимаешь! — оборвал жену Петр, сидя перед машиной на корточках и жадно и ласково трогая ее холодные блестящие части. — Чай, с умом делали, на заводе... как живая.

— Поди-ка! — сказала Авдотья Куприянова. — Железо, оно и останется железом... без души.

— У тебя в горсти души много.

— Горсть-то теперича чужая, — вздохнул Ваня Яблков, сплевывая.

Савелий Федорович, весело оглядывая народ, осклабился:

— Тоскуете? Пора бы, кажется, и забывать, что свое, что чужое...

И всем стало как-то нехорошо от этих слов. Анне Михайловне вспомнилось, как в воскресенье зазвала ее Ольга пить чай и, когда они сидели за столом, в раскрытое окно просунулась, звякая бубенцом и всхрапывая, морда Буяна. „Ишь, не забыл родного места“, — мелькнуло тогда у Анны Михайловны. В задушевном разговоре, как-то раз еще до колхоза, хвастал Петр Буяном: „Умнеющий конь. Как чай пить — он у меня под окошком стоит, хлеба просит...“ И теперь, по привычке, протянул было Петр Елисеев жеребцу ломоть хлеба, но юбронил его на подоконник и, выругавшись, ударил Буяна кулаком по скуле. „Одурел? Чем тебя скотина-то обидела?“ — закричала на мужа Ольга. Петр исподлобья страшно глянул на нее и молча вылез из-за стола.

И сейчас, покосившись на завхоза и как-то сразу потухнув, он поднялся с корточек и уже ногой трогал машину.

— Мало одной, — сказал он недовольно. — На пять таких игрушек делов хватит.

— Делов хватит, да капиталу не наскребем, — ответил ему Гушин громко. — Еще косилку и жнейку завтра привезут. В кредит... Опять же льнозавод будем строить. Придется осенью в кошельки заглянуть.

— За свой боишься? — Семенов зло прищурился. — В твой кошелек заглянуть стоит.

Костя Шаров, внимательно осмотрев теребилку, подлил масла в огонь.

— Сбрасывательный аппарат не работает.

— Ты откуда знаешь? — дрогнув, спросил бригадир.

— Маракую немножко по машинной части... вижу.

— Предупредили меня, с изъяном, — подтвердил Семенов спокойно. — Ничего, принимальщика посадим.

Закусывая ус, Елисеев набросился на председателя:

— Ты, что ли, сядешь? В моей бригаде лишних нет. И на кой ляд нам эту забаву... коли без толку она?

И все стали кричать, что правление транжирит общест-

венные деньги попусту и прав Савелий Федорович, гляди, пойдут осенью колхозники по миру с корзинками.

У Анны Михайловны защемило сердце.

Так мешалось сладкое с горьким. За лето всего хлебнули досыта.

Хорошо было косить бригадой рано поутру, когда трава, обрызганная холодными оловянными каплями росы, точно сама ложилась под косой, но колхозники выходили на косьбу не сразу и не все. Повесили у правления „било“ — чугунную доску, Елисеев стучал в нее ржавым шкворнем, и все обижались, что работают по звонку, как арестанты на каторге, бабы не успевают коров доить, а уж про печи и говорить нечего — по неделе народ на сухомятке сидит. Верно, Анна Михайловна топила печь по вечерам, да и то не каждый день, и гуменник свой пришлось ей косить ночью, потому что Семенов воскресенья отменил, сказав:

— Зимой напразднуемся.

Но зато приятно было возвращаться с поля бабьей оравой, в полдень, закинув высоко над головами грабли, пить у колодца студеную, только что почерпнутую воду, смотреть, как парни, играя, обливают визжащих девушек из деревянной, окованной железом, бадьи; приятно было самим подставлять разгоряченные, потные лица под ледяную благодатную струю. Освеженные, расходились по домам, чтобы пообедать и вздремнуть часок-другой, положенный еще исстари в эту страдную пору. Сидели за стол похлебать простокваши или крошки с шипучим квасом, зеленым луком и сметаной. Не успевали взять ложки, как появлялся под окнами бригадир.

— Туча заходит... как бы не замочило сенцо... Эй, после дообедаете!

Весело было под вечер, наперегонки с другими бабами, огребать на лугу шумящую гороховину, кидать ее в копны, а потом навивать воза, точно зеленые горы, и усталой, приспустив на мокрые плечи жаркий платок, брести за последним возом, слушать песни девушек, чувствовать, как щекочет забравшаяся за ворот кофты былинка, вдыхать пряный аромат мяты, яблочный запах увядающей ромашки и росистую свежесть наступающей ночи. А на ум приходило: „Дрова в лесу остались сухие...

как бы не сожгли, балуясь, пастухи“. Надо было просить у бригадира лошадь, и неизвестно — даст он или не даст.

Примечала Анна Михайловна: не одна она, все чувствовали себя как-то неловко, непривычно в колхозе. Особенно раздражала неразбериха с нарядами на работу. Елисей приказет одно, Семенов, глядишь, распорядится делать другое.

— Вы что с людьми в куклы играете? — сердясь выговаривала Анна Михайловна председателю. — На неделе семь пятниц... Коли выбрали тебя набольшим, не зевай по сторонам.

— Глаза разбегаются, Михайловна, честное слово. С непривычки, — оправдывался Семенов. — Как малый ребенок, учусь ходить... Вот шишки на лбу и вскакивают.

— Смотри, башку проломишь.

— Она у меня медная, — смеялся Николай, встряхивая рыжей копной волос. — Дорожка наша крутая, в гору, это верно. И длинная она, нехоженная... с ухабами, на сегодняшний день. Что же из того? Прямая. Не заблудишься. Только не ленись, иди по ней, ног не жалей. А оступишься — сам виноват: гляди в оба.

— Про то и разговор, — соглашалась Анна Михайловна.

— Научимся... — твердил Николай, хмурясь и точно грозя кому-то. — Дай срок, привыкнут ноги.

— Сроку-то никто не дает, вот беда, — усмехалась Анна Михайловна.

— А? Не дает? — веселел Семенов. — Стало быть, заразно: и обучаться и ходить?.. Так и делаем, Михайловна.

Много было споров о том, как распределять осенью урожай. Одни требовали — по едокам, другие — по труду, третьи кричали, что рано задумали делить шкуру медведя, сперва его убить надо. Вон дза воза клевера пропало, с поля увезли, ищи-свищи теперь. Анне Михайловне было понятно, что многосемейные настаивали на дележке по едокам, и удивляло, почему Савелий Федорович Гуцин, такой умный, хозяйственный человек, поддерживал эту несправедливость. К счастью, с ним не согласились, решили делить урожай по труду: кто сколько сработает, столько и получит. Семенов завел учетную тетрадку, и все бегали к нему по вечерам отмечаться и узнавать, правильно ли записана работа.

А ветер носил над полями голубые тучи опавших лепестков. Граненые головки льна качались на стеблях, словно гроздья спеющих ягод. На возвышенных местах полосы желтели, точно овейные позолотой. И однажды пара крутобоких коней вынесла на пригорок льнотеребилку. Ездовой Костя Шаров уверенно направил коней по желтому краю, гремущая теребилка врезалась в лен, и длинные стебли, отделяясь от земли, послушно поползли по широкому ремню в руки принимальщика. Тот сбрасывал стебли маленькими грудками, и Анна Михайловна, идя следом за машиной, вязала лен в головастые снопы.

Лен поспевал быстро. Как желтухой, покрылось скоро все поле. Теребилка не справлялась с работой.

— Лен горит! — тревожно донесла Анна Михайловна председателю колхоза.

И поле запестрело цветными сарафанами, белыми кофточками, красными косынками. Анна Михайловна разгибала спину только для того, чтобы стереть с лица пот, оправить выбившуюся из-под платка мокрую прядь седых волос, чтобы глотнуть из ведра теплой, не утоляющей жажды, воды. Она уходила из дому до восхода солнца и возвращалась с поля ночью, смертельно усталая и счастливая. Золотой лен грезился ей в короткие часы отдыха, когда она смыкала горящие веки...

## XI

Еще когда строили льнозавод, по колхозу поползло временное шипенье, будто „чортовы колеса“ портят волокно, калечат людей, что вручную трепать сподручней, а с машинами как раз, гляди, колхозу и не выполнить плана, все волокно на трепалах останется. Авдотья Куприянова крестилась и божилась, что своими глазами видела, как в Кривце у трех колхозниц оторвало пальцы, колхозниц замертво отвезли в больницу.

Невесело прошло открытие льнозавода. В сарае было холодно и неприветливо. Сквозь бревна, наспех и плохо промшеные в пазах, тускло просвечивал свет. На горбатом земляном полу, в стружках и опилках, чудидцами возвышались бельгийские колеса. Они стояли в один ряд, почти во всю ширину сарая, и Анна Михайловна заметила — все проходили мимо колес торопливо, прижимаясь к стене.

— Ну вот, и мы стали рабочими, — пошутил Семенов. — Назначаю Михайловну директором завода... Командуй машинами. Они хоть и деревянные, колесики-то, а покатают наш колхоз шибко вперед.

— На тот свет живо доставят, — злобно отозвалась Дарья.

Всем было не до шуток, и только Савелий Федорович, как ни в чем не бывало, скалил зубы.

— Приду домой — петуха зарезу... Отслужил свое, горластый, отслужил, — приговаривал Савелий Федорович, выгребая из-под колес стружки и опилки. — А-ах, хорошо вставать по гудочку! Не проспийшь... Подолы, бабы, подбирайте, а то завернет колесом — вся фабрика наружу... Машинист, давай пар, смерть охота Бельгию попробовать!

Застучал трактор, и деревянные, в рост человека, трепала, дрогнув, описали медленный круг. Бабы попятись к стене. Трепала с шелестом мелькали все чаще и чаще и, словно укорачиваясь, забелели мутными пятнами. Сквозняком потянуло в сарае.

Первый раз в жизни подошла Анна Михайловна к бельгийскому колесу и испугалась.

— Батюшки-светы, да я все пальцы отшибу!

Бабы крики поддержали ее. Трепать на колесах лень все наотрез отказались.

Трактор смолк. Колеса еще немного повертелись вхолостую, белые свистящие пятна разорвались, отчетливо проступили, увеличиваясь, трепала и, замирая, стали.

— Михайловна, а я-то на тебя надеялся, — огорченно шепнул Семенов, и приготовленный пучок тресты выпал из его рук.

Совестно стало Анне Михайловне. Она подавила робость.

— Петр Васильич, — сказала она тихо бригадиру, — поверни колесо, я попробую... Да осторожнее, чорт!

И протянула издали повесмо.

В этот день она натрепала десять фунтов, меньше, чем вручную. Глядя на Анну Михайловну, нерешительно стали к колесам Ольга Елисеева, Марья Лебедева и еще пять-шесть колхозниц. Слетали ремни, трепала рвали волокно, потому что треста поступала недомятая, плохо высушенная.

— Ничего, завтра наладим... пойдет дело, — утешал Се-

менов Анну Михайловну, когда они вечером, запорошенные кострой, шли с льнозавода. — Новое-то завсегда в руки не дается. А ты присмотришь — и хватай смелее. Поймешь... Такие ли в городах машины покоряют.

— Так то рабочие, а мы — бабы..!

— Толкуй! Мало ли женщин на фабриках работает. Да еще как!.. Бабья рука самая ловкая.

Анна Михайловна твердила свое:

— Я бы по-старому-то, Коля, полпуда льна играючи натрепала...

— До рождества бы и проканителелась. По два пуда трепать надо, Михайловна, государство не ждет, по два... Главное — не робей, пуды-то сами к тебе придут... Да знаешь ли ты, куда наше волоконец двинется?

— А плевала я!.. Руки-то мне всего дороже, — рассердилась Анна Михайловна.

Злая, невыспавшаяся пришла она утром на льнозавод. За ночь кто-то заткнул в сарае все щели отрепьем, убрал из-под колес вороха омяля, вырознял земляной пол. В сушилке пахло печеной картошкой. Треста была сухая и горячая.

— Перестарались... дай дуракам волю... ломается лен, как прутья из веника, — ворчала Анна Михайловна, пробуя тресту.

Но тут завели трактор, пустили чугунную льномялку, и Анна Михайловна, ощупав волокно, поневоле должна была признаться себе, что тресту не пересушили. Это еще больше почему-то рассердило.

Она вернулась в трепальное отделение. Баб набралось — не подойти к колесам. Все глазели на диковинные машины, а работать опять отказывались. В оконцах играло позднее солнышко, лучи его блекло скользили по гладко выструганным трепалам. И были эти трепала такие обыкновенные; разве что втрое подлиннее ручных.

„Березские, должно... Никодимова работка, — подумала Анна Михайловна, примериваясь к трепалам. — Ну, стой, оседаю я вас, дьяволов, и поеду“, — ожесточилась она.

— Неужто вправду только десять фунтов... вчера? — спросила ее Дарья.

Анна Михайловна промолчала.

— Страсть какая! Заедет по макушке — без головы



останешься, — переговаривались девки. — И подступиться боязно.

— А боязно, так и не подступайтесь... без вас обойдемся, — отрезала Анна Михайловна, решительно подходя к колесам.

— Да ведь и нам охота попробовать, — застенчиво сказала Катерина, проталкиваясь к Анне Михайловне и осторожно трогая острые, как ножи, ребра трепал. Она оглянулась на подруг и стала поспешно засучивать рукава кофты.

Анна Михайловна покосилась на полные смуглые локти Катерины.

— А ты не суй руки далеко... отшибет, — сказала она.

— Кончай базар! Отходи, которые лишние... пускаем! — скомандовал Елисей, появляясь в дверях сарая. — Ольга, стукни гвоздь в крайнем колесе, никак раскачался, — приказал он жене, подавая топор.

— Тут скоро все мы закачаемся, — огрызнулась Ольга, но топор приняла и послушно забила обухом высунувшуюся шляпку гвоздя. — Навыдумывали, изобретатели... чтоб вам сдохнуть!

Она швырнула топор в угол.

— Давай, что ли!.. Надоело ждать.

И, как вчера, засвистели в неумном беге колеса, крупным колючим дождем брызнула из-под трепал костра. И по-вчерашнему ёкнуло сердце у Анны Михайловны.

Но страшновато и, главное, неловко было только первые минуты. Трудно было поднять руки, казалось, трепала сейчас же ударят по пальцам.. Почему-то скользили ноги. И даже свист мешал, унылый, словно ветер в трубе. Однако, стоило забыть о трепалах, и повесмо само поворачивалось в руке, и ноги стояли твердо, и сердце переставало стучать. К свисту тоже можно было привыкнуть, благо этот ветер сдувал с лица костру.

Надвинув пониже платок, чтобы меньше засорялись глаза, Анна Михайловна заметила, что костра отделяется легко, волокно не рвется и трепала словно не бьют, а гладят серебряные нити. „Привыкну, — решила она, — легче, чем самой день-денской руками махать... и, пожалуй... спорее“.

Она видела, как медленно прошел трепальным отделением Николай Семенов. Белесая костра торчала в его лохматых волосах, как седина. Он постоял около Анны

Михайловны, подобрал у нее из-под ног омялье и молча двинулся дальше, прижимаясь к стене, чтобы не мешать работающим бабам. „Этот на своем настоит... упрямый, — подумала Анна Михайловна одобрительно. — Да и то сказать, без упрямства наш народ не возьмешь... Тяжелы мы... боимся нового, как чорт ладана. Молодым, знамо, сподручнее, старое-то не висит, назад не тянет...“

Ворочая повесмо, она мельком покосилась на Катерину. Голый смуглый локоть проворно взлетал, словно Катерина нетерпеливо отмахивалась от наседавших тучей комаров.

— Береги-ись! — крикнул Гушин, проходя мимо с вязанкой волокна.

Анна Михайловна, забывшись, потеснилась к трепалам, и тут словно кто толкнул ее под колесо.

— Убило!.. Бабушку убило! — испуганно ахнула Катерина.

„Какая я тебе бабушка!“ — хотела сказать сердито Анна Михайловна и упала. Что-то горячее обожгло ей руки и часто и больно заколотило по голозе. „Сахару-то наколола, а из комода не вынула... ребята придут чай пить — и не найдут,“ — почему-то мелькнуло у Анны Михайловны.

— Остановите... сволочи... трактор остановите! — визжал Савелий Федорович.

— А-а! Убило... Родимые... убило! — страшно кричали бабы.

Кто-то тащил Анну Михайловну за ноги и все бил и бил руками по голове. Стало темно, холодно и очень тихо. Дивясь, Анна Михайловна раскрыла глаза, увидела заплаканное лицо Дарьи, множество ног в обсоюженных валенках и полусапожках, склоненного Семенова, который что-то торопливо делал с ее, Анны Михайловны, руками. Последней запомнилась Ольга. Она разъяренно рубила топором белые длинные трепала...

## XII

Первый раз Анна Михайловна пришла в себя от боли. Опять кто-то бил ее по голове. Она застонала, хотела защитить голову ладонями, но рук у нее не было. Она испугалась, вытаращила глаза и долго непонимающе глядела на Семенова. Он сидел около нее, завернутый в простыню, и все вокруг него было светлое.

— Ты чего... такой? — со страхом спросила Анна Михайловна. — Зачем?

— Сейчас уйду, — шепнул Семенов.

— Куда? — удивилась Анна Михайловна и вдруг все вспомнила.

— Ребята?.. — заикнулась она, морщась от боли.

— Дарья с ними... Спи, отдыхай.

— В больнице, что ли, я?

— В больнице.

Анна Михайловна повела глазами на две горы бинтов, белевших на одеяле справа и слева по краям кровати.

— Руки-то... у меня... целы?

Семенов вздрогнул, наклонился и зашикал.

— Целы. Ш-ш-ш... нельзя тебе разговаривать, Михайловна. Доктор запретил.

Она немножко подумала.

— Сломали... бабы... колеса-то?

— Молчи.

Анне Михайловне хотелось пошевелить пальцами, но сил не было, она закрыла глаза, потерпела, пока затихала ломота в голове, и уснула.

Во сне она видела старичка, маленького, беленького и страсть сердитого. Старичок кричал на нее, топал ногами и гнал прочь от бельгийских колес, а ей нельзя было уйти, она только что принесла из сушилки вязанку тресты и беспокоилась: „Остынет — и не отрпелешь... И что он ко мне привязался?“ Она притворилась, будто не видит и не слышит старичка, хватала по два повесма и совала их к трепалам, а они, как назло, еле поворачивались, и костра гвоздями торчала из волокна, хоть клещами вытаскивай. „На печке тебе сидеть... марш на печку!“ — кричал старичок тонким злым голосом, стучал ей в спину кулаком и зачем-то требовал, чтобы Анна Михайловна не дышала. „Сумасшедший.. терпенья моего больше нет... позову Семенова“, — решила Анна Михайловна, оглядываясь кругом. Но в сарае были какие-то чужие люди, дробела осыпанные кострой, и Семенова она не нашла. А старичок, распахнув халат, запел песню и стал ломать Анне Михайловне руки.

Она вырвалась, убежала в избу. Ребята сидели за столом и хлебали молоко в прикуску с сахаром. „Это еще что за мода? — рассердилась мать. — И так каждый день колю вам к чаю по целой сахарнице... Не смей у меня

баловаться!“ — „Да мы и не балуемся, — сказал Ленка, — это нам дала тетя Ольга, она к тебе в гости пришла“. И действительно, на лавке сидела Ольга Елисеева, в новом белом платье, простоволосая, а с ней рядом Катерина с голыми смуглыми локтями и еще кто-то из баб. И все они шопотом уговаривали Анну Михайловну полежать и не разговаривать, а она все допытывалась у Ольги, куда та девала топор...

Потом бабы пропали, Анна Михайловна лежала одна в чужой полутемной избе. Слабо горела под потолком лампа, и в желтом пятнышке света тихо кружилась мохнатая бабочка. Анна Михайловна подняла голову с подушки и огляделась. Смутно белели кровати, слышно было дыхание спящих. Кто-то застонал во сне. И она опять все вспомнила и тихонько заплакала. Но лежать ей было удобно, мягко, ничто не болело, и только руками нельзя было пошевелить.

— И за что ты меня наказал, господи?!

Скрипнул пол, подошла сиделка, поправила одеяло, подушку и строго сказала:

— Спи, больная... спи.

А уж какой тут сон. До утра не сомкнула глаз Анна Михайловна и столько всего передумала тревожного, нехорошего о ребятах, о колхозе, о бабах... Наверное, дурехи с перепугу все поломали в сарае. Вот тебе и льнозавод... А Дарья, поди, ребятам и обед сварит, не поленится, и корову подоит. Не минешь трепать лен вручную, а ведь пошло дело, смотри-ка, даже дезки к колесам стали. Кабы не грех этот, живо управилась и за молотбу принялась... Попутал лукавый, попутал... Не тронься она с места, и не было бы ничего. Сама виновата. Проход еще вот мал сделали... Да ведь ходили же люди, не кричали в самое ухо... Ах, слозно нарочно все вышло! Сожрут теперь бабы Николая, замутят колхоз... Ну и кашу она заварила — подавишься.

Было еще одно, самое страшное, о чем Анна Михайловна старалась не думать. Она неотрывно смотрела на бабочку, которая кружилась над лампой, а видела белые пухлые горы бинтов под одеялом, там, где должны были лежать ее, Анны Михайловны, руки.

Когда утром ей ставили градусник, она заглянула под одеяло и тотчас зажмурилась — ей показалось, что руки

стали короткие, словно обрубленные. Но боли не чувствовалось, и это ее немножко успокоило.

Принесли чай и завтрак. Анна Михайловна с помощью сиделки, рябой, молоденькой и строгой девчонки, с удовольствием выпила кружку теплого, переслащенного, но очень жидкого, хотя и настоящего китайского чая, съела половину булки и ломтик колбасы. Она выпила бы и поела еще, да постеснялась попросить.

В палату вбежал старичок, точь в точь такой, как она видела во сне. Больные, которых Анна Михайловна успела разглядеть, как-то ожили, повеселели. Мурлыкая и ворча, старичок присаживался на кровати, тоненько кричал, и смеялся, и топал, и полы его незастегнутого халата так и разлетались гусиными крыльями.

— На печку... на печку, старуха, посажу! — сердито погрозил он Анне Михайловне еще издали.

Подбежал к кровати, уставился пучеглазо и всплеснул руками.

— Хороша-а, красавица! — тоненько закричал он, вцепившись себе в седые есклокоченные волосы. — Посмотри, матушка, на кого ты стала похожа. Срам! Срам!

Похолодев, Анна Михайловна лежала ни жива, ни мертва. „Батюшки, — тоскливо подумалось ей, — видать, плохи мои дела, коли он так ругается“.

Не спуская с нее злых, острых глаз, фыркая и ворча, старичок принялся снимать повязку с головы. Шершавые пальцы его неприятно щекотали лицо Анны Михайловны, ее бросило в дрожь.

— Больно? — обрадовался старичок и запел себе под нос: — Ай; люли, ай, люли... как у наших у ворот комар музыку ведет... Так тебе и надо, — сердито ворчал он. — Не суйся, старая, не в свое корыто. Я вот тебе сейчас еще больнее сделаю, — злорадно пообещал он, хватая ее голову и вертя из стороны в сторону, точно желая оторвать напроць.

Но боли Анна Михайловна так и не почувствовала. Длинный мятый бинт неслышно очутился в руках старичка. Он понюхал бинт, помахал им и рассмеялся.

— Напугал?.. Люблю. Скорее выздоравливают.. Ну-с, все пустяки, старуха. Царапины твои живо залечим. Молись богу, счастливо отделалась.

— А руки... хоть один... остался... пальчик? — замирая, шопотом спросила Анна Михайловна.

— Какой пальчик? Что ты там выдумала?! — Старичок затопал и олять закричал. — Па-альчик... — тоненько передразнил он. — Смотреть не хочу на твои пальчики. Завтра перевязку сделаем, в неделю мясом обростут, и проваливай... Надоела ты мне.

— Ох, а уж как ты мне надоел... — призналась, вздыхая и усмехаясь, Анна Михайловна.

— Две недели проморою! — пригрозил старичок, убегающая из палаты.

Ночью, когда в палате все уснули, сиделка вымыла пол, привернула лампу и вышла в коридор, Анна Михайловна, не утерпев, схватилась зубами за тонкую, пропахшую спиртом, марлю и, ворочая правой, тяжелой и непослушной рукой, принялась разматывать бинт. Ее трясло как в ознобе. И зубы и сердце так стучали, что она боялась разбудить больных. Она часто выпускала из зубов марлю и, тая дыхание, пугливо прислушивалась. Потом снова принималась за дело.

От напряжения у нее сводило судорогой челюсти, слюна замочила подушку, пот выступил на лбу. Она запуталась в марле, кажется, бинту конца не было.

„Нету пальцев... нету...“ — страшно подумалось ей, и с ужасом ясно представилось, как идут галдящей оравой на работу бабы, а она, Анна Михайловна, торчит в избе, культянки болтаются у нее в широких рукавах кофты и за обедом сыновья по очереди кормят ее, мать, и кусок встает ей поперек горла... Она рванула бинт и застонала от боли, неожиданно охватившей ее.

Сквозь пятнистую, запачканную кровью и иодом, марлю она увидела бугорчатые очертания пальцев. В глазах у Анны Михайловны качнулись и поплыли стены, кровать, лампа, и она не могла сразу сосчитать — сколько же там, под жесткой марлей, пальцев: четыре или пять. Она поднесла руки поближе, несмело взгляделась, сосчитала и долго лежала неподвижно, подняв брови, пристально и удивленно рассматривая опухшую, словно чужку, кисть руки.

Она попробовала согнуть пальцы, это вызвало режущую боль, и Анна Михайловна усмехнулась.

Отдохнув, она тихонько размотала бинт на левой руке и теперь уже сразу сосчитала пальцы.

Все это ее так утомило, что она заснула, не успев забинтовать руки, и после ей страсть как попало от

сердитого старичка, она прямо не знала, куда деться от стыда.

Дни пошли скучные, досмерти длинные. От безделья все время хотелось есть. Кормили в больнице часто, но помаленьку, и Анна Михайловна, поборов стеснения, стала подпрашивать прибавки. Она перезнакомилась со всеми больными по палате и, когда ей разрешили ходить, высмотрела всю больницу, забрела на кухню, вызвалась помогать кухарке, но ей не позволили.

Однажды ее позвали к окну, она подошла и увидела на улице, за палисадом, Леньку, Мишку и Дарью. Ребята, как только заметили ее, вскочили на тесовую изгородь и молча во все глаза уставились на мать в белом халате. Дарья высунула из-за палисада голову, заплакала, потом засмеялась, все хотела взлезть на палисад и не могла.

День был не приемный, и, как ни просила Анна Михайловна, сыновей и Дарью не пустили в палату, и ей не разрешили выйти на улицу. Ей передали узелок с домашними гостинцами и записочку.

„Мама, поправляйся, — писал Ленька знакомыми крупными палочками, по-печатному, чтобы она могла разобрать, — мы живы и здоровы, кланяемся тебе, и тетя Дарья тоже кланяется. Мама, напиши ответ, когда тебя выпустят, мы приедем на лошади“.

Рукой Мишки, криво и мелко, была приписка:

„Пиши поскорей, а то Буян не стоит“.

Рябая молоденькая сиделка написала на обороте лоскутка, что больную Стукову выпишут, наверное, в среду, а лучше, если они приедут в четверг, надежнее, и больная хочет знать — треплют в колхозе лен или нет.

Толкаясь, ребята прочитали записку, перебивая друг друга, прокричали что-то в ответ. Рамы в окнах были двойные, слышно плохо, и Анна Михайловна ничего не разобрала. Она постояла, посмотрела на ребят и Дарью, показала им свои забинтованные руки, Дарья снова заутиралась платком, и Анна Михайловна махнула, чтобы уезжали. За вечерним чаем она угощала знакомых по палате дарьиным пирогом, ватрушками и сдобниками. И все ждали дарьино печенье и еще раз охотно выслушали историю Анны Михайловны: как она попала под колеса и какие хорошие растут у ней сыновья.

Дежурный врач выписал ее в среду. Анна Михайловна совсем собралась, переделалась, попрощалась с боль-

ными, но тут прибежал старичок, затопал, закричал, что не отпустит до завтра, и она с ним поругалась. Она опять закуталась в надоевший халат, но одежду свою не вернула, спрятала под кровать и после обеда, в так называемый „мертвый час“, пошла будто в уборную, торопливо накинула на себя рубашку, юбку, кофту, башмаков надеть не успела, повесила в коридоре халат и, босая, на цыпочках, пробралась к выходной двери и сняла цепочку.

День был погожий, теплый. В полях рыли картошку. По овинам и ригам, мимо которых проходила Анна Михайловна, стучали молотилки, цепи и сортировки. Приятно пахло сухой соломой и духовитой мякиной.

— Бог в помощь, — говорила, кланяясь, Анна Михайловна работавшим.

— Спасибо, спасибо, — добро и весело откликался кто-нибудь из мужиков или баб, мельком оглядывая ее.

Иногда она останавливалась и спрашивала, как управляются миром-то, хороши ли хлеба, — и в ответ слышала, что обижаться не приходится, всего уродилось вволю, вот только бы не запоздать, убраться с добром во-время. Она присаживалась на завалинки к старухам, няньчизшим ребятам, просила напиться, разговаривала обо всем, что приходило в голову, и, отдохнув, шла дальше, споро и легко перебирая босыми ногами, и не заметила, как отмахала восемнадцать верст.

Гумнами, не заходя домой, она пробралась к льнозаводу. Трактор глухо урчал, как ни в чем не бывало.

— Ну, слава тебе... — Анна Михайловна перекрестилась и тихонько толкнула дверь в сарай.

Скоро забылись и больница, и седенький строгий старичок, и даже та страшная ночь, когда Анна Михайловна зубами снимала бинты с тяжелых, непослушных рук. Она застала в колхозе самую горячку и приловчилась, хотя и не сразу, трепать лен по-новому.

В мьяльном отделении чугунные зубчатые валы жадно глотали теплую, пряно пахнущую тресту. Из-под валов треста выходила разжеванной, с колючками костры и рыжевато-курчавыми завитушками волокна. Мужики бережно принимали мятые, еще не остывшие повесма и несли их в трепальный цех.

Здесь в воздухе неоседающей пылью висела костра, плавали белые, прозрачные тенета, как пух одуванчика.



В стремительном порыве крутились деревянные трепала, сливаясь в белесые круги. Анна Михайловна хватала мятую тресту, веером разворачивала ее перед свистящим бельгийским колесом, и отделившаяся костра взлетала облаком. Мягкое волокно нежно ластилось к пальцам; гибким, почти невидимым движением они выворачивали волокно, как чулок, и легко, словно играя, опять приближали к трепалам, пока не сменяли взлетающую костру чуть заметные, тончайшие паутинки и бесформенный мочалистый пук не превращался в длинное тугое, скользкое в руках, серебряное повесмо.

Девушки относили под навес готовое волокно и пели песню. Бабы за трепалами подхватывали ее звенящие переливы, и песня кружилась над льнозаводом, как птица.

Слабым, дребезжащим голосом Анна Михайловна подтягивала, как умела, и, вспоминая разговоры Семенова, явственно видела, как горы волокна идут на фабрики, и чудесные руки ткачей, словно по волшебству, превращают волокно в белоснежное хрустящее полотно.

И вот он, ее голубоглазый лен, снова вернулся к Анне Михайловне браными скатертями, кофтами, широкими простынями, вышитыми рубашками для сыновей. Лен пошел в магазины по городам и селам, и кто знает, может быть, покупая платок или полотенце, люди, не зная ее по имени, но видя и понимая ее труд, помянут Анну Михайловну добрым словом. А Семенов еще говорит, что лен пойдет в Красную Армию парусиной, брезентом, палатками, будто подарит он смелые крылья аэропланам, которые летают по небу, как стрижи, и он же, лен Анны Михайловны, будет досылать безотказно патроны в пулемет пограничника...

„Хвастает... — не поверила Анна Михайловна. — Да что ж, такую прорву льна своротили — и прихвастнуть не грех... А может, и в самом деле... Сталин мою рубаху наденет“, — пришло ей вдруг в голову. Она усмехнулась. Ей стало приятно и в то же время грустно, потому что она невольно вспомнила о муже.

### XIII

Заполдень из-за гумен выполз обоз, груженный мешками. Впереди шел с непокрытой головой Николай Семенов с гармонистом, за ними ударники и запевалы. С грохотом

и песнями прокатил обоз по шоссе, мимо правления колхоза, и свернул в проулок.

Прислушиваясь к нарастающей песне, Анна Михайловна, ладившая во дворе загородку для поросенка, глянула за ворота. „Куда это? — гадала она, всматриваясь в приближающийся обоз. — Кажись, поставки выполнили, страховые и семенные фонды засыпали... Должно, на мельницу. Что же это они, как на свадьбу?“

Песня и, главное, колхозники, выглядывавшие с первой подводы, ее взволновали. Показалось, что машут руками именно ей, Анне Михайловне. И правили Буяном нивесть откуда взявшиеся сыновья.

Гремящий, распеваящий обоз круто повернул прямо на Анну Михайловну. Прислонясь к калитке, она стояла ни жива, ни мертва. Она не поверила тому, что вдруг подсказало сердце.

— Тпр-ру... приехали с орехами! — Мишка натянул всжи, хитро и весело поглядывая на мать.

Жарко всхрапывая, Буян рвался ко двору, не слушая мишкиного приказания. Комья грязи летели из-под его копыт. Ленка выхватил у брата вожжи, по-мужицки наматал их на обе руки и, блаженно хмурясь, остановил жеребца. Стали и задние подводы.

— Принимай добро, хозяйка! — закричал дед Панкрат, молодецки соскакивая с телеги. — Тут тебе хлеб и всяческая штукавина за лен... Куда валить прикажешь?

— Что молчишь? Али язык откусила? — шутливо спрашивали колхозники, обступая со всех сторон. — Уж не колесом ли тебя опять по голове стукнуло?

— Она соображает, хватит ли избы под продукцию, — сказал Петр Елисеев, раздвигая в улыбке усы. — Как бы не пришлось самой жить на улице.

— Ха-ха! Похоже!

Анна Михайловна знала, что она заработала в колхозе немало. По ночам не раз принималась подсчитывать... Но то, что увидела она сейчас, преззошло все ее расчеты.

Немигающими, точно незрячими глазами уставилась Анна Михайловна на ближнюю подводу. Верхний мешок был неполный и худой, в дыру проглядывала янтарная россыпь пшеницы. Ей показалось — пшеница сейчас вывалится в грязь. Она шагнула к телеге и хотела снять прохудившийся мешок. Но у телеги раньше ее очутился

Ленька, он взвалил мешок на спину и пошатнулся под этой тяжестью.

— Надорвешься... пусти... я сама... — прошептала мать, отнимая мешок.

— Не замай!.. говорят тебе... Два таких стащу, — сердито ответил Ленька, медленно двигаясь к крыльцу. Придерживая мешок, мать семенила рядом.

Так, вместе, они отнесли пшеницу в сени. Анна Михайловна указала мужикам, куда класть остальные мешки, и вернулась на улицу. Здесь она столкнулась лицом к лицу с Николаем Семеновым. И тотчас же в памяти ее почему-то встало весеннее утро, она увидела брошенное на землю лукошко с красным кушаком, услышала свой гневный, сдавленный хрип: „Не буду... Земля не принимает... Голодными нас оставите“. „Неужели это я говорила? — подумала она, покраснев. — Да не может быть!“ Но в строгих, как ей показалось, глазах председателя она прочла, что это было именно так, — и, низко опустив голову, ждала укоряющих слов. Она понимала, что заслужила их, как бы они позорны ни были. Сейчас все колхозники будут знать, какая она старая набитая дура.

Но жесткие пальцы Семенова отыскивали ее ладонь, крепко сжали, и она услышала совсем другое:

— Поздравляю, Михайловна, как лучшую ударницу... Спасибо тебе от колхоза за честный труд.

Она подняла голову, горячо и удивленно взглянула на Семенова, хотела что-то сказать и не могла. Судорога сдавила ей горло. Анна Михайловна махнула рукой и заплакала.

Ей было немножко стыдно, что она, старуха, плачет, как дитя. Но бабы сочувственно засморкались в платки, и главное — слезы были сладкие, каких она давно не знала, и она не скрывала их.

— Ну, завела патефон наша Михайловна... Терпеть не могу, — сказал Мишка, отворачиваясь и пронзительно свистя.

— Пошли на реку, — угрюмо предложил Ленька.

— В самом деле, пойдем на реку! — отчаянно обрадовался Мишка.

— Качать, качать! — кричали мужики и подняли на руки смущенную, отбивающуюся Анну Михайловну.

Потом качали Елисеева, Дарью Семенову, Никодима и других хороших людей.

— Прежде так питерщиков качали, — рассказывал Ваня Яблоков парням и девкам, прислонясь к телеге и неторопливо скручивая цыгарку. — Отвезут какого ни взять сопляка в город, а он, стервец, лет через пять, глядишь, и прикатит с бубенцами на побывку али жениться... молодец-молодцом. Мужики и бабы тут как тут. Качать его, величать... Кто у нас умен, кто у нас разумен? Иван Степаныч, слышь, умен, свет-князь наш разумен... Ну там, розан мой, розан, виноград зеленый и всякое такое. А парень, стало быть, за честь благодарит, кошелек вынимает. Пожалуйста-с! На ведро вина отвалит и глазом не моргнет. Богач! На закуску — особо... Пир... дым коромыслом!

— Неужели, дядя Ваня, и ты на тройке из Питера приезжал? — спросил Костя Шаров, подмигивая девчатам.

— А как же? Обязательно, — небрежно ответил Яблоков, покуривая и сплевывая. Он важно и независимо оглядел молодежь, отставил ногу в сером разъехавшемся валенке, сонные глаза его лукаво блеснули. — Приедешь эдак на тройке чорт-чортом, — живо сказал он, усмехаясь, — шляпа соломенная, крахмале во всю грудь... тоисть с золотым набалдашником... все как полагается. Первым делом ребятне — орехов да конфет... горстями прямо оделяешь, не жалко. Ящик сундуки в избу таскает. Матка коровой ревет от радости... А ты стоишь барином, тросточку в руках вертишь да папироску жуешь... Ну, сбежится народ глядеть... все село сбежится. И пошло, как по-писаному...

— А говорили — ты, дядя Ваня, любил из Питера... пешечком ходить. Правда? — вкрадчиво спросил Костя.

Девки прыснули смехом.

— Вранье, — пробурчал Яблоков, сразу становясь по-обычному сонным и квелым.

— Ну? И про баню — вранье... что тебя никто мыться не пускал?

— Это почему же? — Ваня закашлялся табаком и боксом полез от телеги прочь.

— Да, говорят, насекомых на тебе было видимо-невидимо.

— Питерских!

— Такая вошь, что бросало в дрожь! — хохотала молодежь, загораживая дорогу Яблокову.

Лохматый и грязный, он топал своими валенками и лениво отругивался.

Выручил Яблокова Савелий Федорович. Он сердито растолкал парней и девок.

— Нашли, над кем зубы скалить, комсомолы сознательные. Постарше вас, можно и помолчать.

— Прикажете к вам в молчуны записаться? — насмешливо поклонившись, спросил Костя. — Ты, дядя Савелий, шуток не стал понимать.

— Али тоже... по тройкам соскучился? — зло ввернула словечко Катерина.

Гушкин хмуро отмолчался, устало, по-стариковски волоча ноги, побрел было вслед за Яблоковым, потом обернулся.

— По тройкам? Фу-у, старь какая!.. Автомобиля душа просит. Авось на свадьбу на машине прикачу... коли повешешь.

— Дождидайся, чорт косою... позову, я тебя на свадьбу, — тихо отозвалась Катерина.

Улучив минутку, Анна Михайловна тронула Семенова за рукав и отвела в сторону.

— Коля, забудь то самое... весной. Сделай милость, забудь!

— О чем ты, Михайловна? — удивился Семенов. — Я ничего не помню.

Но по смеющимся светлым глазам было видно, что он помнил.

— Ну, спасибо, Коля... от души!

— Да хватит об этом... Скажи лучше, как ты богатством решила распорядиться?

Не дожидаясь ответа, он задумчиво обошел вокруг избы. Кривобокая, почерневшая, она вращалась в землю крохотными оконцами. Курчавая березка росла на крыше в гнилой соломе. Под карнизом свисали зеленые сосули ползучего мха.

Накрапывал дождь. Непокрытая голова председателя смокла и потемнела. Он достал из кармана пиджака мятый картуз. Потом, чуть приподняв руки, сорвал с карниза моховую сосулю, ткнул плечом в трухлявый угол избы и негромко, но так, что все слышали, сказал:

— Урони... а не то я сам уроню.

— Да уж, видно, к тому дело идет... Придется рожать, — согласилась Анна Михайловна.

Вечером, подоив корову и накормив ребят, она ушла из дому. Дождь перестал, но тучи не расходились и темнело быстро. Лиловые потеплевшие сумерки мягко кутали избы, сарай, овины. От пруда вразвалку пробрались на ночлег гуси. Они не уступили Анне Михайловне дороги и гогочущей белой рекой медленно проплыли мимо нее.

Подождав, она прошла на площадь. Палисада под липами не оказалась. Железная ограда окружала могилу. И вместо дубового креста за оградой поднялся белый остроконечный камень.

Это ее удивило. „И не сказал...“ — подумала она про Семенова.

Анна Михайловна прошла за ограду и потрогала мокрый гладкий камень. Ладонь ее нащупала выпуклую звезду. Она выступала, как метина зажившей, но незабываемой раны.

Внизу, под памятником, словно пышная лесная кочка, буйно зеленела озимью могила. „И когда успели?“ — подосадовала Анна Михайловна. Все-таки она достала из-за пазухи платок, зубами развязала тугой узел. Собрала в горсть пшеницу и дрогнувшей рукой посыпала зернами озимь.

„Пташки склюют... помянут“.

Долго и бездумно сидела она на лавочке. Было слышно, как падали с лип на землю редкие капли.

Когда совсем стемнело, Анна Михайловна поднялась и молча низко поклонилась могиле, всему, что было для нее дорого.

#### XIV

Еще года за три до колхоза, осенью, Анна Михайловна посадила около свесей избы тополь. Петр Елисеев, должно быть, подчищая в палисаде разросшиеся липы и тополи, навалил целую кучу сучьев на дорогу. Анна Михайловна шла из капустника мимо палисады. Один сук, валявшийся в грязи, ей чем-то приглянулся. Голубоватый, толщиной в руку, он был прямой, как свеча. Она подняла сук, голый конец его обтесала топором, как вострят колья, и вбила в землю около огорода.

„Авось отрастет, — подумала она, — огурцам тень будет“. И тут же, в хлопотах по хозяйству, забыла про тополь.

Никто тополь не поливал, никто за ним не ухаживал. Стоял тополь осень и зиму серым омертвелым колом. И даже весной тонкие рогадки прошлогодних отростышей не подавали признаков жизни. Ветер качал мертвый ствол, сучья со звоном ломались, падая на луговину.

„Подсохло... не отросло... — решила Анна Михайловна, заметив однажды тополь, и пожалела свой попусту потраченный труд. — Убрать, пока не иструхлявился вовсе, — подумала она, — в изгородь пойдет али на дрова — все польза“.

Не успела этого тотчас сделать и только в мае, когда кругом все зазеленело, она, идя с гумна с поскребышамм сена в плетухе, снова вспомнила о тополе. Отнесла на двор осеннюю труху, взяла топор и опять пожалела на прасные свои труды.

Попробовала выдернуть тополь руками — он не поддавался. Подняв топор, Анна Михайловна ухватила свободной рукой за колючий отростыш, чтобы удобно было рубить. Вдруг сучок вырвался из ее руки и гибким прутком больно хлеснул по лицу.

— Ишь ты! — удивленно проговорила Анна Михайловна и, потирая щеку, отнесла топор в сени.

Несколько дней она наблюдала за тополем, видела, как слезала с дерева, точно чешуя, мертвая кора, и на матово-голубых сучках появились почки; вначале такие же, как сучья, голубые, сухие, потом они стали бурыми и липкими. На знакомом колючем отростыше, который ударил Анну Михайловну по лицу, она насчитала шестнадцать почек. Она скосвырнула одну и, пачкая пальцы, раздавила. Из душистой шелухи вывалился желто-розовый сморщенный листочек.

Ночью прошел дождь. Лежа на печи, Анна Михайловна слышала, как стучались в окно дождевые капли. А утром тополь сиял ярко-зелеными иголками, на луговине валялась бурая, как от орехов, скорлупа. Горячее солнце сушило мокрую, словно крашенную поднебесным лаком, кору тополя.

Анна Михайловна полюбовалась на тополь и снова про него забыла.

А тополь рос себе да рос на свободе. Осенью он цвел багрянцем и позолотой, быстро роняя тяжелый лист. Зимой он то жалостно, то непокорно гнулся на ветру, все глубже и глубже уходя в снег; а весной одевался густой зеленью и шумел, пугая воробьев в огороде. С каждым годом тополь становился выше и кудрявее.

Обдумывая постройку нового дома и решив не торопиться, скопить денег побольше, чтобы не стыдно было людей в гости звать, Анна Михайловна часто обходила свою старую одворину. Дом и двор, если их рубить просторно, по всему видать, не влезали в одворину — мешал огород. А занимать унавоженные, десятками лет копаные и перекопаные гряды было жалко.

„Такую загороду на новом месте нескоро развернешь. Огурцам и луку здесь вольготно... Опять же тополь придется рубить“, — недовольно думала Анна Михайловна, как-то подходя к огороду. Она взглянула на тополь и не узнала его.

Молодо и могуче высился тополь. Курчавая вершина его касалась крыши, а сучья раскинулись вокруг на добрую сажень. Невнятно лепетала глянцевиная листва.

— Вот так вытянулся... точно парень к свадьбе! — вслух подумала изумленная Анна Михайловна. — Поди ж ты! А я и не заметила.

Усмехаясь, она обошла тополь кругом. Запрокинув голову, оглядела его веселую тонкую вершину, попробовала пальцами обеих рук обхватить дерево и не могла.

— Ну, уж такой тополище я рубить не дам. И загороду не трону... Пускай одворину прибавляют, — решительно сказала она.

Как не заметила Анна Михайловна роста тополя, точно так же не заметила она, как выросли ее сыновья. Не заметила она и как подкралась к ней старость.

Волосы у Анны Михайловны побелели, она высохла, стала еще меньше, на лице прибавилось морщин. А ей казалось, что волосы у нее сроду такие, чуть с сединой, и толстой она никогда не была, и без морщин не жила. К тому же глаза у нее были попрежнему черные, горячие, вся она была живая, торопливая, легкая на ногу, как в молодости.

— Какие мои годы, — откровенничала она иногда с



Дарьей Семеновой в веселую минуту, — в мои годы еще ребят таскают.

Сыновья для нее были попрежнему малыми детьми, за которыми нужен глаз да глаз. И хотя они учились в семилетке, в каникулы косили Подречный дол, почти не отставая от мужиков, хотя голоса у сыновей ломались, грубели, особенно у Алексея, а плечи угловато раздвинулись, она, мать, не меняла своего взгляда и не чувствовала перемены.

А сыновья, мальчишки, уже стыдились париться при ней в избе, в печи, и, когда зимой колхоз отстроил баню, отказались вместе с матерью идти мыться. Они пошли одни, и она видела, как ребята, по давнишнему обычаю парней, нагишом выбегали из бани, розовые, в крапе березовых листьев, валялись в снегу, ухали и стремглав летели обратно париться.

— Долго ли простудиться, — ворчала мать, когда сыновья вернулись из бани. — Насмотрелись у больших и туда же... в снег, обезьяны. Задохлите только у меня, я вас за ноги и на улицу.

Под горячую руку она бралась, как и прежде, за веревку, награждала сыновей оплеухами и подзатыльниками, но сыновья не бежали под кровать или на голбец, они покорно принимали материно учение и посмеивались, точно им было и не больно. Вечерами, когда они гуляли по гумнам и задворкам около парней и девушек или сидели в избе-читальне и запаздывали, стоило ей выйти на улицу, разыскать их и приказать: „Марш домой, спать пора“, — ребята послушно, как телята, шли за ней, а если Михаил и ворчал иногда, так больше для фасона.

— Ты, Михайловна, хоть бы орала потише, — говорил он, переняв у Семенова привычку звать ее по отчеству. — Чай, мы не глухие, слышим.

— Знаю я вас, — отвечала мать. — Не скажи, так вы до свету прошляетесь.

— Ну и что ж?

— Ничего. Рано по беседам тереться. Вытри-ка сперва нос.

— Да он у меня сухой, посмотри, — дурачился Михаил. — Узнаешь знакомого?

Смеясь, Анна Михайловна щелкала его по носу.

После ужина, перед сном, Михаил любил „чудить“. Кудрявый, быстроглазый и насмешливый, он представлял, как мать разговаривает с бабами у колодца, как молится, истово прижимая ко лбу сложенные щепотью пальцы.

— Вот уж и врешь, пересмешник, — сердилась Анна Михайловна. — На вас, безбожников, глядя, и молиться-то разучилась.

Но это была неправда. Она вспоминала о боге часто, по большим праздникам ходила в церковь, хотя перестала говеть и, садясь за стол, иногда забывала перекреститься. Но, как прежде, молилась на ночь, твердо читая положенные по церковному уставу молитвы. Босая, на холодном полу, она подолгу стояла перед иконой, крестясь, шевелила губами, повторяя заученные с детства, непонятные, но как бы и нужные слова.

Сейчас, глядя на баловника Михаила, мать думала: хорошо это или худо, что сыновья растут без бога? Если послушать сыновей — выходило даже очень хорошо. Но ведь они несмышлениши. Что разумеют? Нет, без бога Анне Михайловне было бы как-то пусто.

Михаил представлял в лицах последнее колхозное собрание, Николая Семенова с его неизменным „сегодняшним днем“, тараторку-балаболку Куприянику, горячего, вечно недовольного бригадира Петра Елисеева, истоянно сонного Ваню Яблокова.

Стоит Ваня у ворот,  
Широко разинув рот,  
И никто не разберет —  
Где в рота, а где рот, —

шел Михаил сочиненную комсомольцами частушку, и мать от души смеялась, забывая все.

— Воистину, — говорила она, отдышавшись. — Дай ему волю в колхозе, он бы всех нас по миру пустил... А Петра не трожь. Петр Васильич справедливый человек... Ну, сердце горячее. Так ведь, поди, и у тебя не камень.

Преобразившись, Михаил, скосив глаза, угрюмо пробирался по избе, держась за стену. Шаркая подошвами и тяжело переставляя негнущиеся в коленях ноги, он выпячивал грудь колесом и задира л голову.

— Богородица, я не пью... я выпиваю... р-разница! —

говорил он, останавливаясь перед матерью. — Что есть человек? Навоз. Удд-обряет для других землю... Не хочу. Выпиваю — потому ура-зумел смысл... Коля Семенов м-меня в прорубь тол... кает. Иду, иду!

— Будет тебе, — отмахивалась Анна Михайловна, начиная снова сердиться. — Никогда мне Савелий Федорыч таких слов не сказывал. Жена при смерти — по неволе запьешь... с горя.

— Внимание! Алексей свет Алексеевич на уроке русского языка... отвечает на отлично, — продолжал баловаться Михаил, вертляво подскакивая к брату, молчаливо уткнувшемуся в книжку. — Порадуйся на сынка, Михайловна!

— Брось трепаться, — обрывал Алексей, захлопывая книгу и глядя исподлобья. — Пролетишь завтра на геометрии.

Михаил урчал и сопел, в точности изображая повадки брата. Дар передразнивать у него был необыкновенный. Во всем он видел смешное, слова не мог сказать без шутки.

„Легкая у Мишки будет жизнь. Так и пройдет ее со смешком да шуточками, — думала мать. — Да и то сказать, время ноне такое... веселое. Смеху-то и песен в деревне приметно больше стало“.

В школе Михаилу все давалось легко, он редко готовил уроки, надеясь на свою память и острый язык, и поэтому учился плохо. Алексею, напротив, все давалось с трудом. Лобастый, угрюмый, он потел и сопел за учебниками, но зато не было случая, чтобы учителя на него жаловались. Он, как в детстве, был молчалив, застенчив и мешковат. Любил книги, газеты и, когда мать просила, охотно читал ей целыми вечерами. Ему ничего не стоило завалиться с обеда спать и до утра не поднять головы с подушки.

Очень нравилось Алексею ладить что-нибудь по дому: то он чинил трехногую табуретку, то прибывал полочку на кухне или тесал из березового полена топорище. Однажды он загорелся страстью построить радиоприемник. Битый месяц точил по вечерам, стучал, пилил, вздыхая и посапывая. Он терпеливо сносил насмешки брата, говорившего, что заводы быстрее строят, и добился-таки своего. Деревянный неказистый ящичек с медными кнопками и затейливой верхушкой был торжественно установ-

лен на комод, рядом с зеркалом. Раздобрившись, Анна Михайловна дала немного денег на антенну и пару наушников, и в избе стало пищать, наигрывать и нашептывать хоть и не больно громко, не так, как в избе-читальне, но с некоторым усилением можно было кое-что разобрать, к удовольствию матери и еще большему удовольствию самого изобретателя.

Но, как ни любила мать Алексея, она видела, что он некрасив, увалист, тугодум, что за Михаилом, который всем в колхозе нравился, ему не угнаться. Может быть, поэтому она благоволила к Алексею, всем своим характером и чертами повторявшему отца, частенько пекла ему на особицу лепешку-другую с творогом.

Огорчало ее, что он боялся ласк и, кажется, совсем не любил ее, матери. Все, что она делала для него, сын принимал молча, равнодушно. Михаил, тот хоть кипятился, ругался, даже ревел от огорчения, если его лепешка оказывалась не так румяниста, как у брата, или костюм ему был куплен в кооперации похуже, Алексею же было все равно: лежали перед ним залитые сметаной сочни с творогом или ломти черствого хлеба, был ли переплачен лишний червонец или не переплачен за хромовые сапоги с модными высокими каблуками.

— Истукан... хоть бы поблагодарил мать, одно слово ласковое сказал! — кричала, рассердясь, Анна Михайловна.

Посапывая и диковато глядя голубыми глазами на мать, Алексей усмехался.

— Ну... спасибо.

— Тьфу! Точно клещами это спасибо из тебя тащишь. Да на что мне оно, коли не от сердца, чурбан?.. Вот погоди — помрет мать, спохватишься, да поздно будет.

— Такие молоденькие не умирают, — отвечал за брата Михаил и, подскочив, обнимал мать. — Па-азвольте, мадам, пригласить вас на тур вальса... Музыка, вальс ба-астон... Пра-шу!

Мать вырывалась и, тяжело дыша, оправляя седые волосы, ворчала:

— Бесстыдник, в мои ли годы плясать... Марш к колдцу за водой!

Зимой, простудившись, Анна Михайловна заболела. Превозмогая недуг, кашляя, два дня она бродила, кое-как управляясь по хозяйству, потом слегла. Ночью она

бредила, звала мужа. К утру жар спал, она попросила мороженой клюквы и слабым, шепелявым голосом приказала позвать Дарью Семенову, чтобы подоить корову и истопить печь.

— Я сам подою... все сделаю, — ответил Алексей, не глядя на мать.

Михаил сбегал к председателю колхоза, и тот погнал нарочного в город за врачом. Вернувшись, Михаил растерянно побродил возле постели матери, попробовал вымыть посуду, разбил тарелку, мать побранила его, и он, обидевшись, ушел в школу.

— Иди и ты, — приказала Анна Михайловна Алексею.

— Не пойду.

— Ой, выпорю, Лешка! Не заставляй вставать, — пригрозила она.

— Спи, знай, — грубовато ответил сын.

Анна Михайловна слышала из спальни, как он пошел во двор доить корову, как потом долго звенел поддоинником, неумело разливая молоко по кринкам, как затопил печь, неловко застучал кочергой и тихонько выругался, должно быть опрокинув горшок с водой.

Мать задремала и, кажется, опять бредила и спала долго, потому что, когда очнулась, в избе было сумеречно и она не вдруг разглядела сына. Алексей, горбачась, сидел у нее в ногах, по щекам его текли слезы. Не замечая, что мать проснулась, он теребил одеяло, разорвал его кромку и, выщипывая вату, совсем как маленький шептал:

— Не умирай... мама... не умирай!

— Дурачок, — ласково сказала она. — Испугался?

Алексей вскочил и отошел к окну.

— И не думал, — сказал он, не поворачивая головы.

— А что шептал?..

— Приснилось тебе, — глухо сказал он, повернувшись, выпрямился, заслоняя окно, и сердито, как бы пойманный в чем-то нехорошем, зазорном, закричал: — Да дрыхни, пожалуйста! Надоела ты мне... вот урок из-за тебя в школе пропустил.

Кутаясь в одеяло, Анна Михайловна беззвучно смеялась.

Вскоре привезли врача. Он был седенький, маленький, и Анна Михайловна сразу его узнала.

— А-а... беглянка! — тоненько закричал он еще с порога. — Что, опять в машину угодила?

— Никак хуже, — слабо сказала Анна Михайловна. — Внутри моя машина испортилась.

— Замолола, замолола! — фыркнул старик, сбрасывая тулуп и потирая руки. — Хоть бы чаем угостила, чем страсти рассказывать... Самовар, старуха, живо!

Он нашел у нее воспаление легких, насмешил и измутил, ставя банки, напился чаю, охотно отведал молока и согласился переночевать. Ему постелили на двух сдвинутых лавках, но он попросился на печь, развеселив этим Алексея, долго и пустяшно болтал с Михаилом, научил его, между прочим, свистеть новую песню „Не спи, вставай, кудрявая“ и потом так нахрапывал до десятого часа, что Анне Михайловне показалось — от одного этого храпа ей сразу полегчало. Уезжая, врач многословно и с удовольствием растолковал, что пить, что есть, как принимать лекарство, и строго-настрого приказал больной лежать в постели неделю. На прощанье он промурлыкал Михаилу арию Ленского, раскритиковал в пух и прах алексеев радиоприемник, выпил без малого полторы кринки молока и чуть не обидел Анну Михайловну, вздумав вынуть из кармана старинное портмоне, чтобы расплатиться.

Анна Михайловна пролежала четыре дня, ее одолели безделье и скука, и она, не слушая сыновей, пошла греметь по избе горшками и кринками с такой яростью, так накинулась на заглянувшего проведать ее Семенова, сердито требуя работы, что трудно было поверить, глядя на нее, будто она совсем недавно лежала при смерти. Болезнь точно скинула с плеч Анны Михайловны десятка полтора лет. А может, тому была и другая причина, кто знает.

## XVI

Первого мая, торопясь на демонстрацию, Алексей, одеваясь, оторвал пуговицу на вороте праздничной рубашки. Он попросил поскорее пришить пуговицу. Брат нетерпеливо насвистывал под окном, и не было сомнения — задержись Алексей еще на пять минут в избе, — Михаил уйдет на площадь один.

Понимая это не хуже Алексея, сама давным-давно одетая в лучшее шерстяное платье, мать живо разы-

скала иголку и подошла к сыну, стоявшему перед зеркалом. Она потянулась к вороту рубахи, стала на цыпочки и не могла достать ворота.

Статный, высокий, словно тополь, стоял перед ней сын. Непокорный русский вихор свисал ему на лоб.

Анна Михайловна прижала руки к груди. Не мигая смотрела она горячими, влажными глазами на сына ■ не узнавала его.

— Да сядь ты, долговязый. Как же я тебе пришью? — проговорила она.

Сын наклонился, и она неловко отогнула ворот рубахи. Руки у нее тряслись, иглолка не попадала в просторное ушко пуговицы.

— Скоро ли? — сдержанно спросил Алексей.

— Сейчас...

Пуговица была пришита, а мать все не отпускала ворота рубашки и, не отрываясь, смотрела то на мягкий пушок над верхней губой сына, то на кругую, белую, как кипень, шею, на которой билась голубая жилка.

Потом она уронила иголку, оттолкнула сына и вздохнула.

— Господи, как время-то летит...

— Одиннадцатый час, — ответил Алексей, взглянув с жорога на часы.

— Да не об этом я... — качнув головой, проговорила Анна Михайловна.

И весь день она не находила себе места. На митинге, у могилы, она подошла было вплотную к трибуне и, не дослушав речи Николая Семенова, ушла к бабам, невпопад отвечала им, часто озираясь вокруг, словно чего-то искала.

Ярко светило солнце. Звонко распевали скворцы на липах. Пламенели флаги и знамена. От солнца, кумача, нарядной одежды рябило в глазах. От речей, хлопков, песен стучало и замирало сердце.

Тяжело дыша и тревожно шурясь, Анна Михайловна бродила по площади. Она лишь тогда немного успокоилась, когда заметила среди молодежи русский вихор Алексея и услышала громкий смех, — взобравшись на ограду, Михаил, потешая народ, дирижировал шумовым оркестром девчонок и мальчишек.

Сразу после митинга состоялся традиционный выезд ■ поле. Не переодеваясь, празднично, народ двинулся с

песнями и флагами за околицу. Заливисто ржали откормленные за зиму кони, тархтели телеги, кричали ребята. А встречу народу, песням, телегам и лошадям из-за овинов выползли тракторы.

Анна Михайловна суетилась больше всех. Приказала трактористам начинать с ее участка, поругалась из-за этого с Петром Елисеевым и, настояв на своем, до устали бродила по загону, то и дело приседая и меряя глубину вспашки. А когда участок вспахали и он лежал перед ней, точно блюдо с ровно нарезанными ломтями свежесдобываемого хлеба, и ей больше нечего было делать, она пошла за тракторами на соседний загон.

— Выпила для праздничка, Михайловна? — спросил ее Семенов, когда они медленно возвращались с поля.

В кожанке нараспашку, в новых охотничьих, выше колен, сапогах, бритый и покрасневшийся, он шел, по обыкновению, с непокрытыми, запутанными ветром космами.

— В такой день не грех и выпить, — сказала Анна Михайловна. — Да я и без вина пьяна, — добавила она.

— Что так?

— И сама не знаю, — рассмеялась Анна Михайловна, вбирая в себя благодатное солнце, далекую невнятную песню и дыхание теплой земли.

— Споем, Коля? — сказала Анна Михайловна.

— Можно. Запевай, я подтяну козелком...

Анна Михайловна помедлила чуток, остановилась. У ног ее, в придорожной канаве, чуть слышно журчал ручей. Она осторожно прислушалась к нему и, ощущая, как ответно журчит что-то в груди, подступает к горлу и сладко давит, запела тихо и протяжно, еле переступая ослабевшими ногами:

У меня, у молоды, четыре кручины,  
Да пятое горе, что нет его боле...

— Вона! — удивился Семенов. — Я такой песни не помню.

— А ты послушай. Хорошая песня.. Я в молодости ее певала.

И она продолжала слабым, дребезжащим голосом петь грустно и проникновенно:



Первая кручина — нет ни дров, ни лучины...  
Третья кручина — молода овдовела,  
Четвертая кручина — малых детушек много,  
А пятое горе — нет хозяина в доме.

Песня совсем не передавала чувств, которыми была охвачена Анна Михайловна, напротив, она противоречила им, но песня напоминала что-то забытое-презабытое, столь далекое и в то же время знакомое, вдруг нахлынувшее с такой силой, что нельзя было не петь.

Я посею горе во чистом поле.  
Ты взойди, мое горе, черной черныбылью,  
Черной черныбылью, горькою полыньер...

почти шопотом закончила Анна Михайловна, и они долго шли молча, задумчиво шлепая по лужам. Потом Семенов закурил папиросу.

— Н-да-а... — протянул он. — Песня старая, а щиплет... — Он на ходу наклонился, мальчишески подмигнул и, обдавая запахом табака и водки, заговорщицки зашептал:

— Вишневка у меня припасена... Понимаешь? Запашистая. И опять же пироги Дарье удались. С одного взгляда дрожь берет... Заглянем?

Анна Михайловна зашла к Семеновым, выпила наливки, отведала пирога с мясом и яйцами, который действительно оказался очень хорош, и увела хозяев к себе в гости, запотчевала и долго не отпускала, точно боясь одиночества.

Когда же она все-таки осталась в избе одна, ее вновь охватило беспокойство. Был тот тихий предсмертный час, когда из углов наступает дымчатая мгла, каждый шорох беспричинно тревожит сердце, спать не хочется, а зажигать огонь еще рано. Анна Михайловна накинула на плечи вязаную шаль и вышла на улицу искать сыновей, чтобы звать обедать.

## XVII

Вечерело.

На западе, в груди белых облаков, точно на пуховых подушках, укладывалось солнце и полнеба еще горело полымем, а на востоке уже дрожала, как слеза, первая звезда. Отчетливо выступал на вечернем небе зелеными игольчатыми ветвями тополь, и легкая, прозрачная тень его, переломленная через изгородь, падала на гряды.

Становилось свежо. Кричали грачи на березах, угнездываясь на ночь. Из домов, мимо которых проходила Анна Михайловна, приглушенно доносились песни и гомон пировавших людей. На пустынной площади, у могилы, ребяташки забралась на трибуну и, подражая взрослым, болтали что-то и сами себе хлопали в ладоши. Со светелки избы-читальни была выставлена черная воронка репродуктора. Невидимый человек рассказывал, что делается на улицах Москвы. Анна Михайловна немножко постояла и послушала.

Где-то на задворках с ласковой грустью мурлыкнула гармонь. Анна Михайловна повернула на нее, но гармонь смолкла, и когда Анна Михайловна вышла за околицу, там никого не было.

„Точно в прятки с матерью играют... Вот не дам есть до утра, будете у меня во-время обедать приходиться“, — мысленно пригрозила она сыновьям.

Она устала от бесплодных поисков, вернулась к избе-читальне и присела на крыльце. Тут из проулка вырвался смех. Анна Михайловна обернулась и не поверила глазам своим.

Впереди оравы парней и девушек шли ее сыновья. У Михаила на ремне висела чья-то гармонь, он придерживал ее локтем, а другой рукой крепко прижимал к себе девушку. Чуть поотстав от брата, шел Алексей. Длинная рука его лежала на девичьем плече. Потом шли еще парни, девушки, и все парами.

И мать не посмела окликнуть сыновей.

Прижавшись в простенок крыльца, она проводила их ревнивыми и гордыми глазами.

„Паршивцы... Поди, уж целуются с девчонками... Женухи! — подумала она, усмехаясь.— С Ленкой-то, должно, Лизутка Кузнецова идет... Нет, та повыше будет. А у Мишки ровная... Да кто же это?“ И пожалела, что не успела как следует разглядеть в лицо сыновних зазноб.

Возвращаясь домой через площадь, она наказала ребяташкам покликать сыновей.

В этот поздний, праздничный обед Анна Михайловна была молчаливой, притихшей. Перед лапшей она налила сыновьям по стопочке, подумала — и перед жарким налила по второй.

— Без троицы дом не строится, — вкрадчиво напомнил Михаил, позванивая пустой стопкой.

— Ничего, построим и без троицы... Малы еще вино-то лакать, — сурово отрезала мать.

Помолчала, посмотрела на сыновей, да и расплакалась.

— Есть не могу, когда ревут... — проворчал Михаил, вылезая из-за стола. — Да перестань, мамка же!

Алексей рылся в шкафу, ища домашнюю аптечку.

— Голова у тебя не болит?.. Может, аспирину тебе? — смущенно спрашивал он мать.

— Валерьяновые капли... чучело! — подсказал Михаил и сморщился. — Да не вой, мамка, хоть для праздника.

— Ничего у меня не болит, — ответила Анна Михайловна. — А плакать мне не закажете... я, может, оттого и плачу, что пра... праздник у меня сегодня.

Сыновья стояли перед ней сконфуженные, не зная, что делать.

— Идите... так я... пройдет, — она махнула им рукой, утираясь передником. — Да идите же, говорят вам!

Сыновья ушли, она прибрала со стола, сходила во двор проведать корову, замесила тесто на завтра, разделась и, вешая лампу на стену, по обыкновению взглянула на портрет Сталина и, как всегда, вспомнила о муже.

„Не довелось Леше порадоваться вместе со мной на деток“, — подумала она в тихой печали и опять взглянула на знакомый портрет, украшенный красными лентами.

Просто и понимающе отвечал Сталин на ее горячий взгляд.

И она стала разговаривать со Сталиным.

— Ведь вырастила... видишь? Гулять пошли. Сыты, обуты и одеты. Чу, гармонь-то как наигрывает... Симпатий завели, подумай-ка!.. Кабы не советская власть да не колхозы, пришлось бы мне, горемыке, по миру итти, милостыньку просить. Ну, спасибо... Дом надо поскорей строить, не заметишь, как и женить время подойдет... Довелось бы встретиться с тобой, на свадьбу пригласила... Может, доживу, внучат потешу. А? Как думаешь?..

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### I

Славное выдалось лето в тот год, когда Алексей и Михаил окончили семилетку и стали работать в колхозе.

Еще не просох по оврагам и ямам рыжий ил, принесенный полый водой, еще распевали утром скворцы на тополе и молодой лист его был зелено-чист и мягок, только что зажглись радужным многоцветьем травы на волжском лугу, еще хоронились под кустами, в росистых местах, белые бубенчики ландышей и держался их тонкий, чуть уловимый аромат, как жаркое марево задрожало над полями, огородами, перелесками, запахло дурманником, гарью и пришло красное лето.

Палило солнце, и редкий день проходил без гроз. Но то были короткие, светлые грозы. Они налетали ниоткуда, шумели и гремели теплым ливнем и исчезали, словно таяли.

И невиданной стеной, сизой, почти вороненой, поднялись хлеба. Трава была по пояс и, отцветая, все еще росла, тяжелая, сочно-зеленая. Лен вытянулся такой, что все боялись, как бы он не полег, и придумали перегородить его жердями. В лесу появилось пропасть грибов, ягод. Ребятишки шутя набирали по две и по три сотни толстокоренных белых „коровок“, шапками и подолами таскали крупную сладкую землянику, синий, рано созревший гонобобель.

— Такого лета отродясь не помню, — говорила Анна Михайловна, и все соглашались с ней, что ничего подобного никогда не видывали.

Зерно наливалось прямо на глазах. По ночам, душным и темным, полыхали зарницы, словно кто-то мигал, приподнимая белесые тяжелые веки, и всматривался, как зреют хлеба. Они стояли неподвижно, туманно-белые, сонно склонив набухшие колосья. На рассвете набегал ветер, и хлеба, просыпаясь, шелестели, выгибали восковые стебли, пробуя выпрямиться, и снова никли, роняя с грузных усатых колосьев капли росы.

Для Анны Михайловны этот удачливый год был особенно отраден потому, что бок о бок с нею работали в колхозе ее сыновья. Они уже не подсобляли, как прежде в каникулы, а по-настоящему, как взрослые, косили и убирали клевер, ни в чем не уступая мужикам, а Семенов завел для них отдельные трудовые книжки.

— Ну, вот и прибыло нашего полку, — тепло сказал он матери. — Дождалась, Михайловна, помощников.

— Дождалась... слава богу, — она перекрестилась, принимая книжки и бережно заворачивая их в платок.

Она отнесла книжки в избу, положила вместе со своей на божницу, за иконы, где хранилось самое дорогое — два пожелтевших огарка венчальных свечей, с помятыми и пыльными бумажными цветами, свидетельства сыновей об окончании школы, мужнин кисет зеленого бархата, вышитый ею красным шелком еще в девичестве, бутылочка с крещенской водой и грамота, которой наградила Анну Михайловну колхоз за лен.

Любо было выйти матери с сыновьями в поле рано утром, по холодку, в горячую сенокосную пору. Еще с вечера сыновья наказывали матери будить их, как протрубит пастух. Но ей было жалко поднимать так рано ребят. Она доила корову, провожала ее до околицы, вернувшись, разливала тихонько молоко по кринкам, ставила одну, самую большую, на стол, осторожно доставала из горки два стакана и чашку, резала вчерашнюю подовую, с творогом, лепешку крупными ломтями. И только заслышав звонок бригадира, приневоливая себя и еще чуточку помедлив, будила сыновей.

Сонные, натываясь на табуретки, они одевались, немножко, прилику ради, плескались у рукомойника и, вялые, позевывая, лезли неуклюже за стол, неохотно пили молоко, чуть дотрагиваясь до лепешки. Мать присаживалась на краешек, мочила в чашке корки, сердито и ласково косясь на ребят. Сон бродил еще по их молча-

ливым розоватым лицам, сковывал руки, заволакивал дремотой глаза. Алексей, посапывая, тер липучие веки кулаками, а Михаил, как в детстве, когда его будили рано, слюнил ресницы и все-таки клевал носом.

— Работнички... нечего сказать, — ворчала мать, — продрать глаза не можете.

— Я выспался, — сипло отвечал Михаил. — Это у меня что-то в глаз попало.

— Хоть раз правду скажи!

— Правду и говорю.

Напившись молока, Алексей молча вставал из-за стола, шел во двор. Он брал с повети свою косу-литовку, оставшуюся после отца, прихватывал заодно косы брата и матери, взваливал на плечо и уходил первый. За ним торопился Михаил, засовывая на ходу в карман, по ребячьей привычке, недоеденный кусок ватрушки. Анна Михайловна доставала брусочницу, оселок, запирала избу и догоняла сыновей в поле.

За Волгой, окутанной молочно-голубым туманом, поднималось солнце. Огромное, красное, оно еще не жгло, а только ласкало и светило, заливая все ровным светом. И каждая росинка в этот добрый час сияла махоньким солнышком на сизых стеблях колосющейся пшеницы-зимовки, на придорожной метелке, испачканной дегтем, на разлапой густо-зеленой ботве отцветающего картофеля.

Слышно было, как кричал на коров и хлопал кнутом пастух на дальнем лесном выгоне. За рекой, на той стороне, кто-то запоздало отбивал косу, сталь звенела тонко, прозрачно, как падающая вода.

Пожимаясь от свежести, позевывая, сыновья, сутулясь, шли навстречу солнцу. Косые дымчатые тени падали от них на обочину дороги, к ногам матери. Мать замедляла шаги, чтобы не наступить на эти светлые качающиеся тени.

По дороге встречались девушки, и сон слетал с сыновей.

Степенно трогая кепки, ребята здоровались, сходились по пути к покосу с другими парнями, и у них начинался разговор, понятный им одним.

Анне Михайловне приятно было кланяться с девушками, с их матерями, отцами, слушать болтовню и смех молодежи, примечая, как зубоскалит Михаил с Настей Ивановой, хохотуньей, такой же маленькой, черненькой,

как и он, и всегда опрятно одетой, как молча переглядывается украдкой второй сын с Лизуткой Кузнецовой и та, высокая, тонкая, покраснев, надвигает на глаза кумачевую косынку.

А когда подходили к клеверам, народ, торопясь, рассыпался по участку и натачиваемые косы пели жаворонками, Михаил подлетал к Петру Елисееву, дурачь, брал под козырек.

— Товарищ командарм, бригада имени Анны Михайловны Стуковой на позиции, — докладывал он. — Прикажите начать наступление!

— Наступай, — одобрительно кивзя, распорядился Елисеев, пробуя закорузлым пальцем лезвие косы, точно саблю. — Да смотри, ног не сбкоси.

— В атаку! За мно-ой!.. — пронзительно кричал Михаил и, держа косу наперевес, как ружье, пригибаясь, бежал на край загона.

Алексей давно был там. Ребята спорили, кому закашивать первому.

— Да не все ли равно? — горячился Михаил. — Он меня всегда задерживает. Я быстрее кошу.

— По макушкам, — усмехнулся Алексей.

— Кто?

— Ты. Половину на корню оставляешь.

— Это у тебя под носом остается.. Размахнешься в сажень, а скосишь вершок.

Алексей плечом отодвигал брата, плевал на ладони, ловчее перехватывая косье. Точно пробуя косу, он осторожно скашивал вокруг себя и потом, откинув наотмашь правую руку, не сгибаясь, делал первый свистящий полукруг. Клевер покорно ложился охапкой ему под ноги, осыпая росу с мохнатых сиренево-красных головок, а старинная коса с золотым полустертым клеймом, длинная и узкая, свистя, делала второй размашистый полукруг, третий...

— Догоняй... богатырь, — отрывисто кидал Алексей брату, и тот, ворча, шел следом по проколу, поспешно и коротко таяя пяткой косы-хлопуши. Вал у него выходил жидкий, неровный, с непрокошенными краями.

— Не торопись... чище коси, — наставляла Анна Михайловна, идя последней и привычно, не сильно и не часто, но споро махая косой. — Ровнее бери... не дергайся.

— Как бритвой брею.

— Оно и видно, — отзывался Алексей, оглядываясь. — Тебе бы этой бритвой лысых брить.

— Пятки береги! — орал Михаил, нагоняя брата.

Умаявшись и попрыгав, ребята косили спокойнее и лучше. Даже у задорного Мишки ряды выходили ровные, крупные и почти без пропусков.

Останавливаясь точить косу, мать подолгу любовалась на сыновей.

„Господи, ничего мне больше не надо, — думалось ей. — Наглядеться бы на них досыта и умереть“.

Горячо и благодарно окидывала она поля, отягощенные зеленью; облитые солнцем, они раскинулись привольно, млели и убегали под гору одной сплошной скатертью. Мать шурилась на блеснувшую из тумана серебряной подковой Волгу, на марево, начавшее струиться над головой. Прислушивалась к шороху и свисту кос, к говору народа, налетевшего на клевер, как пчелы. Опять оглядывалась на сыновей, на просыхающие светлые валы, по которым ступали ее босые ноги. Она смотрела на весь этот знакомый и такой хороший мир, в котором жила, и не могла оторвать глаз от него.

— Михайловна, не отставай! — кричал сын.

Глубоко вздохнув, она наклонилась, чтобы прихватить горсть скошенной травы, обтереть косу, и, жадно вбирая хмельной, щекочущий ноздри, запах, примечала — сквозь сухую, колкую щетину срезанных стеблей пробивались от земли бархатные крестики молодого клевера.

— Пострел какой, — бормотала она, — растет... Все растет.

А когда солнце начинало припекать, к ней подходил который-нибудь из сыновей и говорил:

— Ты, мама, иди... топи печку. Мы зараз одни управимся.

— Управимся, — подтверждал другой. — Припасай побольше лепешек да помасленистей.

— Нароботаете, так припасу, — усмехалась она и не шла, а летела домой, легкая, проворная, чтобы во-время настряпать всего вволю сыновьям.

Она топила печь каждый день, и всегда в печи не хватало места для противней, горшков, кринок и плошек. Ребята возвращались с поля обожженные солнцем, голодные, ели, как пыльщики, только поворачивайся мать, и она радовалась, подставляя им грудку горячих румя-



нистых сочней, блюдо картошки, плавающей в сметане, противень с дробленой, ноздреватой, истекающей маслом и ароматным обжигающим паром.

Больше чем прежде наводила Анна Михайловна чистоту и порядок у себя и жаловалась, что в избе повернуться негде, печь мала, в сених второму ларю места нет, — видать, пришла пора новый дом ставить.

## II

Сельский совет не прибавил Анне Михайловне земли к старой одворине (прибавлять было не из чего, кругом застроено доотказа), а отвел новую, крайнюю к шоссе, идущей от станции в районный город. Всем взяла новая усадьба: и простором, и удобствами. Зеленая луговина начиналась пригорком и отлого, узорчатым ковром дикой кашки, зверобоя, Аграфены-купальщицы и одуванчиков, бежала к шоссе. Место было сухое, веселое.

Однако Анна Михайловна долгое время и слушать не хотела про новую одворину, грозилась пойти в райисполком жаловаться на сельский совет.

— Как на отшибе... Поживите сами! — гневно кричала она в сельском совете. — Что я, прокаженная или подкулачница какая, чтобы меня с родного места выселять? У меня на старой одворине и колодец рядышком, и тополь, поди, как вымахал, и капуста близехонько... и земля в огороде — чистый чернозем, и на гуменнике я по три воза гороховины каждый год накашиваю... Не тронусь я, вот и весь сказ!

Убеждали ее всем правлением колхоза. Говорили, что обиды никакой нет, строится не одна она: где же старых одворин напасть? И так скученность в селе страшная, беда, как пожар случится. Колодец ей выроют, луговину рандалем изрежут да многолетних трав насеют. Опять же, слава тебе, в колхозе на трудодни клевера много дают, за глаза хватит на корову.

— Смотри, не пожелает новый дом на старой одворине стоять... убежит на новую усадьбу без твоего спроса, — шуточно говорил Гуцин. — Полно за гнилушки держаться!

— Да ведь курица, и та свою жердочку любит, человек и подавно, — отвечала, сердясь, Анна Михайловна.

— Э-э, ноне и куры без нашеста пречудесно обхо-

дятся. В клетках сидят, по два раза, говорят, в день несутся... благо дыпят не выводить. Облегчение труда! Постой, скоро и людей в инкубаторах родить будут... Везде перемена жизни.

— Не желаю я никаких перемен.

— А нас и не спрашивают, — смеялся Савелий Федорович, ласково кося глазами.

Он за последнее время опять повеселел, зубоскалил, бросил пить, хотя жене его лучше не стало, кровь у нее горлом шла. Савелий Федорович возил ее по докторам, да без толку, все говорили, что недолго бедняжке осталось жить на этом свете. Наверное, притворялся Савелий Федорович и веселостью своей, как мог, скрашивал последние дни близкого человека. Когда бабы, жалея, спрашивали, как он успеваает справляться по колхозу и дома, он коротко отвечал:

— Приспособился.

— Может, белье тебе постирать али пол вымыть? — предлагали бабы.

— Да у меня он, как паркет, сверкает, пол-то, — подсмеивался Гущин, — и бельишко чистое. Глянь на рубаху, — он живо и весело распахивал пиджак, — которая баба так выстирает и выгладит?

— Золотые у тебя руки, Савелий Федорович, цены им нет, — и бабы качали головами, забывая в такие минуты все нехорошее, о чем говорили за глаза про Гущина.

— Не жалуясь, работающие, — скромно соглашался Гущин. — Да вот не всем они нравятся, мои руки.

Анна Михайловна догадывалась, на кого намекает Гущин. Действительно, Николай Семенов попрежнему не любил завхоза, наказывал ревизионной комиссии почаще проверять амбары и житницы и сам, словно ненароком, взвешивал некоторые мешки, когда весной Савелий Федорович отпускал по бригадам семена.

— Перемена — старому замена. Все к лучшему, — уговаривал Гущин Анну Михайловну, по доброте, что ли, своей сочувствуя чужому, хотя бы и маленькому, горю. — По дому — и усадьба. Богатое гнездо совьешь... приспособишься.

— Ты-то, видать, ко всему горазд приспособляться.

— А то нет? — осклабился Гущин. — Уж мне ли сладко, а смотри я каков! Потому верю: где ни жить, как

ни жить — солнышко человека везде согреет. А тебе чего надо? Выезжай из проулка на простор.

— Нет, нет, — твердила свое Анна Михайловна, — не тронусь я, что хотят со мной делают.

Сломили ее сыновья. Они обещали пересадить тополь на новую усадьбу и до единой горсти перетаскать чернозем из огорода. Все-таки жалко было расставаться Анне Михайловне со старым, обжитым местом. Она даже всплакнула тайком от ребят.

Лесничество еще зимой отвело делянку поблизости, в сосновой роще. Вначале Анна Михайловна положила строить дом размером восемь на девять аршин, но, взглянув на сваленные сыновьями бревна, длинные и ровные, точно телеграфные столбы, она раззадорилась и прибавила по аршинчику, потом прибавила по второму и, наконец, посоветовавшись с Семеновым и сыновьями, окончательно решила ладить избу на целых двенадцать аршин по фасаду и без малого восемнадцать в длину, с прирубом, сенями, светелкой и двором на два ската.

Тес пилили пришлые, а срубы взялся рубить, ставить и отделявать новый сосед по одворине хромой Никодим с зятем. Цену он назначил подходящую, без запросов, был мастер на все руки, славился плотницкой честностью. К тому же, Анна Михайловна, угостив по обычаю Никодима и его зятя вином, выговорила за ту же плату сладить ей из старья хлев для поросенка и погреб — словом, в колхозе все утверждали, что она не прогадала, дешевле плотника не порядишь.

Первый раз в жизни строилась Анна Михайловна. Ее волновала каждая пустяковина: не мелки ли ямы под фундаментом, ладно ли легли камни, да нельзя ли под средний переклад для прочности лишний камешик положить. Подбирая щепки, она подолгу ревниво и счастливо следила за плотниками, как они тесали бревна. „Был бы жив Леша, — думалось ей, — не пришлось бы чужих нанимать... сгροхал бы сам за милую душу“.

Зять Никодима, рослый, плечистый молчун, рубил крупно и торопливо. Он высоко заносил над головой топор, со свистом опускал его, и щепы, брызгая медовой смолой, с треском отскакивала, как тесина. Обтесав бревно, зять, не глядя, переходил к другому, плевал на ладони и без передышки вскидывал звенящий топор.

Старый Никодим, напротив, рубил мелко и неспеша. Отставив больную ногу и припав на колено здоровой, он, покашливая и помаргивая красными, слезящимися глазами, тыпал топором, словно сечкой капусту. Топор он держал в маленьких, точно детских, руках почти за самый конец и как-то вкось — вот-вот, кажется, выронит. Потяпает Никодим, утрет глаза рукавом, смахнет заодно и под носом и опять безруко тыпает.

Анне Михайловне было жалко смотреть на Никодима. „Ай, батюшки, никак я прогадала на плотнике!.. — пугалась она. — Немудрящий попался. И за что только хватают его?“

Но пригляделась и успокоилась. Не выпал топор из сморщенных рученок Никодима, и, дивное дело — розовой послушной лентой беспрерывно разматывалась щепка, и бревно пело под топором.

Когда бревно было обтесано, Никодим вздыхал, точно сожалел, что так рано окончилась работа. Ковыляя, обходил бревно, часто и нежно постукивая обушком.

— Как в аптеке... Любота! — сиповато говорил он и присаживался понюхать табачку из берестяной, замысловато открывавшейся тавлинки.

Дело у него спорилось незаметно. Вечером, считая обтесанные им и зятем бревна, он неизменно заключал:

— Любота! Обогнал я тебя, зятек... Ну, соседка, припасай литр, будет у тебя вскорости дворец советов.

— За литром дело не станет, два припасу, — благодарно отвечала Михайловна, нагружая пахучей щепой корзину. — Спасибо, Никодимушка, как для себя стараешься. Горазд ты бревна тесать, как я погляжу.

— Ты спроси, на что я не горазд? — посмеивался старик, нюхая табак и блаженно чихая. — У тебя, соседка, учусь. Я всегда баял: старый человек не выдаст, старый человек — любота.

— И не говори, — охотно соглашалась Анна Михайловна. — Откуда только силы берутся, сама не знаю. Вот к примеру, изба эта... Да какая! Почистище исавых хором будет. И не думала, не гадала такой домщице сграть.

Ей нечего было желать больше. Сыновья жили вместе с ней, за лето они, послушные, работающие, загорели и вытянулись, скоро можно было о свадьбах думать. В колхозе все шло хорошо. Новый дом выходил богатый.

И она, мать, хотела лишь одного — чтобы эта незаметно сложившаяся, тихая и ладная жизнь так и продолжалась день за днем, год за годом.

Но как-то получилось так, что этот обжитый порядок часто нарушался. Сама того не замечая, Анна Михайловна первая ломала размеренную, нравящуюся ей жизнь. Ухаживая за льном, она забывала порой дом, не успевала управляться по колхозу, все делала рывком, наспех и сердилась на себя. У нее не хватало времени побыть с сыновьями лишней вечер вместе, она прямо разрывалась, чтобы успеть накормить их, постирать, пошить и во-время поспеть на работу.

Конечно, она имела теперь право немножко и отдохнуть, трудодней в сыновьих книжках за глаза хватало бы, но она привыкла быть на людях, не любила сидеть сложа руки — для них всегда находилось в колхозе неотложное дело. Она не могла пропускать собраний, потому что и к ним привыкла, хотела все знать и все принимала близко к сердцу.

Но чаще и больше ее порядок нарушали сыновья. Они оказывались вечно занятыми по горло, даже по праздникам. У них завелись свои, непонятные для матери, интересы, какие-то нагрузки, обязанности, а им еще надо было и погулять, повеселиться, и они всегда торопились, прибегали домой только есть и спать. По всему видать, сыновья отдалялись от матери, и это было страшно.

— Шляетесь неведомо где и незнамо почто, — ворчала Анна Михайловна, когда у нее выдавался свободный вечер, ей хотелось посидеть с сыновьями, посмотреть на них, о чем-нибудь поговорить, а они, как нарочно, являлись под утро. — Остыло все в печи... Разогревай вот вам, полуношникам.

— А мы и холодное съедим. Проголодались — страсть... — говорил Михаил и сам лез в печь, гремя заслоном.

— Хоть скажите матери, куда вас пес носил? — спрашивала Анна Михайловна.

— А на станцию, — коротко бросал Алексей. — Кустовое совещание комсомола.

— Можно было и не ходить.

— Да ведь ты сама на собрания ходишь, — напоминал из кухни Михаил.

Мать не сразу находила, что сказать.

— То я... Сравнил небо с землей. У меня сурьезные дела.

— Ну, и у нас дела... еще посерьезнее твоих. Молока-то нам оставила?

— Оставила, — вздыхала мать, забираясь на печь. В сенях, в ведре с водой, кринка стоит.

Сквозь дрему она слышала, как ребята, постукивая ложками, хлебали молоко и вполголоса разговаривали; вскоре трубил пастух, и они, не спавши, уходили на работу.

В ненастные утра, когда в колхозе делать было нечего, Алексей, выспавшись, охотно помогал матери в стряпне. Михаил уходил в лес за грибами или по ягоды. Анна Михайловна не торопилась и вдосталь наговаривалась с сыном. Собственно, разговаривала больше она одна — обо всем, что слышала от баб, что приходило в голову, сын, по обыкновению, только хмыкал, поддакивал или не соглашался, но, бывало, и он сказывал одно-два словечка про что-нибудь свое, молодое.

Ему нравилось раскатывать скалкой белое тесто и делать сдобники. Он брал стакан и искусно резал им крутое, желтое от яиц и сметаны, тесто на кружки, полумесяцы, звезды, накалывал вилкой замысловатые узоры, посыпал мелко истолченным сахаром, и печенье выходило первый сорт, как покупное, даже красивее и вкуснее.

Михаил приходил из лесу прямо к чаю, ел да похваливал:

— Ай да стряпуха! Придется тебе, Михайловна, скоро в отставку подавать. Сынок-то, гляди, на твое место у печки метит.

— Ешь знай, — бормотал Алексей недовольно. — Подавишься.

— Невозможно. Прямо во рту тают... без всякого вредительства, — не унимался Михаил, уписывая сдобники за обе щеки. — Тебе, братан, кондитерской бы заправлять... Пирожными командовать, а? Проси путевку в райкоме. Станешь инженером кулинарных дел.

— А что ж, худо ли? — защищала Алексея мать. — Вон Глаша Семенова на повара учится.

— Ей к лицу, — Михаил презрительно вымыгал носом. — Сама — как булка рассыпчатая.

— А вам что надо?

— Нам, Михайловна, надо многое.

И верно, все, что сыновья имели, что делали, — им вроде как было мало. Они постоянно казались недовольными, хотели чего-то большего, куда-то стремились.

— Чего вам нехватает? — спрашивала, сердясь, Анна Михайловна. — Кажись, сыты... одеты не хуже людей. Вчера Коля Семенов вычитывал — трудодней у нас, слава тебе, за тыщу перевалило... Вот осенью я по новому костюму справлю... Ну, чего вам еще?

— Ничего, — вяло отвечал Алексей. — Мы не жалуемся.

— А фырчите, вижу!

— Эх, Михайловна, не единым костюмом жив человек, — насмешливо и укоризненно говорил Михаил, потряхивая кудрями. — Глаз у тебя близорукий. Скучно слушать.

— Уж какая есть. Близорукая-то, скучная мать жизнь на вас положила. Сколько горя хлебнула, пока выпоила-выкормила эдаких... толсторожих... А они все матерью недовольны.

Алексей, хмурясь и кусая ногти, пробурчал:

— Тобой мы довольны.

Помолчал и, глядя в сторону, добавил:

— Мы собой... недовольны. —

— Господи! — изумилась Анна Михайловна, тревожно вглядываясь в сыновей. — Да почему?.. Али вы уроды какие? Рук нет, ног? Али вам, ученым, не по носу работа в колхозе? Чистенькой захотелось? Да в прежнее время одна бы вам дорожка — в пастухи, трешница за лето. Свины вы, вот что... зарылись...

Ребята отмалчивались, и это, пожалуй, было хуже всего. Они словно таили что-то от матери. И ей становилось обидно.

Тайком она присматривалась к сыновьям, прислушивалась к разговорам их, разгадывала разное, да без толку.

Одно приметилось ей, несомненное и горькое: у ребят все меньше и меньше было промеж себя ладу. И хотя они работали и гуляли чаще всего вместе, дома шептались доверчиво, сидя на крыльце или забравшись с ногами на лавку, куска не съедали врозь и спали

попрежнему рядышком, на старой деревянной кровати, — однако на людях они словно тяготились друг другом, насмехались, как чужие, придирались ко всякой пустяковине, спорили и даже в открытую ругались. Но то были не ссоры, как в детстве, а что-то другое, чего Анна Михайловна понять не могла.

— И чего вы поделить не можете? — не раз горько спрашивала она ребят. — Авдотья сказывала, опять на народе поругались... Разве хорошо... Каково матери-то слушать?

— Я этой Куприянихе отрублю как-нибудь язык, — грозил Михаил, переглянувшись с братом и мрачно насвистывая. — Больно длинен вырос у балаболки... А ты развесила уши!

— И развешивать нечего. Видно мне... Ровно вам стыдно, что вы братья родные.

— Ну, поехала... — бормотал глухо Алексей и старался уйти из избы.

— Нет, постой! — мать загоразивала ему дорогу, пылливо вглядываясь. — Сказывай напрямик — что у вас там вышло? О чем ругались?

— А мы и не ругались, — усмехался Алексей, спокойно выдерживая разгневанный взгляд матери.

Анна Михайловна отворачивалась, махнув рукой.

— Пес вас разберет... Что и за детки ноне пошли, одно мученье!

### III

Богатое догорало лето.

Цвели и влажно шумели листвою и пчелами старые корявые липы. Выкидывал голубую тяжелую броню овес. Завивалась в курчаво-непокорные зеленые кочаны капуста. В зное и грозах спела рожь, светлая, напоенная доотвалу дождем и солнцем. Коленчатые горячие стебли ее не ломались еще в руке, гибко гнулись, как тонкие серебристые прутья ивы. По сухим скошенным взгорьям лежал густой загар, а в тени, по впадинам, в зарослях орешника и малины, поднималась взъерошенной гривой молодая трава и украдкой снова распускались Иванда-Марья.

Все кругом было в самой поре роста. Душисто пахло в огородах укропом, огурцами и сырой землей, на гумнах, возле сараев, был пролит крепкий настой свежевысу-



шенных трав, а с ближних полей и лесов тянуло тем тонким, знойным дымком, в котором больше сладости, чем горечи, и не разберешь: то ли это пахнут, загорая, пшеница и рожь, то ли на самом деле где-то далеко-далеко жгут смоляной костер и он струит жаркое благовоение.

Но побледнело, словно выцвело за лето, небо. В болоте, по кочкам, на седом мху, мелко простроченном черными нитями ягодника, стыдливо зарумянилась в полщечки клюква. Неуловимо укорачивались дни, а ночи прибавлялись, теплые и темные. И однажды, идя селом, мимо могилы, Анна Михайловна заметила, как отделился от липы круглый, еще почти зеленый, с пушисто-желтым цветком лист, тихо покружился над ее головой и неслышно упал под ноги, на луговину. Анна Михайловна наклонилась и подняла лист. С цветка слетела встревоженная пчела, недовольно прожужжала над самым ухом и взвилась вверх, в густую зелень и медовую дветень липы...

Поспел лен, высокий, кудрявый, точно вылитый из золота. Горячий полдневный ветер играл червонными головками льна, они звенели бубенчиками. Был дорог каждый час, и в колхозе все, от малого до старого, помогали теребить лен.

Бригадир поставил Алексея к конной теребилке, и Михаил, выдирая с матерью лен руками, не скрывал зависти. Он словно бы и петь и свистеть стал меньше.

— Везет долговязому, — ворчал он, ожесточенно захватывая полными горстями мягкие стебли и с треском вырывая их из сухой земли. — Просил дядю Петра разрешить по очереди с Лешкой работать. Ни в какую! Обабдел, видать, с жары, не понимает ничего. Знай башкой вертит да ус кусает... шатун одноухий.

— Перестань! — строго приказывала мать. — Лен-то в чем виноват? Гляди, сколько головок оборвал. Прогоню с поля.

Михаил замолкал, теребил прилежно, но, связав сноп, опять начинал скулить:

— Уж хоть бы умел Лешка как следует лошадьми править... Смотреть противно, до чего неловок. Правой вожжи от левой не отличает.

— Полно молоть не дело.

— Да погляди сама. Над ним же лошади смеются!

Когда Алексей, важный, не замечая брата, проезжал мимо, тот, не вытерпев, просяще кричал:

— Дай разок прокатиться... Эй, братан!

Кони с храпом пронеслись рядом, обдавая Анну Михайловну горячим дыханием и седой пылью. Не оборачиваясь, Алексей коротко кидал баском в пространство:

— Сломаешь... нельзя... баловство.

— Я потихонечку... честное комсомольское, потихонечку! — умоляюще выкрикивал Михаил, бросаясь следом за теребилкой. — Ну, что тебе стоит? Дай объеду загончик... Ну?

Гремя, теребилка летела по льну, к ногам Михаила падали ровные кучки золотых стеблей. Приминая, он ступал на них и, сунув по-мальчишески два пальца в рот, оглушительно, зло свистел.

Кони шарахались в сторону, Алексей, туго натянув вожжи, грозил брату кулаком.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы колхоз не получил второй теребилки. Михаил чуть не плакал, выпрашивая у Семенова позволения работать на машине.

— Что, заело ретивое? — посмеялся председатель, выслушав жалобную, горячую и бессвязную бормотню Михаила. — Ладно. Бери теребилку и действуй... Покажи брату, что не один он парень на деревне.

— Я ему, медведишке, жирок поспущу, — пообещал Михаил.

Анна Михайловна, присутствовавшая при разговоре, с сердцем сказала Николаю Семенову:

— Ты чего их науськиваешь... как собак? И без тебя грызутся, не приведи господь.

— Зубы растут. Это хорошо, — довольно усмехнулся Николай.

— Да что же тут хорошего?

— Побольше бы такой грызни, Михайловна, вот что. Пользительна она для дела... Ах, жалко в тракторах нам отказала эмтеэс. Махнули б денюг в три дня... Вишь ты, бросили машины в отстающие колхозы. А разве мы не отстаем? Горит лен... Вся надежда на твоих парней.

Мать с сомнением покачала головой, поджимая губы. Непонятен ей был Семенов, непонятны стали сыновья.

Михаил живо приловчился к теребилке и летал по загону, словно в масленицу на праздничном кругу. Сидя ухарски, боком, сдвинув на курносый нос лакированный козырек белой замаранной кепки, он, маленький, легкий, чуть шевеля вожжами, горячил коней свистом. Пара вороных, прижав уши, неслась по полосе, как по гладкой дороге. Новенькая необкатанная теребилка визжала и раскатисто гремела. По этому безудержному грому мать, будучи в поле, не взглянув, безошибочно определяла, где сегодня работает Михаил.

Ольга Елисеева, посаженная к Михаилу приемальщицей, не успевала сбрасывать ползущий по транспортеру лен.

— Рученьки отнялись, — жаловалась она Анне Михайловне. — Я ему кричу: „Миша, погодь ты маленько, дай вздохнуть“. А он знай насвистывает... Уморил до смерти, песенник.

По-иному работал Алексей. Его старая, порядком изношенная теребилка жалобно скрипела, когда он, сутулый, грузно опускался на сиденье, заботливо подобрал ноги. Молча тронув лошадей, он не давал им сразу полного хода, сдерживал, сосредоточенно и угрюмо приглядываясь ко льну, буграм и камням. Наклонясь, он вслушивался, как воркуют смазанные чугунные шестеренки, всматривался, как ползет по ремню лен, ровно ли, не обрывает ли головок, и только со второго заезда давал коням волю.

И не стало у ребят иного разговора дома, кроме как о льне.

— Сколько натеребил сегодня? — небрежно спросил Михаил за ужином на третий день работы.

— С меня хватит, — усмехнулся Алексей.

— Значит, старушка твоя не развалилась еще?

— Поскрипывает. На молодую не сменяю.

— Но-о? — удивился Михаил, озорно прижмуривая левый глаз и подмигивая матери. — А может, уступишь? Моя молодка чтой-то ленится. Сегодня обстряпал всего-навсего... гектаришко. У вас?

— С четвертью.

— Заливай!

— Пожара нет.

Михаил перестал есть. Видела Анна Михайловна, как потемнели от волнения его глаза.

— Нет, без шуток. Сколько? — пристал он к Алексею, раздраженно отодвигая от себя локтем сковородку с шипящей яичницей. — Скажи по-честному.

— По-честному — гектар<sup>1</sup> с осьмой.

Брат так и подскочил, шлепнув обеими ладонями по столу.

— Ох, косолапый! У меня... три четвертки.

„Соперничают... — неодобрительно подумала мать. — Диви б чужие... И что им надо? Я этому Семенову за выдумку...“

— Будет вам, — вскинулась она на сыновей. — Что вы из работы забаву строите? Попортите мне лен... Ешьте яичню, пока горячая. Спать пора.

— Ну, и дрыхни, коли тебе охота, — огрызнулся Михаил, водворяя сковороду на место. — Мне от этой забавы сна нет.

Анна Михайловна постучала по сковороде вилкой.

— Как ты с матерью разговариваешь, стервец? Веревки захотел? Получишь... Я не посмотрю, что ты семилетку кончил и с девчонками хороводишься, отлупую за милую душу.

— Михайловна, пожалей! — жалобно и смешно закусился сын. — Не туда сослепу, извиняюсь, целишь. Ты веревкой вздуй дядю Петра. Он Ленке понарошку сотки приписывает. Я зна-аю... Соньку свою пучеглазую сосватать хочет. Вот и копит жениху трудодни.

— Мели, Емеля, — сердито сказал Алексей, уходя в спальню.

— Ничего не остается другого делать. Мелю, братан, на все тридцать два зуба, без передыху. Плесни молочишка стакан, Михайловна.

Забираясь последним на кровать, к стенке, Михаил, перелезая через брата, навалился на него и притиснул. Тот не остался в долгу. Они возились как ни в чем не бывало, свалили на пол одеяло, подушки. Старая деревянная кровать стонала под ними, того и гляди, развалится. Ребята баловались, пока Анна Михайловна не закричала на них с печи.

Угнездившись, Михаил тихо спросил брата:

— Как тебя угораздило... гектар с осьмухой?

— А вот так и угораздило. Поменьше свисти на лошадей.

— Боишься — перегоню?

— Нет... угробишь теребилку.

— А-а... — протяжно, сладко зевнул Михаил. — Не твоя работа.

Помолчав, совсем сонно пробормотал:

— Чур... за тобой... очередь... будить.

— Ладно, — согласился Алексей, потягиваясь. — Сташу за ноги ровно в три... как по будильнику.

— Ну, спи...

— Сплю.

„В гнезде — голуби, на работе — чистое ястребье... Вот и пойми их, — думала, засыпая, мать. — Чую, теперь не жди добра“.

Но добро это само лезло ей в глаза. Глядя на ее сыновей, девчонки задорнее теребили лен. Они работали наперегонки и подшучивали над бабами, которые отставали. Тем стало вроде как неудобно и немножко обидно, что их обгоняет молодежь, и они прибавляли усердия.

Незаметно разобрал задор и Анну Михайловну. Она теребила лен на пару с Дарьей и вела счет своим и ее снопам. „А ведь это вроде соревнования... про которое в газетах пишут“, — подумалось Анне Михайловне.

Николай Семенов вывесил у правления доску, и бригадир писал на ней мелом, кто сколько выработал за день. И приятно было взглянуть на доску, идя вечером с поля, отыскать свою фамилию и цифру, проставленную рядышком. И все бабы это делали, хотя притворялись, что интересуются не собой, а другими, и точно им безразлично, что там про них нацарапано на доске. Однако, если фамилия какой-нибудь стояла последней и цифра возле нее была самая махонькая, так и знай — поднимется хозяйка завтра до пастуха, накажет бабушке подоить и спустить корову, заторопится в поле, будет теребить лен не разгибаясь, попоздней уйдет завтракать и пораньше других прибежит с полдника, чтобы видеть вечером на доске свою фамилию первой.

Словно обсыхая, уменьшался в поле золотой разлив льна, все больше и больше обступала его берегами суглинистая, черствая земля. И радовалось сердце Анны Михайловны, примечая, как растут шалашики снопов, дозревая на ветру и солнце.

— Кажется, во-время управимся со льном, — весело признался Семенов и приказал Петру Елисееву зажинать с народом пшеницу, оставив на тереблении только машины.

— Не сожжете мне остатки льна, ребята? — спросил он, зейдя вечером в избу к Анне Михайловне. — Шесть гектаров на вашей совести лежит. Когда рассчитываете кончить?

Михаил метнул горячий взгляд на брата, подумал.

— Послезавтра разделаемся, — сказал он уверенно.

— Это ты за себя говоришь? — рассмеялся ему в лицо Алексей.

— Нет, за тебя, медведь! — закричал Михаил сердито. — Я берусь по полтора в день теребить. А вот ты попробуй.

— Мне и пробовать нечего, — брат равнодушно пожал плечами. — Сегодня ровно столько дал.

— Дядя Коля, врет он? — жалобно спросил Михаил.

— Правда. А ты не горячись, — остановил его Семенов. — Три дня сроку даю, авось не сгорит лен.

Михаил обиженно замотал головой.

— Заглаза двух хватит. Берусь... вот! — Он оглянулся на Алексея и показал ему язык. — Только освободи ты меня, дядя Коля, от тетки Ольги. Сделай такую милость... Тряско ей, видите ли, барыне. Животик ее благородный не переносит.

— Да она о том же сама просит.

— Ей-богу? — обрадовался Михаил. — Уважь, дядя Коля, дай другую принимальщицу.

Семенов взглянул на Анну Михайловну, сердито собиравшую ужин на стол.

— Может, подсобишь парню? — спросил он.

Она молча резала хлеб, сдвинув колючие брови.

— Выручи... мамка... — плаксиво пробормотал сын.

Не отвечая, она пошла на кухню. Михаил двинулся за ней.

— Ну, что пристал? — проворчала она, оборачиваясь. — Не пропадать же льну... Марш за стол, сейчас щи подам.

#### IV

Вот когда Анна Михайловна почувствовала захватывающую силу молодого, отрадного соперничества.

Еще затемно поднял ее Михаил, не дал как следует

подойти корову и, пока брат, потягиваясь, одевался и неспеша завтракал, слетал за лошадьми. Он привел их к крыльцу, и мать, заслышав под окном нетерпеливый стук копыт и фыркание, не допила своей чашки молока.

— Ну, Леня-соня, и твоих коней я привел. Поеные. Принимай да поворачивайся. Сегодня тебе жарко будет, — весело и задорно сказал Михаил, входя в избу и торопливо нагружая карманы вчерашними сочными. — Пошли, Михайловна. Дорогой поем... Счастливой работенки, братан!

— И тебе счастливо... Ты маму, смотри, не убей, дурак, — нахмурился Алексей.

— Не страшай, не из пужливых. Мы всего-навсего тебя обгоним. Правда, Михайловна?

— Иди, иди знай, — толкнула его мать, повязываясь платком.

Мишка пошел в сени, потом вернулся и, просунувшись в дверь, со смехом сказал:

— А принимальщица твоя еще нахрапывает, Кузничиха-то... Я под окошком был, слышал.

— Ничего. Разбудим.

Ведя лошадей в поводу, быстро дошли сын с матерью до ярового поля. Гасли зеленые звезды, побелел над лесом ущербленный месяц, румяно и широко занималась заря. Отблески ее багряно легли на бронзовый лен, на теребилку у межи.

Доедая сочни, Михаил вытащил масленку, смазал шестерни, постучал по ним ключом, посвистел. Мать помогла ему запрячь лошадей. Он привычно вскочил на узкое сиденье, по брови надвинул кепку и подобрал вожжи.

— Михайловна, не зевай!

Она примостилась и не успела путем оглядеться, как по ремню, шурша, поползли ей в руки длинные и еще влажные стебли льна. В ушах стоял звон, сидеть было неловко, тряско, того и гляди свалишься, пришлось держаться одной рукой за раму, а лен набегал бесконечной желтой волной, обрушивался в протянутую ладонь, и Анна Михайловна не успевала сбрасывать его кучками на землю.

Сын скосил горячий глаз на мать и поморщился.

— Руку! — отрывисто бросил он.

Она не поняла и, робея, переспросила:

— Что, Миша?

— Что, что... Не держись, вот что! — сквозь гром теребилки крикнул он с досадой. — Не маленькая, не упадешь.

Пересиливая страх, она послушно оторвала от рамы руку. Ее так и подкинуло. Но она выпрямилась, сохранила каким-то чудом равновесие и не упала.

Теперь сын покосился с усмешкой, одобрительно.

— Обеими хватай... ловчее будет! — прокричал он.

На третьем заезде Анна Михайловна попривыкла, осмелела и сбрасывала лен без задержки. Загон пошел ровнее, трясти стало чуть-чуть, и можно было смотреть, как встает солнце, как золотятся и светятся курчавинки волос на смуглой шее сына. Приподнявшись, мать огляделась вокруг, заметила, что теребилка ходит не вдоль, а поперек загона. „Лишние завороты, — смеялась она, — вдоль куда сподручнее теребить“, — и указала на это сыну.

— Правильно, — быстро согласился Михаил, заворачивая коней. — Времечко сэкономим... Ну, братану теперь за нами не угнаться.

Мать видела, как получасом позже провел лошадей на свой участок Алексей. Должно быть, и верно, заспалась Кузнечиха. Она плелась позади, и мать пожалела Алексея.

Михаил помахал брату кепкой, живо обернулся.

— Прибавим ходу?

— Прибавляй... — усмехнулась мать.

Он свистнул, и теребилка загремела пуще прежнего. Ей задорно откликнулась алексеева на соседнем загоне, и, кажется, все поле вокруг загремело и запело. Ветер ударил в лицо матери, прохлада его была желанна. Колотилось и замирало сердце, трудно стало дышать, ныли руки от напряжения, следовало бы передохнуть. Но кони мчались так славно, и лен падал в ладони таким могучим валом, только не зевай — сбрасывай, и она, мать, летела с сыном, точно на крыльях, навстречу солнцу.

В утренней радужной дымке разворачивались перед ней поля. Везде кипела работа: взлетали серебряные серпы, вставляли лохматые белесые суслоны, далекая жнейка приветливо махала ей руками. И почти рядом, стараясь обогнать их, стремительно плыл через льняное



горящее озеро Алексей, легкой лодкой ныряла его теребилка, и белым парусом вздувалась полотняная рубаха.

И, тая дыхание, жмурясь от солнца и ветра, хотелось мчаться еще быстрее, чтобы свистело в ушах, холодило лицо и рукам было больше чем вдоволь работы. Невольно вспомнилась Анне Михайловне молодость, как она девкой, в навозницу, катила наперегонки с подружками и парнями, стоя в телеге и накрутив на голые руки обжигающие вожжи. Хохот, гиканье, звон бубенцов не смолкали тогда. Телега гремела и подпрыгивала вот так же, как сейчас теребилка, но босые упругие ноги крепко упирались в днище. Юбка хлестала Анку по коленям. Захватывало дух, а она горячила жеребца и, замирая от счастья, что всех перегнала, летела словно по воздуху...

Анна Михайловна смотрела в это невозвратно далекое время и улыбалась ему.

— Ну, как? — спросил через плечо Михаил.

— Хорошо! — вырвалось у матери.

Сын засмеялся, приспустил вожжи, сел боком и, болтая ногами, затянул песню. Ветер рвал ее, слов нельзя было разобрать. Но мать и так поняла, что песня была хорошая, такая же, как певец, как его работа, как все, что окружало их.

А скоро пришло и забытьё, которое она любила в работе. Перестали болеть руки. Все делалось будто само собой, легко и ловко. И не надо было следить за толчками, тело сохраняло равновесие без всякого усилия. Все виделось, и ничего не запоминалось, как в крепком сне. Много и хорошо думалось, но о чем — Анна Михайловна не смогла бы ответить, если бы ее спросили.

Она очнулась от треска и грохота над головой. Палевая туча нивесть когда закрыла солнце. Синевато промерцала в сумраке молния, пробежала розоватой змейкой вторая, раскатисто ударил гром, и пошел дождь, частый и теплый. Не успели они остановить лошадей и укрыться под кустом, как дождь, отшумев, затих, туча пронеслась, и выглянуло солнце. Над волжским лугом дождь еще шел косыми темными полосами, а здесь, в поле, уже было светло и радостно. Умытый лен чуть дымился. Просыхала рябая дорога. На алексеевом участке зарокотала теребилка, и Михаил, стрельнув туда

из-под козырька кепки прижмуренным блестящим глазом, тотчас тронул мокрых фыркающих коней...

Вот так и вышло, что обогнал в тот день Михаил брата. И матери было жалко Алексея. Весь вечер она чувствовала себя как-то неловко, не смела поднять глаз на сына, словно в чем провинилась перед ним.

За чаем Михаил, не утерпев, стал было зубоскалить над братом, но мать так посмотрела на него, что он прикусил язык. Когда хлебали молоко, она подсунула Алексею лишнюю середку белого пирога, но сын, точно не заметив, потянулся через стол за хлебом.

Укладываясь спать, он постелил себе на полу.

— Ты у меня не дури, — сказала мать тихо.

— Жарко на кровати... Мишка лягается, — глуховато ответил сын.

подавив вздох, мать замолчала.

„Началось...“ — горько подумалось ей.

Она долго не могла уснуть, слышала, как, посапывая, ворочался на полу Алексей, как насвистывал и нахрапывал в безмятежном сне Михаил. А у нее, у матери, болели руки, ломило спину, и черные думы полонили голову. Испытанная в поле радость казалась теперь смешной и ненужной, а соперничество сыновей — страшным. „Сегодня спят врозь, завтра за стол вместе не сядут... А там, гляди, и вся жизнь — врозь, кувырком пошла... Обливайся, мать, слезами, уговаривай, мири их... Да разве затем я растила сыновей, господи?!..“

Поправляя изголовье, Анна Михайловна решительно сказала себе: „Прекратить эту вражду, пока не поздно. Да... завтра же“.

С тем и уснула, как в яму провалилась. Не слышала, как трубил пастух, и не сразу подняла голову на сердитый окрик Михаила:

— Корову проспала... да мамка же!

В избе гуляло красное солнышко. Оно плескалось на шербатом полу червонным разливом. И полосатый, свернутый вдвое, постельник плавал посредине избы лодкой, и мятая, загнутая подушка белела парусом.

Слезая с печи и щурясь, мать покосилась на брошенный постельник, на Михаила, в одних трусах метавшегося по кухне. Она прибрала постель, подошла к оконцу и распахнула его. В избу ворвалось погожее утро, с прохладой, горячим светом, пением петухов и

далеким, чуть внятным рокотом теребилки. Неуловимое дуновение несло с полей хмельной запах спелых хлебов.

И мать поняла, что она не сдержит своего слова.

— Ушел и не побудил... Тоже, брат называется, комсомолец, — кипятился Михаил, надевая штаны и прыгая на одной ноге. — Ну, припомню я ему!

— Оба вы хороши, — только и сказала мать, собираясь в поле.

В этот день работа не ладилась. Участок им попался каменистый, короткий — одни завороты. Лен перезрел, местами он полег, и теребилка, не захватывая стеблей, обрывала граненые шумящие головки. Михаил, горячаясь, возился с ремнем транспортера. Он сделал захват пониже, и, пока кони шли ровно, пропусков и обрывов почти не было. Но стоило немного прибавить ходу, как теребилка начинала скакать по камням, ремень скользил поверху, обрывал и давил головки льна.

До обеда они не вытеребили и половины гектара. Запрягая после полдника лошадей, Михаил заплакал с досады. И матери нечем было его утешить.

Где-то, невидимая за хлебами, неумолчно гремела алексеева теребилка. Михаил — зажал уши ладонями, чтобы ее не слышать.

И, заметив это, жалея сына и сердясь на него, мать закричала:

— Как тебе не стыдно! Лен-то колхозный. Что же, по-твоему, гореть ему надо, если у нас с теребилкой не ладится? И чему вас там, в комсомоле, учат. Да ты радоваться должен, что у брата так работа кипит.

— Не больно-то он... вчера... радовался... на мою работу глядя, — ответил, всхлипывая, сын.

— Сам виноват, не хвастай, — сурово отрезала мать.

Помолчав, добавила мягко:

— Полно реветь, глупый... Никто нас не казнит, что мы с тобой трошки отстали сегодня. Не диво, каменьев-то ровно леший наворотил на полосу. Убирать их надо весной, вот что я скажу Семенову... Мы поотстали, а Леша пообогнал... как ты вчерась. И хорошо. И нечего соперничать. Дело-то общее, и вперед идет, не назад... Я так понимаю... это самое... соревнование. Вот Леша кончит, тебе же подсобит, дурашка.

— Очень мне нужны... подсобляльщики! — вспылал Ми-

хаил и, вскочив на теребилку, не дожидаясь матери, ударил вожжами.

Кони рванулись и понесли. Теребилку сильно подкинуло. Встревоженная, бросилась Анна Михайловна к машине.

— Стой! Стой!..

Но было уже поздно. Обрывая и приминая лен, еще раз взлетела теребилка, раздался сухой треск и скрежет булыжника. Михаил упал. Не выпуская вожжей, он проехался на животе, с трудом остановив коней. Поднявшись, кинулся к теребилке.

Подбегая, мать видела, как сын медленно выпрямился, лицо его побледнело. Обходя мать, он пошел за оброчной кепкой, поднял ее, нахлобучил по глаза и сел на межу.

— Что... там?— дрогнув, спросила мать, не смея приблизиться к теребилке.

— Шестеренка... сломалась... — сипло ответил Михаил, пристально разглядывая колено.

Штаны были изорваны, он просунул в дыру палец, ковырнул, порвал еще больше и засвистел.

Этот свист так и передернул Анну Михайловну.

Молча подошла к лошадям, отстегнула вожжи, сложила их вчетверо и что есть мочи вытянула сына по плечам.

— Ой, что ты, мамка?— оторопело пробормотал он, валясь на межу.

Мать поймала его кудрявую голову, зажала между колен, и вожжи загуляли по спине.

— Свистеть!.. Свистеть, негодяй?.. Машину сломал и свистеть? А лен-то... А люди-то... А мне, матери... Господи! Да я тебе всю шкуру спущу!

Ползая на четвереньках и плечами отталкивая мать, стараясь высвободить голову, сын бормотал:

— Перестань... мамка... вот выдумала... Да больно же!— вскрикнул он и, вывернувшись, поймал вожжи.

На один миг глаза их, одинаково черные, горячие, встретились: сердитые и непонимающе-испуганные — сына, знакомо-гневные, ничего не видящие — матери; пальцы Михаила, скользнув, выпустили веревку.

И как только сын затих, перестал сопротивляться, Анна Михайловна бросила вожжи, заплакала и ушла с поля домой.

И надо же было так случиться, что в этот вечер Семенов назначил колхозное собрание. Из района прислали инструкцию, как авансировать по трудодням из нового урожая, следовало потолковать, а матери казалось — собрался народ у ограды, возле памятника, судить ее сына. Все знали, что Михаил сломал теребилку, и Анна Михайловна, опустив голову, сидела сама не своя.

Два чувства, одинаково сильные, боролись в ней: жальность к сыну и гнев на него.

Михаил стоял, прислонившись к ограде, поодаль, отвернувшись от народа. И так не ахти какой ростом, он сжался, поник и, совсем маленький, теребил белую замаранную кепку, ломал козырек. Рубашка сзади выбилась у него по-детски из-под ремня и висела хвостом. Матери хотелось встать, подойти, поправить рубашку и отнять кепку.

Ребенок ведь еще, что с него спрашивать. Хотел больше да лучше сделать, погорячился, вот и вышел такой грех. Выпорола она его, как прежде за баловство порола, ну что же еще? Зачем при народе бесчестить ее, мать? Она-то чем виновата?.. И не смотрят на него, а кто и глянет, так ровно на пустое место. Ну, почто, разве пропащий он человек? Не задорили бы, не науськивали — и не случилось бы ничего...

Да ведь и он, стервец, хорош, по правде сказать. Недорос — так не суйся, слушайся матери, чтобы не пришлось ей краснеть за тебя. А раз взялся да испортил — сумей ответ держать... Нет, мало тебе вожжей, нечистый дух, мало! И не в машине тут дело. Теребилку, пес с ней, и починить можно, а лен... лен теперь сгорит — не воротить. Леша со своим не управился. Значит, вручную теребить надо. А косу? Оторвешь народ от жнитва — потечет, гляди, зерно... Ну и что же ты натворил, мерзавец? Чем ты материн стыд сотрешь?

Ей было совестно перед народом, так совестно, словно это она поломала теребилку и сгубила лен. Она не слышала, как читал и разъяснял Николай Семенов инструкцию по авансированию, как обсуждали ее мужики и бабы. Щеки у Анны Михайловны жгло, губы пересохла, острый комок подступил к горлу. Вздохнуть бы, выпрямиться и закричать на всю улицу, как ей, матери, нехорошо и больно. Но она не может поднять тяжелой

головы. Мучительно-ясно видит она черный, выжженный лен и видит сына, он все еще ломает козырек кепки, и рубашка сзади торчит у него хвостом. И Анна Михайловна не знает, что ей делать.

„Хоть бы поскорей... На один конец,— тоскливо думает она. — Срам-то какой... и не переживешь“.

Нет сил больше ждать. А Семенов, как нарочно, тянет собрание. И все рассуждают охотно и спокойно, будто и не случилось ничего, будто и впрямь созвано собрание не для того, чтобы судить ее сына. Но ведь она-то, мать, чует сердцем: будут судить, беспременно. И правильно, нельзя иначе, она понимает, да вот тяжело ей. Крепись, Анна Михайловна. Немало ты горя хлебнула, отведай самого горшего — от сына... Ладно, она выдержит, все перенесет. Она еще от себя слово сыночку скажет: „Так-то ты, разлюбивший, мать на старости утешаешь? Ну, погоди же!“

А вышло все иначе, совсем не так, как ждала и хотела Анна Михайловна.

В конце собрания Савелий Федорович заикнулся было о Михаиле, но Семенов, не слушая его, громко и ясно прочитал наряд на завтрашнюю работу, помедлил чуточку, покурил, будто ждал чего-то. Стало на собрании тихо, и Анна Михайловна слышала, как, упав, застучало у нее сердце. А вздохнулось все-таки сблегченно. „Сейчас начнется... давно пора... Ну, Мишка, не посмотрю я, что сын ты мне!“

И вдруг Семенов, нарушив тишину, объявил собрание закрытым. Анна Михайловна вскочила, ничего не понимая. Растерянно озираясь, заметила она, как, отправляясь по домам и толкая о том, о сем, народ, поровнявшись с оградой, выжидающе замолкал, а потом обходил Михаила стороной.

Сын качнулся, оторвал козырек у кепки, повернулся лицом к народу. В вечерней догорающей заре огнем подыhalo его лицо. Рывком поправив рубашку, он, не трогаясь с места, сказал Семенову:

— Прошу обсудить мой вопрос.

— Какой вопрос?— спросил Семенов, складывая в папку бумаги.

— Ну, какой... сам знаешь... какой,— пробормотал Михаил.

Семенов наклонился к столу, скрывая усмешку.

Широким жестом он остановил народ.

— Минуточку внимания, граждане. Вот тут у нашего... знатного теребилщика Миши дело до нас есть. Послушаем?

— Послушаем. Отчего не послушать. Можно,— согласились колхозники, возвращаясь.— Покороче только. Спать пора.

Мать тихо опустилась на скамью. Ей виделась первая колхозная осень, груда мешков с зерном в сених, она сама, в слезах, смущенно просящая Николая позабыть ее малодушие, и слышался его ответ, что он ничего не помнит и не знает.

Она поняла его тогда точно так же, как поняла сейчас. „Умница... Знаешь ты ход в каждое сердце“, — одобрила она Семенова и успокоилась.

Сын подошел к столу, маленький, прямой, горячий. И она увидела в нем себя, и ей понравилось, как он держался. „Вот так, начистоту, по-колхозному. Легче будет“.

Михаил оглядел народ, отыскал ее, мать, и точно ответил ей черными горящими глазами: „Да. Начистоту... конечно, легче“.

Но ему не дал говорить Савелий Федорович Гуцин. Его словно прорвало. Куда девались шуточки, ласковая веселость. Оскалившись, он залаял:

— Нечего народу головы морочить. Все сами знаем. Машину сломал, сопляк! Лен погубил... Вычесть у него из трудодней. К работе не допускать. Вот и весь разговор.

— Знамо, вычесть. И работы не давать... Навыдумывали соревнований, пусть сами расхлебывают, — в один голос, как всегда, отозвались Строчиha и Куприяниха.

— Да уж, это соревнование вскочит нам в копеечку, — плюнул Гуцин.

— А ты на копейки-то не считай, — сказал Андрей Блинов.

— На рубли прикажешь? — скосив глаза, бросил Савелий Федорович. — Не больно много в нашем колхозе рублей-то.

— Получше добро храни — тыщи заведутся.

— А я не храню? Ты не на завхоза кивай, а на председателя. Он и вторую теребилку ухайдакает, потакая... хулиганам.

Анна Михайловна смотрела и не узнавала Гущина. Полно, да он ли это, добрый и справедливый человек, с пеной у рта лает на ее сына, бесчестит? Да какой же хулиган Мишка? И почему нельзя его к колхозной работе допускать? Откуда такое зло у Савелия Федоровича?

Матери было горько. Платок свалился у нее с головы, и она не могла поправить его, перевязать. Ее пугало молчание Семенова. Навалившись локтями на стол, он сурово хмурил брови из-под ладоней, покачивая рыжей головой, как бы соглашаясь с Гущиным.

Слово взял бригадир Петр Елисеев.

— Не нравятся мне твои речи, Савелий Федорыч,— сказал он, закусывая ус.— Правильно Блинов говорит— все-то ты на деньги считаешь... по-торгашески.

— Торгашем был, торгашем и остался,— кинул Семенов, отнимая ладони от бровей и спокойно выпрямляясь.

— Прошу не попрекать прошлым!— взвизгнуа Гущин.— Честным трудом все заглажено.

— Никто тебя прошлым и не попрекает,— Елисеев дернул плечом.— Мы сегодняшним попрекаем. Да! Чорт тебя знает, как это у тебя получается... Лен сеять зачали— плохо. Машины купили— плохо. Люди стали нормы перевыполнять— опять нехорошо... Прямо куда ни глянь— везде дрянь. Или ты без глаз, или мы ослепли... Чего ты хочешь?

— Я уж отхотел, Петр Васильевич... стар,— нескладно пошутил Гущин, отступая.— А вот колхоз порядку хочет.

— Разные порядки бывают,— вставила слово Дарья Семенова.

— Именно,— подхватил Елисеев, одобрительно кивнул ей.— За копеечные порядки стоишь, Савелий Федорыч. А других, видать, не знаешь... Вот ты о добре кричишь, а сам поламбара овса семенного весной сгноил. Как же это?

— Какой колхоз, такой и завхоз,— ослабилась Гущин, разводя руками и становясь веселым.— Али забыл— овес на корню сопре... Назначай ревизию, я отвечу. Да обо мне ли разговор? Гладь по головке хулигана, он тебе завтра не такой еще фортель выкинет.

Чернея лицом, Елисеев постучал обожженным кулаком по столу.



— Ты напраслину не городи. В бригаде моей хулиганов нет. И по головке мы никого не гладим.

— Оно и видно, — насмешливо отозвалась Строчиха.

— А что ты видишь, дура баба? Ничего ты не видишь. — Елисеев повернулся к Михаилу, пристально посмотрел на него, помолчал. — Ну, браток, отвечай мне, как командиру... по-военному, как же это у тебя вышло?

Мать опустила голову, закрылась платком по самые глаза. Завозились, зашептались бабы. Говорок пролетел по собранию.

— Ти-хо! — скомандовал строго Семенов.

И многие повторили за ним:

— Тихо! Тише!

— Отвечай, — приказал бригадир.

— Моя ошибка, дядя Петр, — твердо сказал Михаил.

— Знаем. Да откуда она?

— Леньку хотел обогнать... побольше выработать.

— Похвально. А машину зачем ломать?

— Погорячился... — тихо ответил Михаил.

— Погорячился? А ежели бы ты не на теребилке сидел, а на коне... И не на поле был, а на войне... Ты б тоже горячиться стал?

Голос у Елисеева загредел железом, и матери показалось, что это поднялся из-за стола, как много лет тому назад, Семенов, контуженный фронтовик. Вот он стоит рядом с Сергеем Шаровым, высокий, костистый, он срывает окровавленную повязку с головы и, размахивая ею, как флагом, зовет и учит ее, мать, зовет и учит всех, как надо жить. А может быть, это сам Леша, правля сзади солдатскую гимнастерку, точно затыкая за пояс топор, жалеет, что рубил он богачам дома, а не головы. И опять ей мнится Семенов, зимним вечером, в авдотьиной избе. Он ведет народ в колхоз, крыльями раскинуты его смелые руки, и в неведомую даль устремлены глаза. Он смотрит вперед, поверх голов мужиков и баб, и словно видит все хорошее, что ожидает их, перепуганных баб, и улыбается этому хорошему, столь далекому и невозможному тогда, что не верилось, а теперь ставшему явью, да такой, точно другой жизни никогда и не было.

— А знаешь ли ты, парнишка, к чему приводит... эта самая горячность? Глянь-ка сюда... — Елисеев шумно вздохнул, должно быть, показывая стесанное ухо. —

Вроде тебя — погорячился и чуть башки не лишился... Конь спас. А кто тебя спасет, ежели ты... этому самому коню... ноги ломаешь? Что же нам теперь с тобой делать? — задумался Петр Елисеев.

— Дай-ка я скажу.

Мать вздрогнула. Невозможно знакомо прозвучал этот новый глуховатый голос. Она вскинула голову и ужаснулась.

„Супротив брата?..“

Не глядя на Михаила, Алексей тяжело и медленно, как бы затрудненно, бросал слова:

— Ухарь... какой нашелся. Гектар с лишним... вчера вытеревил. И все ему мало... Ясно! Из-за себя поломал теревилку. Характер свой... дурацкий... тешит. Я его предупреждал.

— Ты лучше расскажи, как комсомольцы тайком на работу уходят... не побудивши других! — гневно крикнул Михаил, возвращаясь к оврагу.

— Расскажу. Правильно. Я тоже дурака сваял... Дискредитировал соревнование... Больше этого не случится... А за поломку машины — выговор... я предлагаю... закатить.

— Прежде камни с полос уберите, а потом уж и... выговор, — пробормотал Михаил.

— А где у тебя глаза были? — спросила Ольга Елисеева.

— На затылке.

— Оно и похоже! — рассмеялись колхозники.

„Да что вы на него все напали? — хотелось крикнуть Анне Михайловне. — Ведь ненарочно он... И понимает... Я его вожжами отвозила“. Но она не могла защитить сына, поступок его не имел оправдания, и она ничего не сказала.

— На первый раз, Миша, мы тебе выговора не дадим. Но смотри, не пори горячку в будущем. Предупреждаем на сегодняшний день. Нет возражений? — спросил Семенов колхозников. — Придется завтра, товарищи, лен руками теревить. Наделал ты нам делов, парень.

— Я сам... все вытеревлю, — угрюмо сказал Михаил.

Прямо с собрания он ушел в поле.

Дома, не стерпев, Анна Михайловна набросилась на Алексея:

— Как тебе не совестно супротив брата идти? Ну,

нехорошо он сделал, так поругай наедине. А то при народе... срам-то какой, тьфу!.. И откуда слов набрался, молчун? Пусть бы другие говорили. А ведь ты... Как ты ему опосля этого в глаза посмотришь?

— А вот так...

Сын близко подвинулся к матери, прямо и ясно взглянул ей в лицо и рассмеялся.

— Эх, мама, до чего же ты еще отсталая!

— Ну, еще бы, — рассердилась Анна Михайловна. — Где же матери с тобой сравняться, все понять — стара. Только вы, молодые, глазастые, все знаете и все понимаете... Да, может, я подальше тебя вижу? Вот что! Может, от меня больше всех Мишке досталось... Чем зубы скалить, шел бы да подсобил брату.

— Не пойду... Угробил теребилку, пусть и выкручивается.

— Бессердечный ты... истукан!

— Уж какой есть.

Алексей поел и лег спать.

Мать побранилась еще, покричала, сын не отозвался. Тогда она, замолчав, налила парного молока в кувшин, заткнула его тряпицей, прихватила кашник сметаны, хлеба и пошла в поле к Михаилу.

Был одиннадцатый час, колхоз уже спал, и Ваня Яблоков, разжалованный за лень-матушку из конюхов в сторожа, изредка постукивал в свою деревянную колотушку. Роса лежала скупно, лишь по канавам и ямам, и юговсюду надвигалась душная мгла. Во ржи скрипел коростель. Выходила над Волгой узкой багровой полоской луна, ее тусклый, неживой свет стлался по сумрачной земле.

Анна Михайловна задержалась возле срубов. Дом выростал из груды бревен, теса, вороха щепок, лежавших смутно-белой громадой. Чернели проруба окон. Пахло смолой и сухими опилками.

„Будет ли мир в этом доме? — подумала Анна Михайловна. — Не понапрасну ли я затеяла... силы убиваю?“

Она понурилась и не обошла, как всегда, срубов кругом, повернула прочь. Ее пугали тишина и мрак. Все было мертво окрест — и черные, будто нежилые, избы, и тихие тополя, и белесая дорога с еще не остывшим песком, и темное небо с редким и слабым миганием

варниц. А страшной всего чудились поля, пустынные, короткие, точно обвалившиеся по краям в бездну.

Анне Михайловне стало тоскливо, и она пошла быстрее.

Летучая мышь с легким шорохом пронеслась над головой, чуть не задев платка.

— Ах, проклятая! — похолодев, отмахнулась Анна Михайловна.

Ей стало немного легче, когда она отыскиала сына. Теребя лен наощупь, Михаил, как ни в чем не бывало, мурлыкал песню. Видать, его не пугала эта мертвенная тишина ночи. Стебли мягко шуршали под его торопливыми руками, хрустели и падали комья земли. „Молодому и ночь — день белый, и былинка — душа живая... — ласково подумала Анна Михайловна. — Певун ты мой, незадашливый... воин во чистом поле... А брат-то дрыхнет... Ну, труд тебе на пользу“.

Увидев мать, Михаил перестал мурлыкать.

Не говоря ни слова, Анна Михайловна подобрала готовые снопы, устала в десятки и, зайдя с краю, принялась подсоблять сыну. Выпрямляясь, чтобы связать сноп, она оглядывалась вокруг, тьма уже не была такой кромешной, глаза попривыкли, и матери не раз мерещилось, что она видит там, на конце загона, человека, словно бы тоже теребящего лен.

— Кто там? — спросила она сына.

— Где?

— Да вон, на конце.

— Привиделось тебе. Никого.

— Как так никого? Эвон ворошится, вроде бы человек. А?

— Почем я знаю, — сердито ответил сын.

И мать долго не решалась заговорить снова, предложить Михаилу поесть. Потом все-таки набралась духу.

— Поешь, Минька, — сказала она заискивающе.

— Не хочу.

— Ты на хлеб не серчай. Поешь — больше сработает.

— Да не хочу я... Отстань!

Мать все смотрела на конец загона, ее тянуло туда, и она пошла.

— Куда ты? — тревожно позвал тотчас сын. — Давай... брюхо подвело... что там у тебя?

Она послушно вернулась, подала ему, присела на по-

лосу рядом. Михаил набил рот хлебом и прильнул к кувшину.

— Важно... ух, важно!— бормотал он, захлебываясь молоком и жадно ощупывая закусанную краюху. — Хлеба-то, кажись, маловато принесла, Михайловна. Вот поем— иди домой. Нечего тебе здесь делать.

Не отвечая, мать все оглядывалась на край загона.

— А ведь это Настюшка,— сказала она по догадке и покосилась на сына.

Кувшин качнулся у него в руках, молоко пролилось на рубаху.

— Она самая...— нехотя проронил он, утираясь.— Принесла нелегкая...

— Но, но!— погрозила мать.

— А что? Опять вожами?— рассмеялся Михаил, залезая всей пятерней в кашник со сметаной.

— А уж чем придется,— усмехнулась мать.

Все светлела вокруг нее ночь, так, по крайней мере, ей казалось. Она не могла больше сидеть, порывисто вскочила и, как маленькая, сгорая от любопытства и нетерпения, побежала, спотыкаясь, межой на край загона.

Точно, это была Настя, одинокая, крохотная. Она перестала теребить, как только подошла Анна Михайловна, поздоровалась, отвернулась и заплакала.

— О чем ты?— спросила Анна Михайловна.

— Мишу... жа-алко...— прошептала Настя.

Анна Михайловна погладила Настю по голове.

— Стоит его жалеть... баловника,— проворчала она и еще раз погладила настины волосы.— Ишь растрепала косы-то... длинные какие.— Помолчала и добавила:— Смерть не люблю стриженных.

Не успели они поговорить, как где-то близко зафыркали кони и затарахтели, приближаясь, гремучие колеса. Анна Михайловна замерла, прислушиваясь. Она опять не видела, ее окружала темень, но зато с груди будто камень свалился. Радостно прислушалась к голосам... один миг, и опять ее задавило горе.

— Проваливай, проваливай!— послышался озлобленный голос Михаила.

— Я тебе провалю. Дай дорогу!..— отвечал второй, такой же страшный.

„Подерутся... сейчас подерутся, господи!“— мелькну-

ло у матери, и она заметалась на конце вагона. Бежать и разнимать — поздно, кричать — не послушаются.

— Что же это... Настя? Что же это, а? — в отчаянии причитала Анна Михайловна и вдруг затихла.

— Садись и правь лошадьми, — внятно сказал Алексей.

— Я?

— Ты.

Молчание.

— Садись, говорят тебе, — повторил Алексей. — Я причинальщиком буду. Ну?..

— Доверяешь, братан?!

Свист оглушил Анну Михайловну.

— Эх, вороные, удалые! — запел Михаил, ударили копыта, и пошла, в лад песне и топоту коней, греметь те-ребилка.

— Пойдем, Настя, спать, — устало сказала Анна Михайловна.

## VI

С этих пор перестала мать тревожиться за сыновей. Они попрежнему соперничали и дружили, все так же не давали друг другу спуску что в деле, что в пустяках, и Анна Михайловна по привычке бранила ребят; но спокойно было ее сердце, тихо и светло на душе. Словно прозрев, разглядела она сыновей в первый раз близко и хорошо, все запомнила, все полюбила и, главное, поняла, что так оно и должно быть, а не иначе. Не расти тополю плакучей ивой, не стоять Волге-матушке болотом, не холодеть молодому сердцу камнем.

Еще больше стала дорожить Анна Михайловна временем, когда сыновья были дома, и они, втроем, на досуге сумерничали, разговаривали про всякие разности. И хорошо было посмеяться над шутками Михаила и послушать, как читает газету Алексей, и просто помолчать, поглядеть на сыновей, тихо порадоваться. Иногда к ним забегали приятели, в избе становилось тесно и шумно. Мать уходила на печь и оттуда, свесив голову, смотрела и слушала, как забавляется молодежь. Хорошо было также вечерком, в праздник, нарядившись, пойти всем вместе в избу-читальню на собрание или, когда приезжала кинопередвижка, сесть рядышком и замечать, как смотрят в их сторону и шепчутся бабы, как проходят мимо Настя, чтобы поклониться ей, матери, пока-

зять, словно мепароком, обновку, а Лизутка не смеет, прячется в кути за подруг, как сыновьям смерть хочется подойти и поболтать с девушками, но они стесняются матери и даже, когда она скажет: „Чего уж тут, идите... женихи!“, они еще чуточку посидят, встанут, будто нехотя, и... пропадут до утра..

Много, много было приятного для матери. Она ждала зимы, нового дома, мечтала, как заживет в нем, просторном и светлом, с сыновьями, душа в душу, как загуляют они на беседах в свободные зимние вечера, а она, мать, досыта налюбуется ими.

Осень стояла на редкость долгая, ясная и тихая.

Затепо убралась с яровыми, отсеялась, выкопала картофель, подняли всю зябь, чего никогда не бывало. Живо измяли, отрепали лен и принялись за молотьбу. Дожди начались было в конце октября, но после праздников опять распогодилось, установились светлые короткие дни. Было так тепло, что голые ветви яблонь и черемухи выкинули перецвет. Бело-розовая дымка окутала сады и огороды, точно весной. И странно было видеть рядом с белыми, пенными яблонями огненно-золотую сквозную листву дремотных тополей, осин и берез. Осимь пошла в трубку и с такой силой, что уж не рады были в колхозе долгому теплу, боялись, как бы не погибли зимой буйно разросшиеся посевы ржи и пшеницы. Поэтому все желали поскорей заморозков.

Они пришли, как всегда, неожиданно. После теплого, кроткого вечера и лунной тихой ночи вдруг на поздней, багряной утренней заре побелели черные крыши изб, амбаров, густо напудрилась луговина, и на дороге, в колеях, сковал лужи первый тонкий прозрачный лед. Под яблонями и черемухами снежной пеленой лежали опавшие свернувшиеся лепестки.

„Ну, дождалась-таки... вот она, зима-матушка“, — весело думала Анна Михайловна, затопив печь и выбегая к колодцу за водой, пожимаясь от холода и прислушиваясь, как поют под башмаками льдинки.

Солнце встало поздно, в тумане, с трудом согнало с крыш и земли морозное серебро, растопило льдинки и скрылось за тучами. Молочно-голубая изморось повисла над полями. Ветер принес с гумен сырой горьковатый запах риг и овинов, взметнул, закружил вороха ржавой,

потускневшей листвы, подмел начисто улицы и пошел гулять и насвистывать по селу.

Ненастье продержалось с неделю, а затем снова вернулось тепло. По утрам и вечерам были крепкие заморозки, но днем солнце припекало, и разубранные, точно на свадьбу, безмолвно рдели леса. В сосновом бору стояла такая непостижимая тишина, что слышно было, как звенела хвоя, падая на землю. Торопливо, молча, пролетали в вышине запоздалые стаи журавлей. Все застало в ожидании. Не раз в утренники принимался кружить легкий и редкий, чуть видимый снежок. Он таял в воздухе, оседая на изгородях, жнивье холодной матовой пылью.

А потом сразу, как это бывает после долгой погожей осени, навалило сухого снега, подморозило, и тотчас установился хороший санный путь.

И не сбылось то, о чем мечтала Анна Михайловна. По первопутку неожиданно уехал Михаил в город, на курсы счетоводов. А в декабре колхоз послал Алексея в МТС учиться на тракториста. Осталась Анна Михайловна одна.

Когда она в первый день истопила печь и, садясь в непривычной тишине пить чай, поставила, забывшись, на стол два стакана и потянулась, чтобы налить их, у нее онемела рука. Как всегда, клочкотал старый, в царапинах и ямках, с позеленелой решеткой, медный самовар. Розовый, с отбитым носиком, чайник был горяч, и на крышке его чернели оброненные чайники свежей заварки. Но этот горьковатый, крепкий, любимый ребятами чай не надо было наливать в стаканы. Холодные и пустые стояли они на столе под капающим краном самовара.

Мать убрала стаканы в горку, налила себе чашку, да так и не выпила.

Она стала прибираться в избе, и на глаза ей все попадались то мятая, запачканная кепка Михаила с оторванным козырьком, сунутая за комод, то алексеева недочитанная книга с загнутой страницей, забытая на лавке, то брошенные на кровать брюки. И, подбирая, мать подолгу рассматривала сыновьи вещи, складывала, чистила и бережно прятала. Ей хотелось, чтобы этих разбросанных вещей было побольше, чтобы могла она целый день перебирать их и утешаться. Но, как ни тянула она, пришел конец уборке.



Тогда Анна Михайловна достала с божницы мужнин кисет, школьные удостоверения сыновей, колхозные трудовые книжки. Без счету раз все это было осмотрено прежде. Что ж с того? Каждый раз мать любовалась, как впервые, и непременно что-нибудь находила новое, раньше ею не замеченное. И сейчас, сидя у окна и тихонько разложив на коленях бесценные сокровища, она отыскала в сборках, внутри кисета, завалывшиеся крупинки махорки. Она собрала их вместе с зеленой пылью на ладонь и понюхала. Повяло давно забытым теплым и сладковато-горьким дыханием. Так пахли усы Лещи.

Ладонь ее задрожала, и, боясь обронить хоть одну табачинку, Анна Михайловна поскорей ссыпала махорку обратно в кисет, прижала его вытертый, чуть щекощущий бархат к губам. Да было ли это время — или только снилось ей?.. Глаза ее затуманились.

Она взглянула на удостоверения. Золото букв солнцем горело на холодной плотной бумаге. Имена сыновей, написанные синими чернилами, выступали крупно и ясно. Отметки были проставлены помельче и не так разборчиво. И хотя мать знала эти отметки наизусть, она поднесла поближе к глазам удостоверение Михаила. Сощурившись, перечитала и обнаружила, что по географии и русскому языку отметки учителя вроде соскоблены ножиком и написаны заново чернилами посветлей.

„Обманул мать, — подумала она, качнув головой. — Боловство-то везде сказывается. Небось, Ленке соскабливать нечего, коли учился хорошо... Ну, бог с тобой, — вздохнула она, — лишь бы себя не обманывал в жизни“.

Она листала книжки с знакомыми цифрами трудней и не могла еще раз не удивиться, как много выработали сыновья за лето. Все эти палочки, крючочки, аккуратно проставленные семеновской рукой, как живые, рассказывали о пережитом. И снова вставала перед матерью страдная пора: росистые голубые утра — со звоном и свистом кос; знойные полдни — с червонным разливом льна, грохотом теребилок, жарким всхрапываньем коней; тихие вечера — с туманами, скрипом возов, песнями, усталым и веселым говором народа, возвращающегося с поля. И что тогда огорчало — теперь в памяти мелькало быстро, как бы сглаживаясь, забываясь, а что радовало — стояло и не уходило, оборачиваясь такими подробно-

стями, которые тогда и не замечались вовсе, а сейчас вот припомнились, трогая сердце.

Кошка, сблудив, уронила что-то на кухне. Анна Михайловна поднялась, чтобы посмотреть, и сразу ее окружили серый сумрак позднего зимнего утра, тягостная тишина пустой избы. Ей стало невмоготу, и она, одевшись, ушла из дому.

Потянулся день, длинный, как год. Она заглянула во двор, постлала корове свежей соломой, задала корму, принесла воды, запасла дров, проведала поросенка, размела снег у крыльца. Походила, искала, нельзя ли еще чего сделать, — и не нашла. Надо было возвращаться в избу, сидеть там в одиночестве и скуке. Она испугалась этого и побрела, увязая в сугробах, на одворину, к срубам, хотя знала, что Никодим пятые сутки хворает, отделка дома приостановилась и делать ей там и смотреть нечего. Но она все же поднялась по широкой и звонкой, замороженной тесине, переброшенной с улицы в отверстие двери, походила по скрипучим, не сплоченным половицам с грдами стружек и нанесенного снега, потрогала холодные, чисто выструганные переборки.

Все было так, как она желала: просторные сени, прируб, прихожая и кухня в два окна, с добротными еловыми перекладами под печь, большущая горница в четыре окна, отделенная глухой тесовой переборкой от спальни. До матицы не достанешь и с лавки, вот какой высокий потолок. А там еще светелка, что изба хорошая, и чердак — есть где белье посушить, разное старье положить.

Рыжий мох, затянутый паутиной инея, еще свисал по стенам. На козлах лежала шершавая, в сучках, доска, под ней на полу, в стружках, валялся забытый Никодимом рубанок. Косяки в окнах еще держались на клиньях, не прилаженные как следует, но подоконники, желтые и гладкие, совсем были готовы, и такие широченные, хоть садись и пей чай, как за столом. Потерпеть до весны, в крайности — до лета, и дом будет отделан, можно переезжать, справлять новоселье.

Но и это не порадовало нынче Анну Михайловну. Она посидела на подоконнике, озябла и пошла к Семенову, в правление.

Здесь, как всегда, толпился народ, домовито пылала жаром изразцовая „голландка“ — наследие ямщика Исаева, пахло табаком, кислыми шубами и залежалой бума-

гой. Со стен, оклеенных светлыми, еще не успевшими потемнеть, обоями, глядели на Анну Михайловну знакомые портреты — под стеклом, в рамках, доска с вырезками газет и нарядами на работу, плакаты, барометр. В красном углу на венском стуле возвышался исполинский восковой сноп льна, к нему было прислонено бархатное, с золотыми кистями, переходящее знамя, завоеванное колхозом осенью. С этажерки, набитой книгами, кулечками, банками с семенами, удобрениями, свисал телефонный шнур. Рядом, возле старинного, с резьбой, шкафа, блестел лаком новенький несгораемый ящик.

Сочно стучал на счетах Гушин, приспустив на острый нос очки и строго косясь поверх их на Андрея Блинова, вычитывавшего по ведомости сиплым, простуженным голосом: „Тридцать два кила... еще подкинь сто восемь... долой пятьдесят четыре... Ну, и где же у тебя завалился мешок?“ У окна, за столом, покрытым кумачом в чернильных пятнах и прожженных дырках, облокотившись на газеты и бумаги, беседовал Николай Семенов с незнакомым бородатым и толстым человеком, должно, приехавшим из города. Николай был по-домашнему — без пиджака, в коричневой косоворотке. По обыкновению, он все видел и все слышал. Он кивнул Анне Михайловне и, продолжая беседу, сказал приезжему: „Нет, это не выйдет“, обернулся и спросил Блинова: „Сколько, говоришь, нехватает?“

На диване и стульях сидели, дожидаясь своей очереди к председателю, колхозники, сдержанно разговаривая и покуривая. Спinoй к печке стоял и грелся Петр Елисеев, окруженный бабами, и, как всегда, бранил кого-то.

И этот обжитой порядок, тепло, зеленый душистый дымок махорки, говор народа сегодня особенно пришлись по душе Анне Михайловне.

— Мешок не иголка, пропасть не может. Где же оно, брагинское семя? — допытывался Блинов, сипя и покашливая.

Савелий Федорович раздраженно смешал костяшки на счетах.

— Что было, все тут. Записано в ведомости.

— А кто писал?

— Ну... я. А ты подписывал как председатель ревизионной комиссии. Забыл?... Да ты что, не веришь мне?

— Я себе верю... Мало ли что в спешке подпишешь.

У меня, чай, память не отшибло. И Стукова вот подтвердит. Скажи-ка, — обратился Блинов к Анне Михайловне, — сколько мы в новый сусек „брагинского“ засыпали?

— Восемь мешков, — сказала, подумав, Анна Михайловна.

Андрей швырнул ведомость Гушину.

— Семь... У тебя, чортов завхоз, семь! — просипел он, задыхаясь, и стал торопливо кутать простуженное горло шерстяным жениным платком. — Сей момент идем в житницу проверять... сей момент!

— Это что... ревизия? — спросил Гушин, вставая.

— А хотя бы и так, — ответил за Блинова Семенов, не прерывая своей беседы с приезжим.

Савелий Федорович оглянулся, снял очки, старательно протер их рукавом и, пряча в карман, сказал:

— С полным нашим удовольствием. Давно о том прошу.

Обходя Анну Михайловну и Елисея, который при молк и насупился, Савелий Федорович подмигнул им, как бы извинительно заметил:

— Беда с неграмотным народом. Навыдвигали разных... ревизорами. Путаются и других со счету сбивают.

Анна Михайловна и раньше слыхала от баб, что Гушин нечист на руку. Поговаривали, правда, за глаза, будто не один воз пшеницы уплыл из колхозных амбаров на базар, что не зря гоняет косоглазый по два раза на неделе в город и все затемно, словно боится, как бы кто в телегу к нему не заглянул. Гляди, и семенной овес он променял весной на гнилье, а барыш на книжку положил. И не зря, бесстыжая харя, сорочин по жене не справив, зачастил на станцию к вдове Анюте. Жениться задумал, приданое толстомясой шинкарке копит. И сенцом торгует в открытую. Уж не из тех ли самых копен, что пропадают каждый год с волжского луга?

Многое болтали, да, пожалуй, больше от зависти. На проверку все гладко выходило у Савелия Федоровича, даже Семенов придраться ни к чему не мог. И когда перевыбирали правление и Савелий Федорович, по обычаю, долго и решительно отказывался от своей должности, говорил, что хватит, послужил народу, пусть теперь другие, помоложе, так постараются, — все вдруг вспомнили, как просился он в колхоз, старой жизнью каялся,

дом отдал, как потом не жалел себя на работе, и, не слушая Семенова, опять выбрали Гущина завхозом, а он, перестав отказываться, кланялся и благодарил за доверие. И все видели, как он старался лучше прежнего, и не велика беда, ежели он когда ошибался, — с кем не бывает. Вот и Анна Михайловна, рассудив здраво, простила ему поклеп на сына: известно, вгорячах да жалея колхозное добро, чего не скажешь.

— Проворовался-таки завхозишка, — брезгливо сказал Петр Елисеев.

— Не может этого быть, — Анна Михайловна покачала головой.

— Все может. Старая шкура сказала, — убежденно откликнулся Семенов, поднимаясь из-за стола и не слушая больше приезжего, который рылся в портфеле, настаивая требовательно и внушительно на чем-то своем. — Накрыл, накрыл дядя Андрей... молодец! — Семенов закурил, позвал к себе дожидавшихся колхозников и, прямо и твердо взглянув в глаза приезжему, отрезал: — Кончим, товарищ. Нельзя.

— Это установка вышестоящих организаций, — напомнил тот, пыхтя и наливаясь гневом.

— Резать молодняк? Нет такой установки.

— Не резать, а... продавать.

— Племенной — на мясо, — добавил Семенов.

Задирая бороду, приезжий тяжело поднялся со стула, угрожающе потряс портфелем.

— Самоуправство... У меня план... Я буду жаловаться!

— На здоровье, — сказал, усмехаясь, Семенов, помог ему хозяйски аккуратно собрать в портфель бумажки и, сразу как бы забывая это решенное дело, стал разговаривать с колхозниками.

Костя Шаров и Катерина, наряженные, розовые и застенчивые, пришли звать на свадьбу. Николай поздравил их, пошутил, обещал быть и распорядился, чтобы им дали в счет трудодней хлеба и денег на обзаведение.

Петр Елисеев спрашивал, сколько лошадей посылать на лесозаготовки. Требуют четырнадцать, да надо ведь перевозить сено и яровицу, опять же черед колхозу в пожарном депо дежурить, и, признаться, ему жалко новых подсанок, не занять ли в соседнем колхозе? Семенов сказал, что жадничать нечего, подсанки Никодимом как раз и приготовлены для лесозаготовок, с яровицей

можно повременить, сенцо — корзинками перенести, (и приказал отправить в лес двадцать подвод.

Марья Лебедева плакала, жалуясь на сноху. Негодяйка совсем выжила ее, старуху, из дому: к печи не подпускает, корову сама доит, белье постирать, и то напросишься; а сынок, нечего сказать, утешает: „Маменька, не волнуйтесь... дайте молодым дорогу“. Окаянный, да кому же она дороги не дает?..

Почтальон, сердито похлопывая клюшкой по клеенчатой тугой сумке, рассказывал, что с подпиской на газеты — беда, одного номера лишнего не выпросишь, потом наклонился к Николаю Семенову и тихо сказал, что Гушину опять письмо с Урала, смотри, уж не Исаев ли ему поклоны шлет.

Антон Кузнец вытащил из-под шубы загнутые, как рога, железные сошники от сеялки, они не подходили к новой, шестнадцатирядной, и он спрашивал, как ему быть.

„Вот и научился ходить Коля... не споткнется. Хозяин“, — думала Анна Михайловна, входя в интерес всех этих больших и малых дел, жалея Марию Лебедеву, понимая Елисеева, который опять уговаривал председателя занять подсапки, и радуясь за молодых Шаровых. — А про Савелия Федорыча он зря говорит. Ему своего добра не пережить. Да и как можно, колхозное... Рука отсохнет, не поднимется“.

Когда Семенов освободился, она попросила:

- Дай ты мне, Коля, дело... хоть самое махонькое.
- Отдыхай, Михайловна. Зима. Все приделано.
- Да я уж наотдыхалась по самое горло.
- Скучаешь? — понимающе спросил Николай.
- Не по кому мне скучать, не молоденькая, — сурово ответила Анна Михайловна. — Безделья не люблю.

Семенов, улыбаясь, посмотрел в окно.

— Будь по-твоему, — согласился он. — Иди на скотный дворкам подсобишь. Отел начался.

— Ну и спасибо, — оживилась Анна Михайловна, повязываясь шалью и собираясь сейчас же идти туда. — А Милка отелилась? Нет? А Звездочка?.. Телушку приму, помяни слово, телушку. У меня рука легкая, счастливая...

В дверь просунулся Блинов и, мапуская стужу, растерянно просител:

— Целехонько... Восемь, скажи на милость.

Семенов, помолчав, сказал:

— Не успел украсть. А ты уж, поди, извинялся, кланялся?

— Как же?— смущенно пробормотал Блинов, покашливая.— За-зря человека оскорбил. В таком разе не грех, Николай Иваныч, и шапку сломать, извиниться.

— Поторопился...

— Будет тебе не дело говорить, Коля,— остановила Анна Михайловна.

— Говорю вам, обманывает он нас,— жестко и ясно ответил Семенов, сдвигая брови.— Закрой дверь, Блинов, побереги горло... Долго ловлю я эту скользкую сволочь, но таки поймаю... с поличным.

## VII

Никогда Анне Михайловне не казалась зима такой длинной, как в этот год.

Днем, за работой, на людях, Анна Михайловна забывалась и не чувствовала одиночества. Беломордая очкастая Звездочка, любимица и гордость доярок, записанная в государственную племенную книгу, как сказала Анна Михайловна, принесла телочку— да какую: крупную, с очками, в черно-белой аккуратной рубашке, чистую ярославку. Корова давала за удой в сутки по двадцать литров молока, а потом, раздоившись, еще прибавила. Анна Михайловна упросила Ольгу Елисееву, заведывавшую с осени фермой, разрешить ей ухаживать за Звездочкой. Любо было растирать тугое розовое, свисающее до соломы, вымя, слушать, как поют в ведре первые тонкие ниточки молока, а подоив и отцедив лишек, нести дымящуюся лохань телушке и с пальца поить ее<sup>1</sup> молоком. Только два дня захлебывалась и сосала палец телушка, а потом, солощая<sup>1</sup>, понятливая, сама стала совать белую морду в лохань и тянула до последней капли, широко и смешно раздвинув в стороны тонкие, непослушно качающиеся ноги и приподняв черную кисточку хвоста. А скоро научилась и мычать, выпрашивая прибавки. Посоветовавшись с Ольгой, Анна Михайловна назвала телушку по отцу— Умницей, так и записали в книгу и дощечку с прозвищем повесили на загородку.

<sup>1</sup> Солощая — охочая до еды.

Но смеркалось рано, вот уж и подоена Звездочка, корм ей выдан, подстилка свежая настлана нагусто, и Умница напилась парного молока, пожевала и набаловалась гороховиной и улеглась, вот и дежурные доярки пришли на ночь с фонарями, лепешками и рукодельем,— надо итти домой.

Вечера были особенно тяжелы Анне Михайловне. Она пробовала, управившись по хозяйству, не зажигая огня и часто не ужиная, ложиться спать. Сон приходил сразу, с усталости крепкий, но к полуночи Анна Михайловна высыпалась досыта, вставала, зажигала лампу, бродила по избе, выискивая какое-нибудь дело, и, не найдя его, опять ложилась и, ворочаясь с боку на бок, мучительно ожидала рассвета. И то, что днем, на работе, забывалось, в бессонницу не выходило из головы, и она думала все об одном и том же.

„Только подросли—и на сторону. Скажи, как и не было их, опять мать одна-одинешенька осталась... И что им надо? Кажись, выучились, в люди вышли. Не старое время—на чужую сторону с голодухи бежать. Слава тебе, всего довольно... Ну и живите на здоровье с матерью, работайте, веселитесь, старость ее утешайте“. Так думалось в холодной и черной ночи, и словно бы правильно думалось для их же, ребят, счастья. Но тут, против воли, вспомнилось—не у нее одной сыновья в отлучке, у многих разлетелись кто куда: на поваров, на инженеров, на командиров учатся. Лестно. Плохого ничего не скажешь. И народ везде нужен, такая жизнь пошла, это она тоже понимает. Да вот матерям-то какво? Торчи на печи, разговаривай с веником.

„Вон Костя Шаров, не хуже вас, а по курсам разным не шляется,— хваталась она, как за соломинку.— Женится и живет... Поди, скоро внучатами матку потешит. Худо ли?“

И она видела маленький смеющийся рот, зубок торчал во рту, как кусочек сахара, видела пухлые, точно перевязанные ниточками у локотков и ладошек, ручки—они теребили ее за волосы, за нос, и, склонившись, она щекотала подбородком теплую белую шейку.

— Ну, ладно,—говорила она, ворочаясь.— Женить вас рано. И курсы, леший с ними, не на всю жизнь, вернетесь... Да на долго ли?

Сердце замирало от такого вопроса. Анна Михайловна



старалась не отвечать себе, торопясь, думала про другое, что вот и писем нет, строчки за месяц не написали: живы, здоровы ли, как кормят. Не грех бы и навестить родную матку. Чай, выходные бывают, чем каблучки сшить по городу, взяли бы да и промялись, прошли осьмнадцать верст — долго ли молодым, вроде прогулки... И что это не светает, не пора ли печь затоплять? Нет, уж ни за что она не ляжет еще раз так рано; все бока отлежала, и на сердце нехорошо.

Она шла вечерами в читальню или посидеть к кому-нибудь из соседок, где ребят было побольше. А однажды, под воскресенье, промаявшись ночь, поднялась Анна Михайловна раным-рано, напекла пирогов, сдобнушек, яиц сварила, намешала из топленой сметаны масла и, взяв в колхозе лошадь и попросив Дарью пригнать за домом, съездила к ребятам в город и потом долго вспоминала, как обрадовался Михаил, как уписывал пирог и сдобники, а поев и расспросив о новостях, взял коньки и ушел в городской сад, торопливо попрощавшись с матерью; как насили разыскала она в гараже МТС Алексея, грязного, в масле и копоти, — он не удивился и не обрадовался, словно они и не расставались, но тотчас увел в общежитие, помылся, переделся, молчал и слушал мать, а когда она собралась домой, не отпустил, уговорил переночевать. Он уступил ей свою койку, а сам лег с товарищем, и под утро, когда в общежитии выстыло, мать слышала, как он тихо поднялся и укрыл ее своим пальто. И за одну эту минуту, когда он на цыпочках, босой и очень высокий в предрассветном сумраке, подошел к ней и, стараясь не дышать, чтобы не разбудить, укутал ей ноги, за эту одну минуту она согласна была жить в одиночестве сколько надо для сыновей. И, согрившись, засыпая, она подумала, что, должно быть, вот из таких минуточек и слагается материнское счастье...

Прошли январские морозы, переломилась зима, отгуляли-отплакали докучливые вьюги, и дел Анне Михайловне прибавилось, некогда стало много раздумывать. А там и весна грянула, и с первыми ручьями привел Алексей в колхоз трактор. Посветдело и потеплело в старой избе. Скоро вернулся и Михаил с курсов: подмышкой премия — хромовый портфель и счета с желтыми новыми костяшками, — тут вовсе повеселело в дому.

— Как делишки, товарищ тракторист? Не угостить ли вас орехами, чтоб не пахали вы с орехами? — подтрунивал Михаил над братом. — Сколько изволили подшипничков спалить?

— Пока ни одного.

— Что ты говоришь? Гм-м... Слушай, а кто это в вашей бригаде целый день трактор заводил, не знаешь? — вкрадчиво спрашивал Михаил, весело жмурясь. — Будто бы вертел, вертел, живот надорвал, а машинка ни тпру, ни ну... Вызвали механика, прикатил тот вечером на велосипеде. „В чем дело?“ — „Трактор сломался...“ Осмотрел механик — все в порядке. Что за оказия? Потом глянул случайно в радиатор, а там... воды нет. Знакомая история?

— Выдумывай... — бормотал Алексей, посапывая и краснея. — И вовсе не так дело было.

— А похоже? — не унимался Михаил, покатываясь со смеху.

Анна Михайловна, усмехаясь, качала головой. Алексей взглядывал на мать, хмурился и урчал:

— Ладно, ладно... Расскажи-ка, главбух, много ли ты нащелкал. —

— Десять лет строгой изоляции.

— Не смей так говорить, — сердито обрывала мать. — Болтай, да меру знай. Еще неизвестно, что ревизия покажет.

Ревизия, назначенная Семеновым, много попортила крови Анне Михайловне. Савелий Федорович притаился в избу корзинищу бумаг и каждый вечер приходил с Андреем Блиновым к Михаилу. Они раскладывали бумаги по лавкам и на полу — прямо ни пройти, ни сесть, считали и пересчитывали, стучали на счетах до поздней ночи, не давая спать.

Квитанции и ведомости за первый год сходились как быть следует. Задержалась ревизия на документах второго и третьего года. Но, видать, по пустякам, потому что Савелий Федорович был ласков и весел. Скосив острые глаза и царапая стриженный затылок, он подшучивал, что не миновать ему казенных харчей, насчитает Мишутка утруски и усушки годков на пять с гаком. Придется на старости лет на курорт заглянуть, уж если не в Крым, так в Нарым обязательно.

— Дадим, дадим путевочку, гражданин, не волиуй-

тесь,—в тон ему отвечал Михаил, копаясь в пыльных выцветших бумагах.—Международный вагон прямого сообщения... с решеткой.—Он придвигал к себе поближе лампу, рассматривая квитанции.—Кто же денежные документы простым карандашом пишет?

— На морозе, Миша, чернила стынут. Закон природы.

— А химическим?

— Под рукой не было.

— А резинка, по закону природы, всегда под рукой?

Савелий Федорович таращил круглые, переставшие косить глаза. Он улыбался кротко, непонимающе.

— Какая резинка?

Михаил, насвистывая, рассматривал квитанции на свет, потом передавал Андрею Блинову.

— Бумажка... протерлась,—нерешительно соглашался тот.

Щурясь, Михаил поправлял:

— Протерли.

С лица Савелия Федоровича сползала улыбка, зрачки сбегались к переносью. Высоко, так знакомо Анне Михайловне, вскидывал Гуцин голову.

— Ты, парень, говори, да не заговаривайся,—строго напоминал он.—Может, я где пуд-другой и не довесил или перевесил, с кем греха не бывает... Но чтоб копейку... Ты эти штучки брось!

— Есть бросить эти штучки,—откликнулся, смеиваясь, Михаил, прятал квитанцию в свой хромовый портфель и защелкивал замок.

А Савелий Федорович еще выше поднимал белобрысую голову и, заложив руки за спину, расхаживал по избе петухом. Анна Михайловна с печи смотрела, как шевелятся и сжимаются за спиной Гуцина коротышки-пальцы, как косят и ничего не видят его бычьи, налитые кровью глаза, судорожно дергается верхняя оттопыренная губа, слышала, как скрипят крупные желтые зубы. „Как у лошади...“—с неприязнью думает Анна Михайловна, и ею овладевает непонятное враждебное чувство к Гуцину. Ей кажется, что давно это чувство жило в ее сердце, Анна Михайловна подавляла его, а оно росло, и вот нет больше терпения, оно поднимает ее с печи, заставляет говорить. Она открывает рот, но слов нет, одна злоба. И она кричит другое, совсем другое, и не Гуцину, а сыну:

— У меня не контора... Идите в правление и торчите там хоть до утра... Третью ночь без сна. Убирайтесь!.. Пылищи от ваших бумаг — дышать нечем.

Так и прогнала из избы. Перебралась ревизия в правление. Было это в субботу.

А в воскресенье вечером шла Анна Михайловна на гулянку, посмотреть на сыновей, и видела, как шлялся по-за гумнами горбатый такой человек. Он показался ей знакомым или похожим на кого-то, но она никак не могла припомнить — на кого. А потом она забыла про горбатого, не до того было, загуляли ее ребята по-настоящему, молодцами, и она торопилась посмотреть.

Гулянка была на спортивной площадке, у школы. Окруженные бабами и ребятишками, расхаживали по площадке принаряженные девушки и, взявшись за руки, распевали песни. И звонче всех, приятнее всех выделялся голос Настя. Парни стояли поодаль, возле гармониста. Анна Михайловна постеснялась сразу посмотреть туда, но она чувствовала — сыновья ее там. Она подошла к бабам, поздоровалась, бабы потеснились, и она стала смотреть и слушать девушек.

Настя была в красном шелковом платье, как цветок. Лизутка — в белом кисейном, надетом на розовый чехол, обе в носочках и туфельках-лодочках. К Насте шло все — и складочки на груди, и рукава модными пузырями, и клетчатые носочки на смуглых ногах, и крохотные туфельки под цвет платья. Она первая поклонилась Анне Михайловне, а Лизутка только оглянулась. И кисея на той висела, как на доске, бант сзади приляпан... Такой голенастой, длинноногой не носочки носить и лодочки, а русские сапоги с портянками. Анна Михайловна отвернулась.

Заиграла гармонь, парни, докуривая папиросы, медленно, как бы неохотно, потянулись к девушкам приглашать на танцы. И тут Анна Михайловна увидела сыновей и чуть со стыда не сгорела.

„Не переоделись... Ах, бесстыдники!“

Действительно, Михаил был в будничной майке, заправленной в брюки, и в тапочках на босу ногу. Алексей — в косоворотке, простых сапогах и кожанке внакидку.

„Вот и сряжай их... А они на первое свое гулянье, как на работу, вышли. Еще люди добрые подумают,

что и надеть нечего... Срам, срам!" — гневалась мать и хотела от стыда уйти, но гармонист заиграл, и она на недолечко осталась.

Все, все было не так, как она желала и представляла себе. Парни не ударили каблуками, не хлопнули в ладоши, не закружили девчат. Они медленно протянули им суги и, прямые, неловкие, точно связанные, не сгибая в коленях ног, зашагали по площадке журавлями.

— Это что же... танец такой? — шопотом спросила Анна Михайловна у баб.

— Заграничный... Ш-ш-ш!

— Заграница! — фыркнула Анна Михайловна. — Гармонь воеет, а они, что землемеры, аршинами землю меряют. Велика охота.

Но вот гармонист заиграл другое, торопливое, порывистое, и юпать ни на что не похожее. Парни и девушки смешно засеменили, завертелись, выкидывая ноги, того и гляди, коленками друг друга ткнут.

— Прежде так не плясали, — проворчала Анна Михайловна, обиженная в чем-то самом дорогом, и собралась уходить. — Смотреть противно...

Она пошла домой, но гармонь вдруг грянула знаковую, плясовую, и Анна Михайловна поневоле вернулась и увидела, как Михаил подтянул брюки, потер ладони, ударил ими, свистнул и вылетел на середину площадки. Он пролетел на носках по кругу, выбил дробь, остановился перед Настей, нагнулся, треснул ладонями по коленям и призывно отступил. Настя чуточку помедлила, потом выступила вперед, повела плечами, махнула платочком и поплыла, как лебедь, по кругу. Михаил метнулся за ней в присядку...

Вот это была пляска, так пляска!

И не беда, что Михаил был в старой майке и тапочки свалились у него, он и босыми подошвами выстукивал так, словно на току в семь цепов молотили. Славные он выделывал коленца. У него плясало все — ноги, руки, плечи, глаза. И подстать ему была Настя, ловкая и красивая.

Когда они устали, на смену им вышла вторая пара, третья. Потом Михаил взял гармонь и заиграл кадрили, и Алексей, не танцовавший еще, пригласил Лизутку, и они, высокие, ровные, тоже ладно кружились, не так, как Михаил с Настей, но все же не плохо, приятно было

посмотреть. И бант у Лизутки вроде как был к месту, и платье сидело хорошо, и ноги были совсем не длинные.

Насмотревшись, довольная Анна Михайловна пошла домой. Но спать ей в эту ночь не пришлось. Загорелись Исаевский амбар с хлебом и правление колхоза. Амбар отстояли, а контора сгорела до тла. Когда народ расходился с пожара, Семенов задержал возле своей избы чужого человека. Тот бросился было на него с ножом, но откуда ни возьмись подоспел Гушин, нож отнял, помог связать. Разглядели — Исаев, одет хорошо, а пьяный и вовсе горбатый.

„Так вот кто шлялся вечером по-за гумнами“, — сказала себе Анна Михайловна.

Разговор с ним был короток.

— Ты поджег? — спросил Семенов.

— Хотел, да кто-то до меня постарался, — криво усмехнулся Исаев.

Его увезли в город.

А утром Савелий Федорович ходил по селу и хватал, как он спас от верной смерти председателя колхоза. Заглянул Гушин и к Анне Михайловне, пожаловался:

— Не кончить нам ревизии, Мишутка... Грех-то какой вышел, а?

— Кончим, — сонно и вяло ответил Михаил. — Часок сосну, и за дело примемся.

— Да ведь сгорели документы, чужак.

— Ну, зачем им гореть, — Михаил зевнул. — Я еще вечером их домой приволок. Вон, под кроватью лежат.

Савелий Федорович страшно обрадовался и долго благодарил Михаила.

Но ревизию Михаил все-таки не успел закончить. В полдень Гушина арестовали.

## VIII

Как ни ловчился Никодим, постройку дома он затянул до осени. Старость брала свое. Никодим частенько прихварывал, хотя и храбрился. Впрочем, и это было кстати, потому что отделка избы, прируба, крыльца и светелки потребовала такую уйму денег, что, не подвернись годовалый бычок и заработок Алексея, пришлось бы Анне Михайловне изрядно занимать в колхозе.

Алексей заработал в МТС деньгами, хлебом и все до копеечки, до последнего килограмма отдал матери. Не так поступил Михаил. После распределения доходов в колхозе он зачастил в кооперацию, тайно шептался с заведующим и однажды приволок баян, стоголосо развернул его рябые необъятные мехи, ловко пробежал пальцами по перламутровым пуговкам и рванул „барыню“.

— Вот тебе, Михайловна, музыка... чтоб в новом доме не скучно было.

Мать раскричалась, поплакала, а когда от сердца отлегло, подумала: „Да пес с ним, баловником. Извернусь как-нибудь... Пусть тешится, коли охота есть“.

Она еще для прилику покосилась и поворчала с неделю на транжиру-сына, а потом, как-то вечером, попросила сыграть свою любимую „У меня, у молоды, четыре кручины“.

Михаил не знал песни. Она напела мотив, как умела, сын быстро и верно подобрал голоса, от себя прибавил печальные переборы и, усмешливо и с любопытством поглядывая на мать, так сыграл, что она простила ему эту дорого стоящую покупку.

Перебирались в новый дом в сентябре. Ребята живо перетаскали на улицу лавки, комод, стол, кровать, одежду и горшки. Все не ушло на один воз. Кажись, и не много было добра в старой избе, а как вынесли, вытряхнули, набралось порядочно, не считая мешков с хлебом, ларей и кадок. Анна Михайловна подобрала каждую тряпку, каждый черенок, повывернула гвозди из стен, даже облезлый веник прихватила — в новом хозяйстве все пригодится.

Она не пустила сыновей сразу в новую избу, а, по обычаю, отнесла туда сперва кошку.

— Иди с богом, живи, — сказала она, сажая кошку на порог в прихожей. — Тут гнездо твое.

Кошка мяукала, царапалась и рвалась в дверь, на улицу.

— Полно, глупая, — уговаривала ее Анна Михайловна, присев на корточки и лаская. — Обнюхаешься, поди как хорошо будет. Ну, иди же!

Кошка долго не решалась переступить порог, но сидела уже смиренно, а потом, точно послушавшись хозяйки, выгнула горбом спину, потерлась о подол, мурлыкнула

и тихо скользнула на пол. Медленно переступая, на-вострив уши, она обошла прихожую, кухню, заглянула в зал, вернулась и прыгнула на печь.

— Ну вот и нашла свое место,— усмехнулась Анна Михайловна.

Когда все перевозили и перетаскали, расставили и развесили, Анна Михайловна прошлась по гулкому полу, огляделась, потрогала бревенчатые с янтарными висюльками смолы стены — и не почувствовала радости.

— Пустовато...— вздохнула она,— все какое-то чужое... холодное.

Она украдкой вернулась в старую избу. Печь зияла черным открытым устьем, слабо синели вечерним тихим светом оконца, паутина висела в красном углу, там, где была божница: на полу, в мусоре, валялась оброненная вилка. Здесь, в старом доме, тоже было пусто, но пахло еще жильем.

Анна Михайловна подняла вилку и, усталая, грустная, постояла немножко посредине избы.

„Ломать неохота, а придется... И ничегошеньки не останется от прежней жизни моей,— подумалось ей.— Не сладко было, а все-таки жалко чего-то... Век прожила, легко сказать... Ну, ладно, видать, к новому дому надо привыкать“.

Она заглянула в чулан, сняла с гвоздя забытый платок, пошарила по углам, не завалилось ли еще что путное, спустила по привычке щеколду на двери и вышла двором на улицу. Она шла проулком к новой избе и все оглядывалась.

— Ничего, так надо, так надо,— говорила она себе, плотнее сжимая губы.— Свыкнусь... радоваться должна, а не плакать.

## IX

Новоселье справляли в октябре, в первое воскресенье. Еще за неделю до праздника Анна Михайловна приготовила солод и в субботу сварила корчагу пива. Сусло вышло крепкое, темное и такое сладкое, хоть не клади сахара. Положили в сусло дрожжей, хмеля, изюму и, заткнув плотно кувшины, поставили пиво на печь — бродить. Из кооперации Анна Михайловна принесла селедок, рису, конфет, малосольного судака, круг колбасы, красивую, конусом, бутылочку рябиновки и две литровки



мужидкой благодати — русской горькой. Ребята зарезали барашка. Анна Михайловна вымыла белый, еще не успевший пожелтеть, пол, постлала дерюжки в прихожей и в зале, в спальню половинок нехватило, протерла мелом стекла в „горке“ и окнах, начистила кирпичом старый самовар, растворила пшеничное тесто, прибралась в новой избе и так уходилась-убегалась за день, прямо не помнила, как и добралась до постели. А главная стряпня еще была впереди.

Раным-рано встала в это утро Анна Михайловна. Впотьмах торопливо пошла на кухню. Не привыкнув еще к новой избе, натолкнулась на табуретку, зашибла коленку и не сразу нашла дверь из спальни.

— Заблудишься... дворец и есть, — бормотала она, потирая ногу, досадуя и усмехаясь.

Зажгла лампу, быстренько подоила корову, принесла дров и, готовясь к стряпне, впервые по-настоящему оценила просторную кухню, шкафчик, полочки, широкий, точно стол, шесток — все эти не веданные ею маленькие бабьи удобства. Можно было ворочать клюкой и ухватями, не боясь, что в окно заедешь, есть место, где квашню поставить и пироги развалить.

— Подсобишь, что ли... обещал? — шопотом побудила мать Алексея.

— А? Чего? — тревожно откликнулся он, поднимаясь на локти, таращась на свет и не понимая ничего со сна.

— Говорю — подсобишь али не выспался?

— Подсоблю, — сипло ответил Алексей, приходя в себя.

— Может, и мне... дельце какое... найдется? — спросил Михаил, зевая и потягиваясь.

— Найдется, — добро сказала мать, — делов прорва, не знаю, как и управиться... Вставай.

Втроем принялись они за стряпню. От Михаила, впрочем, помощь была невелика. Он больше работал языком и все пробовал, что подвертывалось под руку, — студень, изюм, сдобное тесто, даже от малосольного судака, который с вечера мокнул в воде, отрезал кусочек, пожевал и выплюнул.

— Одна соль... не соответствует своему названию.

Зато Алексей старался и, помалкивая, так быстро и круто замесил тесто для пирогов, что вызвал одобрение матери.

— Жена с тобой не пропадет.

— Вот еще... Я и не женюсь... больно нужно, — про-  
бормотал, розовея, сын.

— Сказывай... Не вижу я, как Лизутка по десять раз  
на дно мимо окошек пробегает.

— Правильно, правильно, Михайловна. Я ее вот как-  
нибудь по длинным ногам поленом угощу, — отозвался  
Михаил, внимательно поглядывая на печь.

— Ты Настю угости. Она всю воду у нас в колодце  
вычерпала... тебя по вечерам поджидает, — оборонялся  
брат.

— Что ж, Настя — девушка симпатичная, передовая.  
Я ее в комсомол рекомендовал. Поленом-то крестницу  
словно бы и неловко.. не по уставу, — отшучивался Ми-  
хаил. — Нет, ты послушай, Михайловна, — болтал он, — иду  
я третьего дня из конторы, подзапоздал, темно... Под-  
хожу к дому и слышу — за углом шебаршит. Не иначе,  
думаю, строчикина корова, шатунья, мох рогами ковы-  
ряет. Ну, стой, думаю, задам я тебе. Снимаю ре-  
мень, подкрадываюсь... И только собрался огреть,  
вдруг корова-то и заговорила человеческим голосом:  
„Ах, Леня, — говорит, — поедешь в город, на завод —  
я с тобой. Страсть хочу инженером быть“. А он, наш  
Леня, корову-то... извиняюсь, будущего инженера — чмок,  
чмок.

— Это еще какой завод? — Анна Михайловна нахму-  
рилась, гытливо взглядывая исподлобья на Алексея.

Он рубил мясо в пирог и словно оглох, сечка у него  
так и плясала в корыте.

— Не могу знать, — ответил Михаил за брата. — Должно  
быть, машиностроительный. Алексей Алексеевич спит и  
видит себя механиком.

— Никуда я вас не отпущу, — сурово отрезала мать, —  
и не выдумывайте.

— И не отпускай Лешку, обязательно не отпускай, —  
со смехом подхватил Михаил. — Уедет — копейки не при-  
шлет. Всю выручку на Лизочку потратит. Как же, элева-  
тор, прямо сказать — небоскреб. Которая на платье и  
тремя метрами обойдется, а ей все пять да пять... Я бы  
запятился от такого креп-де-шина. Я, например, как  
кончу летнюю школу, первое свое жалованье...

— На велосипед, — подсказал брат.

— Нет, иду на почту и посылаю Михайловне...

— Баян в подарок.

— Ну, будет вам, будет, замололи мельницы,— скавала, посмеиваясь, мать. Раскрасневшаяся от огня, она легко подняла на шесток чугуи с водой, прихватила тряпкой кринку с убежавшим молоком и заодно посмотрела румянившуюся на сковороде баранину.— Скоро ли картошку начистишь, летун еропланый?

— Сию минуточку. Кстати, Михайловна,— вкрадчиво сказал Михаил, не спуская глаз с печи,— пивко-то надо бы исследовать... не скисло ли. Разрешите навести пробу опытному лаборанту. А с чем у нас сегодня лапша будет?

Анна Михайловна уронила кочергу.

— Ай, батюшки! Про лапшу-то я и забыла. Пес ее задержал.. Ведь с курицей хотела.

— Которой прикажете свернуть головку?— живо спросил Михаил, хозяйничая на печи с кувшинами.— Пивцо в самый аккурат, злое, в нос бросается. Чистая брага... пробуйте, пока не заткнул... Хохлушку или Чернуху резать? Можно обеих.

— Бесхвостую, ее самую, Чернуху,— распорядилась мать:— корм жрет, а яиц от нее не выдывали... Да, как опалишь курицу, сбегай к Никодиму,— наказывала она, расторопно управляясь разом с несколькими делами,— стол попроси, скамей парочку, посуды там... Скажи Никодимушке, чтоб приходил уже непременно, и зятя зови... Беда, сгорят у меня пироги, не знаю, как печет белое жовая печка. И дров, кажись, чуть подбросила, а жару хоть отбавляй. Почернеет в уголь баранина... И тесто не поднимается, фу ты, пропасть!

Но все шло хорошо, все сегодня удавалось Анне Михайловне. Она ворчала и волновалась, а баранина румянилась себе да румянилась, плавая на сковороде в жиру и соку, и тесто для пирогов поднялось во-время белой шапкой над квашней, пышное, сдобное, и студень был крепкий, хоть ремни из него режь, и пиво чуть не вышибало из кувшинов.

„Никогда у меня еще не бывало такого праздника. Только бы перед гостями не осрамиться“,— думала Анна Михайловна, летая по кухне в приятных хлопотах.

Шаркая обсоуженными валенками, в избу влез Ваня Яблоков, с порога вобрал дрогнувшими ноздрями аппетитные запахи и, не снимая шапки, только поправив ее, громко и весело заговорил:

— Иду мимо — гляжу, дым из трубы валит, прямо как на фабрике... и огонь во все окна полыхает. Уж не пожар ли, думаю, в новом доме, дай проведу, зайдв... Здравствуйте! Жару вам в печь... с новосельем, Анна Михайловна!

— Спасибо, Ваня, — ласково отозвалась Анна Михайловна и, понимая, что означает это раннее посещение избы Яблоковым, оторвалась на минутку от печки и поднесла стопочку. — Выкушай.

Яблоков изобразил на лице полагающееся в таких случаях изумление.

— Что ты, Михайловна, да разве я за этим!.. Я так... вижу, дым больно валит, дай, думаю...

Но рука его, не слушая хозяина, уже приняла и бережно держала стопку. Яблоков покосился на стопку, точно удивляясь, откуда она взялась, хотел еще что-то сказать, но стопка сама опрокинулась в рот. Ваня сладко зажмурился, проглотил, сплюнул и, уже закусывая селедкой и горячим картофелем, подсунутыми Анной Михайловной, запоздало прохрипел:

— С праздником вас, с новым домом.

Анна Михайловна поднесла еще. Не отказываясь больше, Яблоков тотчас повторил и полез за кисетом.

— В которых колхозах праздничек, а у нас всегда будни, — оживленно заговорил Яблоков, опускаясь у порога и подворачивая под себя колено. — Гнешь-ломишь хребтину за лето, и хоть бы тебе рюмку председатель когда поднес. Везде, честь по чести, день урожая справляют, а наш отмитинговал, а про остальное и не заикается.

— Бережливый человек, общественной копейки на баловство не изведет, — заметила Анна Михайловна.

— Да какое же это баловство? — обиделся Ваня. — Поработали хорошо, и отдохнуть надо в удовольствии. Прежде как? Год стараешься на хозяина, с ног валишься, а прикатишь из Питера — первым делом, стало быть...

Анна Михайловна оборвала:

— Брось ты про свой Питер. Сто раз слышала. Это ты вон Ленке болтай, он старого не знает, может, и поверит. А я-то сама встречала питерщика... не приведи господь!

— Нет, я, брат, та-ак жил... Ну, взять и нынешнее время. Намедни иду Кривцом... Батюшки мои, столы

на улицу вынесены... Чего только нет!—Ваня вскочил на ноги, потер руки и захлебнулся слюной.— Два барана зажарены, лопни мои глаза, так целехонькие на противнях и красуются. Гусятина с яблоками, пироги—что твои заслоны... Мед прямо ложками из бадейки хлебуют. Вина—хоть облейся. Я было считать бутылки... куда там! Со счета сбился.

— А не попробовал?—спросил Алексей, рассмеявшись.

— Отказывался... зазвали... усадили... пришлось попробовать.—ответил Яблоков, важно приосанясь.

И, не дожидаясь вопросов, принялся длинно, с наслаждением, рассказывать, как наложили ему гусятины полную тарелку и баранины, сало с нее так и течет, что вода, как завели бабы патефон, песни хором пели, как пирога он даже съесть не мог, два куса одолел, а третий в карман положил.

— Так нагостился, так нагостился... Н-ну, скажу тебе—чистый Питер, даже лучше Питера,—заклучил он, восхищенно качая головой и причмокивая.— Не помню, как и домой добрался... Прихожу, кричу ребятам—гостинца вам принес, пострелята! Хвать за карман—и нет ничего... пирога нет. Должно, потерял дорогой.

— А может, съел?—пошутил Алексей.

— Может, и съел,—серьезно сказал Яблоков.— Больно хорош был пирог-то... во рту тает. Не помню... может, и съел.

Ваня помолчал, старательно обсосал хвост и голову селедки.

— Вся-то сладость жизни—выпить да закусить,—глубокомысленно промолвил он и вздохнул.

— Заработай—и выпьешь,—сказала Анна Михайловна, начиная сердиться.—Пить мастер, а на деле тебя нет... Да в работе самая сладость и есть!

— Поди-ко. Небось, ты дрова пилить гостей не заставишь, а за стол посадишь.

— Тьфу! Да ты что же думаешь, они из-за рюмки ко мне придут? Радость со мной хотят разделить.

— За столом и мне радостно.

— Ой, не вводи меня сегодня в грех, Яблоков,—грозно сказала Анна Михайловна.—Язык у тебя болтает, а чего—и сам не знает.

— Знать-то он зна-а-ет,—протянул Ваня, ерепенясь, но, взглянув на Анну Михайловну, смутился, забормотал:—

Порченный я Питером... Чего кричишь? Я все понимаю. Мне бы вот только... Ты уж того... налей еще стопочку... последнюю.— Он нахально улыбнулся.— Селедка-то у тебя больно хороша, посолился—пить хочется.

Алексей молча брезгливо пододвинул Яблокову початую бутылку.

## Х

Гости собрались к обеду. Пришли Николай Семенов, Петр Елисеев и Костя Шаров с женами, приехали дальние родственники из-за Чернолесья, прихромал Никодим с зятем.

Все были разодеты по-праздничному, молчаливо-торжественные, немножко стесненные одеждой, неловкие, как это всегда бывает перед началом большого, хорошего пира. Костя Шаров даже надушился, и Катерина, сердито-счастливая, шумя черным шелковым платьем, все отодвигалась от него, говоря, что ей прямо дышать нечем. Николай Семенов пообстриг свои рыжие лохмы, стянул шею белым твердым воротничком, галстук нацепил и с непривычки не мог ворочать головой, держал ее неестественно высоко и прямо, точно конь из засупоненного хомута.

Пока мужики, сидя по обычаю на крыльце, курили крепкую, запашистую махорку и дорогие, праздничные папиросы, изредка степенно перекидываясь словечком о том, о сем, бабы, засучив рукава кофт и повязавшись полотенцами и фартуками, чтобы ненароком не испачкаться, взялись подсоблять Анне Михайловне. Живо сдвинули они столы в зале, накрыли их новой, пахучей клеенкой, расставили угощение. Для всего на столах нехватило места, пришлось кое-что отнести обратно на кухню, про запас.

На почетном, самом видном месте красовались любимые всеми селедки с картофелем, зеленым луком, югурцами, яйцами в масле и по-городскому—в сметане, кому как нравится. Дрожал и просился в рот, чтобы там растаять, студень с хреном, прозрачный и холодный, точно лед. Розовое мясо бараньих ножек, мелко изрубленное, точно вмерзло в эти ледяные глыбы, возвышавшиеся на тарелках. Хороша была дроблена. Ее только что вынули из печи, дроблена—желтая, как масло, вздреватая,—пылая румяным жаром, дышала и шеве-

дилась на противне. Маринованные грибы тоже были по-своему замечательные. Красные, крохотные, словно пуговицы, рыжики утонули в сметане. Побелевшие твердые и крупные шляпки боровиков, толстокоренных подберезовиков плавали поверху, вместе с голубоватыми нежными груздями, сочными волнушками, серянками и прочей лесной дичью на одной ноге. Отдельно было выставлено блюдо с сиреневыми, неказистыми на вид, но очень приятными на вкус, маслятами. А там шли тарелки с колбасой, яблоками, домашним печеньем, мало-сольными огурцами, пропахшими укропом и листьями черной смородины, блюдо со свежеспеченным ржаным и пшеничным хлебом. В промежутках между посудой виднелись бутылки русской горькой, словно пустые, — такая чистая, как слеза, была эта мужицкая благодать, пузатые графины с пенно-коричневым, густым пивом, рябиновка.

А на кухне еще дожидались своей очереди кислые щи со свининой, лапша с курятиной, жаркое, сдобники в масле, толченом сахаре и вареньи. Но чудом стряпни, пожалуй, все-таки были пироги, золотистые, рассыпчатые и такие пышные, что Анна Михайловна, пригласив гостей за столы и покосившись на горы ломтей, дымивших горячей ароматной начинкой, даже засовестилась.

— Не обессудьте, что есть... Кушайте, — по обычаю сказала она и невольно рассмеялась: так эти старые, подвернувшиеся на язык, слова не подходили к угощению, которое она предлагала.

— Э-э, завалила столы добром да еще извиняется!

— Пироги-то держите... улетят.

— Ну и дрочена... да она у тебя, Михайловна, живая.

— Я к студню поближе. Студень с хренком — любота, — шутили и переговаривались гости, рассаживаясь и облюбовывая каждый то, что ему было по вкусу.

— Ну, что ж, — сказал Семенов, поднимая стопку и чокаясь с Анной Михайловной, — выпьем за новый дом, чтоб он дольше стоял, за его хозяев, чтоб они сто лет прожили.

— С ручательством... Любота!

— Замочим половицы, чтобы не рассохлись...

— Косяки не корежило!

— Матица не гнулась!

— Печь не дымила!

— Выпьем, чтоб работалось сладко, жилось гладко... сыновья — женились, внучата родились, а ты, Михайловна, глядя на них, радовалась.

Звон не смолкал над столами.

Смеясь, чокаясь, все желали наперебой Анне Михайловне самого хорошего, что только можно было пожелать в такой час.

Держась за краешек стола, она клаялась гостям, благодарила, рюмка прыгала у нее в руке, и рябиновка тягучими каплями падала на клеенку.

Вот и исполнилось то, о чем мечтала всю жизнь Анна Михайловна. Она выстроила новую избу, и гостей позвала, и есть чем угостить их. Ей было так радостно, приятно, даже больно, что, кажется, уж ничего нельзя больше ждать, а она ждала, чего-то искала. Она взглянула на сыновей и нашла то, что искала.

— Спасибо,— сказала Анна Михайловна растроганно,— за хорошие слова спасибо. Нет, выпьем спервоначалу за добрых людей... за правильных... за него, отца нашего... Человеком я стала... и ребята у меня... Мишка, не смей зубы скалить! Про сурьезное говорю. Через колхозы все это. Живешь — и не веришь. Ну, вот. От души... я так сча... и выпьем,— она запуталась в словах, смолкла, но все поняли ее, закричали, захлопали в ладоши, еще раз чокнулись и выпили.

Анна Михайловна пригубила из рюмки, поуспокоилась и стала потчевать гостей.

Пир удался на славу. Гости ели да похваливали стряпуху. На свадьбе ей готовить, мастерице. Всего, всего довольно, разве что птичьего молока не хватает, право. И не угощай, не набивайся — руки свои, что хотят, то и берут. Колхозом работаем — колхозом и за столом сидим, управимся, не беспокойся. Сама-то ешь, не бегай, привязать ее к табуретке, хлопогунью. А пивка подбавь, это ты правильно сообразила, здорово оно тебе удалось. С такого пива запляшешь живо.

Каждый нашел свое любимое кушанье. Петр Елисеев, опрокинув вторую стопочку и отведав дробленки, подвинул противень к себе поближе. Дарья, Катерина и Ольга, раскрасневшиеся от рябиновки, все пробовали и не могли напробоваться пирогов. Никодим говорил зятю, что такого студня он еще в жизни не едал, глаза его сле-



зились от крепкого, забористого хрена. Николай Семенов скоро расстегнул твердый, давивший горло, воротничок, развязал галстук, помотал облегченно головой и на пару с Костей Шаровым налег на грибы и селедку. Михаил, болтая с гостями, тянул стакан за стаканом пиво, заедая его яблоками. Алексей, начав с селедки и колбасы, аккуратно дошел до пирога, ел и помалкивал. И только одна Анна Михайловна, как и все хозяйки на пиру, почти ни до чего не дотрагивалась. Как в прежние годы, когда она кормила ребят картошкой и была сыта тем, что глядела на сыновей, так и сейчас она забыла про себя, потчужа гостей и радуясь их аппетиту.

Хороша была еда, но не в ней заключалось самое важное. Самое важное было в разговорах, задушевных, возникших за столами как-то незаметно, точно раздумье на отдыхе.

— Смотрю я вокруг и глазам своим не верю. Что с народом сделалось!— говорил Никодим, зарядив нос табаком и блаженно громко чихая.— Душевный народ стал, благородный, уважительный. Любота!.. С чего бы это? От богатства, скажешь? Да прежде богатые-то самые подлые люди были. Все на моей памяти... А теперь... Радостно, приятно, а понять не могу.

— И понимать нечего — колхоз,— заметила Дарья.

— Колхоз, он землю переделывает, не душу.

— Точно. Душа, брат, сама по себе...

— Бытие определяет сознание,— звонко вставил Михаил, насмешливо поглядывая на старого Никодима.

— Это что за бытие?— рассердился тот.

— Спроси у Карла Маркса.

— Марксова Карла знаю. В читальне портрет висит. На меня похож, с бородой... Что за бытие, спрашиваю?

— А вот какое бытие,— сказал Николай Семенов, задумчиво разглядывая груздь на вилке.— Был намерен такой случай. Поднимал один тракторист зябь. Поле большое, колхозное, время горячее. Выехал утром, пахал до вечера... Ждет смены, а ее нет. Забыли трактористу сменщика прислать.— Семенов мельком взглянул на Алексея, тот покраснел и торопливо потянулся через весь стол за печеньем.— Ему бы перекусить пора, отдохнуть, а трактор не пускает, зябь колхозная не пускает, словом — долг, совесть не позволяет на сегодняшний день... Так он, этот самый тракторист, и оттрохал три смены

без передыху и еды... Вот тебе бытие и сознание. Ясно?

— Что-то знаком мне сей тракторист,— Михаил подмигнул.

— Молчи,— тихо сказал Семенов.

— А про казначея Павла слышали, из „Нового пути“?—спросила Ольга Елисеева.—Какая с ним история недавно приключилась. Шел он по бригадам авансы раздавать. Лесом шел и на грибы прельстился. Брал, брал грибы в шапку, да шкатулку с деньгами где-то и потерял... И что же вы скажете? Нашла Александра Козлова. Бруснику брала и нашла. Отдала... Пять тыщ в шкатулке лежало.

— А я все еще мучаюсь,—признался Петр, захмелев.—Старым мучаюсь... Буянка своего видеть не могу, так во мне все и переворачивается.

— Полно, Петр Васильич, поклепы на себя напрасные возводить,—сказала Анна Михайловна.—Кушай-ко... пирожка отведай, колбаски.

— По горло сыт. Не-ет, брат, душа-то у нас еще черная... Ну, на хороший конец, серенькая. Далеко-о до светлой души!.. Но будет она. Верю. Не зря воевали.

— Воевать нам еще придется,—значительно сказал Костя Шаров, закуривая папиросу.

И все мужики за столом, как-то сразу протрезвев, согласно кивнули Косте и сурово нахмурились.

— Не миновать.

— Точно.

— Мир-от надвое расколот.

— Фашизма башку подняла.

— Неужто правда, что про фашистов пишут?—спросила Анна Михайловна.

— Врать незачем.

— Да это не люди, звери какие-то!

— Именно,—подтвердил Николай.—Звери, которые всех сожрать хотят. А нас — в первую очередь.

— Подавятся!

Петр ударил по столу кулаком так, что подпрыгнули и загремели тарелки и вилки.

— У нас — Сталин... народ у нас... правда! Стеной встанем за свою жизнь. Вот!

— Не приведи, господь, войну...—вдохнула Ольга, отодвигая подальше от мужа стопку и вино.

Анна Михайловна промолчала. Как всегда, ей вспомнился муж, и стало тяжело и грустно. Украдкой она взглянула на сыновей. Неужели придет время, когда и их придется ей провожать? Проводит, да и не встретит никогда...

— Кушайте, гости дорогие, кушайте, — принялась она снова угощать, отгоняя тревогу, вдруг охватившую ее.

Она была рада, что разговор вскоре перешел опять на колхозные дела. Толковали о льне — всем богатстве.

— Слыхал я, льны наши брагинские имеют историю давнюю, — сказал, между прочим, Николай Семенов. — Любопытная история, вот послушайте... Сказывают старожилы, в восьмидесятых годах заимел эти семена мужик один из деревни Морганово, Крюковской волости. Да как его звали, постой?... Иван, нет, Тимофей, вроде Иванович, по фамилии Смирнов. Вот как его звали, точно. Смирный был мужик, в аккурат по своей фамилии. Сказывают одни, что семена льна Тимофею принесла жена в приданое, до замужества она, слышь, батрачила в Тверской губернии, у барина какого-то льном раздобылась. Другие спорят — мол, Смирнов сам привез льносемена из Питера. Отходник был Смирнов-то, по печному делу мастер... Так или иначе, раздобылся наш Тимофей новым льном и посеял. И что же вы думаете? — Уродился лен в первый год редкий-прередкий, прямо смотреть срамota.

— Бывает, — согласилась Анна Михайловна, — с землей не породнился, чужаком рос.

— Ну, Смирнов этот, стало быть, разобиделся, хотел все семена на масло сбить, да сосед отговорил, Лука Фадеев. Дошлый был человек, жадный, проныра, попросту сказать, по-нынешнему — кулак. Подметил он, что смирновский лен хоть и редок, да высок, стеблем тонок и в волокне — серебристого отлива, нежен, прямо девичьи косы. Откупил он у Тимофея все до единого зернышка и такой лен на другой год выростил — барышники на базаре прямо с руками волокно рвали. Он цену ломит, а им нипочем, давай и все тут.

— Промазал твой Тимофей, дурак, дурак! — воскликнул Петр Елисеев, с интересом следя за рассказом.

— Дело ясное. Поахал Смирнов, да поздно. Лука горсти семян не дал, как уж он ни кланялся. Затвердил Лука одно: примета, слышь, есть: разживутся семенами соседи — переродится лен. На сегодняшний день

сказать — конкуренции боялся... Десять лет охранял свое льняное серебро Фадеев, разбогател — страсть. Только один раз сдал, заговорил ему зубы весельчак Ефим Селезнев, что в Брагине жил, может, помните?

— Это который гармошки делал?

— Он самый. Батрачил Ефим у Фадеева, погорел, и уж как он своего хозяина обломал — не знаю, только отвалил ему Лука два пуда и клятву взял: даже тцу родному не давать льна на развод. Побожился Ефим, а как снял первый урожай — роздал семена в Брагине по хозяйствам. „Сейте, — говорит, — братцы, назло Фадееву. Уж больно он, жила, меня в батраках давил. Сейте больше, может, счастье нам привалит...“ Вот так и дошел до нас брагинский лен, — закончил, усмехаясь, Николай и поднял стопку. — Выпьем, что ли, за лен наш счастливый?

— Воистину счастливый, — откликнулась Анна Михайловна, чокаясь. — И еще счастливой будет, коли мы по клеверищу станем сеять. Лен и клевер — что муж и жена, всегда вместе.

— Ноне это не обязательно, — рассмеялась Катерина, косясь на Костю. — Вон Игнаша со своей женой разбежался.

— Того, знать, стоила... Лен — растение сурьезное. Трудов не пожалей — лен тебя отблагодарит. Я десять центнеров волокна берусь с гектара дать.

— Высоконько хватила, Михайловна!

— Десять — сбесят.

— Мирись скорей на пять.

— Десять, — не уступала Анна Михайловна. — Помяни мое слово, дам десять. Я тебе, Коля, скажу, в чем секрет: в густоте посева и чтобы ленок выстоял. В Бельгии, чу, сетки такие железные употребляют, чтобы не полег лен. Ну, а мы жерди приспособим, колышки. Я все обдумала. Вот еще этого супе... супостату раздобыть.

— Суперфосфату! — захохотал Михаил. — Малограмотный язык у тебя, мамка.

— Верно, малограмотная я, — призналась Анна Михайловна. — Поучиться бы мне немножко.

— За чем дело стало? — весело сказал Семенов. — Учись. Одобряю. Прикрепим к тебе учительшу. Овладевай наукой. Ребята тоже помогут.

— Подсобим,—вставил Алексей свое первое слово в застольную беседу.

— Обучим, как по алгебре пироги печь,—рассмехался опять Михаил.

— Цыц!—грозно прикрикнула на него мать.—Я не шучу... Чем зубы над маткой скалить, лучше бы сыграл нам на гармошке.

— Любота! „Барыню“!.. На одной ноге спляшу.

Пир был в самом разгаре. От выпитой наливки у Анны Михайловны немного шумело в голове. Все были веселы, но не пьяны, говорили громче обычного. Анна Михайловна зажгла лампу-„молнию“, и от ровного яркого света заиграли самоцветами стаканы с крепким чаем, рябиновка, графин с пивом. На душе стало еще легче, веселее. Нехватало только музыки.

— Потрудись, Миша, на общую пользу,—попросила Ольга.

Михаил живо вылез из-за стола, взял баян и, склонив кудрявую голову к мехам, точно прислушиваясь, как вздыхает, плачет и смеется гармонь, рассыпал плясовую.

— Выходи, у кого ножка легкая!

— Была легкая, да укатали Сивку крутые горки...

— Топни, топни в новой избе,—подзадаривал Петр Елисеев Анну Михайловну.—Не бойся, пол не проломишь... Катерина, Костя, молодожены, а вы что же?

Как всегда, первым плясать никто не решался, стеснялись. Даже Никодим, нахваставшись, прилип к табуретке и лишь притопывал здоровой ногой под столом. Но пляска была нужна, это чувствовали и желали ее, и Николай Семенов, бросив недокуренную папиросу, поднялся из-за стола.

— Разучились?—спросил он насмешливо.—Могу напомнить маленько... Ре-же, Миша!

Высокий и ладный, прошел он к гармонисту, постоял, словно подумал, и, взмахнув руками, как крыльями, неслышно полетел по избе.

— Во-на! Знай нашего председателя... везде передом!—восхищенно прохрипел Никодим, ерзая на табуретке.

Николай подлетел к Анне Михайловне и, не спуская с нее светлых смеющихся глаз, топнул, закинул руки за спину и отступил зазывной чечеткой.

— Ах, чтоб тебя!

Анна Михайловна сорвала с головы платок, для чего-то вытерла губы, махнула платком и поплыла, как умела, по кругу, покачиваясь.

— Покажь, покажь ему!

— Не ударь лицом в грязь, Михайловна!

Николай пустился в присядку...

Еще не кончила плясать первая пара, как грохнул табуреткой Никодим. Прибаутничая, он завертелся на здоровой ноге, выделявая больной замысловатые коленца.

— Бабоньки, молодочки, неужто старику поддадитесь? — закричал он.

— Как бы не так, — сказала Катерина и, шумя шелковой юбкой, смело вошла в круг.

Дарья и Ольга снисходительно рассмеялись. Нет уж, не ей плясать, мужиковатой, деревянной, как ступа, молодухе.

Никодим захромал к ней, игриво обнял за просторную талию. Катерина отвела его руку, неспеша оправила платье и ударила в ладоши. Она выкинула вперед, словно повесила в воздухе, тяжелую грудь, и все увидели, как затрепетали ее угловатые, вдруг ставшие мягко-круглыми, плечи. Точно отделившись от пола, завертелось упругое, сильное тело Катерины.

— Царь-баба... ух! — тихо выругался Петр Елисеев и переступил занывшими ногами.

Уже давно Никодим отступил к стене, затихли ошеломленные гости, давно Костя Шаров ревниво следил за женой, Михаил перебрал все плясовые мотивы, но пальцы его никак не успевали за темпом танца. Но вот Катерина выпрямилась, точно скинула ношу, и, замедляя движения, в такт музыке, бережно понесла по кругу свое полное, сытое счастьем, тело. И сразу, будто застыдившись, убежала за стол, под восторженные хлопки и крики „браво“. Она подсела к мужу, а тот, сердясь на что-то, отодвинулся.

— Полно, глупый, — смеясь, сказала ему Катерина, обмахиваясь платком и тяжело дыша.

Потом пели хором песни, старинные, которые Анна Михайловна очень любила.

Никодим, пригорюнившись, сипло затынул:

Бережочек выблется  
Да песочек сыплется,  
Ледочек ломится.

Добры кони тонут,  
Молодцы томятся:  
Ой, ты боже, боже!  
Сотворил ты, боже,  
Да небо и землю,  
Сотвори же, боже,  
Весновую службу...

Гости подхватили широкую, как Волга, заунывную бурлацкую песню:

Не давай ты, боже,  
Зимовые службы,  
Зимовая служба —  
Молодцам кручинно  
Да сердцу надсадно...  
Ой, ты дай же, боже,  
Весновую службу.  
Весновое служба —  
Молодцам веселье,  
Сердцу утеха ...

Анна Михайловна тихонько подтягивала и видела, как сыновья непонимающе таращатся на гостей. Михаил пробовал вторить на басах, но вскоре бросил. „Горя не хлебнули, оттого и песня им чужая... И хорошо это, хорошо“, — думала мать. А песня все лилась и лилась, печаль ее сменилась удалью. Никодим, вскочив, размахивал вилкой, и, послушные ее властным, стремительным взлетам, гости рванули:

И возьмете, братцы,  
Яровы весельца,  
А сядемте, братцы,  
В ветляны стружечки  
Да грянемте, братцы,  
Ой, да вниз по Волге!

## XI

Долгое время Анне Михайловне было как-то не по себе в новом доме. Слов нет, изба вышла светлая, просторная, есть где разойтись веником и мокрой тряпкой. Спина уставала у Анны Михайловны, когда приходилось подметать пол. Но все же необжитый дом казался ей неприветливым и холодным.

— Как в сарае, прости господи, — огорченно говорила она. — Дров не напасешь... замерзнем зимой.

Купили и поставили круглую железную печь, обложили избу снаружи соломой и мохом — заметно потеплело, но дом от того не стал приветливее. Главное — он был пустынен. Домашний скarb Анны Михайловны, наполнявший старую избушку и всем своим незатейливым, поношенным видом как-то соответствовавший ей, здесь, на просторе, выглядел убого.

В девять окон врывается свет в избу. И сразу стало видно, что комод облысел и стекла в горке выбиты, что кровать — деревянная и с клопьяными неотмываемыми пятнами, что стол искоблен до ям и один-одинешенек на горницу, спальню и кухню, зеркало мало, засижено мухами и кособочит человека. Нехватало скамей, плешек с цветами, не было занавесок на окна, пикейного покрывала на кровать и многого другого. В довершение ко всему, как ни остерегалась Анна Михайловна, занесла из старой избы тараканов.

— Видно, не нам в хороших домах жить. Кишка тонка, — жаловалась она сыновьям. — Послушалась я вас, старая дура, выстроила амбарище, и теперь хоть плачь. С улицы посмотреть — будто и путные люди живут, а взойдешь... срам.

— Не все сразу, мама, — рассудительно отвечал Алексей. — Наживем добро.

— Скорей умрешь, чем наживешь.

— А по мне и так хорошо, — смеялся Михаил, наигрывая на баяне. — Был бы чайшко с молочишком... да с потолка не капало.

Мать пригрозила:

— Вот продам твою музыку и куплю кровать с серебряными шишками. Небось, запоешь тогда у меня.

— Повешусь... Ах, Михайловна, ничего ты не понимаешь! Да мой баян, можно сказать, весь твой дворец украшает. Как раздвину мехи под окошком — и цветов не надо.

Утешала Анну Михайловну работа в колхозе. Много и весело трудилась она на людях, бегала к учительнице и агроному, пристрастилась ко льну и накопила немалый опыт, как надо растить его и обихаживать. На общих собраниях она, обычно неразговорчивая, спорила не раз с бригадирами и полеводом, как лучше вести льноводство. Подчас ее слушали с усмешкой.

— В агрономы метишь?



— А хотя бы и в агрономы,— отвечала, сердясь, Анна Михайловна.— Сталин про нас что сказал? Нынче женщине дорога широкая... Чем зубы скалить — лучше торфу заготовили бы побольше.

И когда в колхозе, вопреки ее советам и поддержке Семенова, вопреки принятым решениям, делали не так, как ей хотелось, по старинке, она часто думала: „Ах, взять бы мне участок отдельный да обиходить его по всем правилам, как агроном говорит... Вдвое уродилось бы. Ведь лен-то ласку любит“.

Когда началось в колхозах стахановское движение, Анна Михайловна осуществила свою думку. Ей дали отдельный участок — два гектара. Она подговорила вместе работать молодуху Катерину Михайловну Шарову. Вдвоем, по снегу, гремя тяжелыми ведрами, они рассеяли фосфоритную муку. Потом талая земля приняла суперфосфат, сильвинит и калийную соль.

Участок был хотя и после клевера, но довольно низкий, сырой. С завистью смотрела Анна Михайловна, как сеяли лен другие звенья. А к ее земле и не подступиться — грязи по колено.

— Беда, запаздываем, Катя,— беспокоилась Анна Михайловна.— Уродится мышинный хвост — засмеют нас... Может, от удобрений земля-то разжижела?

Позвали агронома, молодого толкового парня.

— Ничего, догонит ваш лен, увидите,— успокоил он.

Землю они приготовили, как пух. И посеяли. Стал лен расти не по дням, а по часам. Действительно, он не только догнал, но и перегнал посевы на соседних участках. Без устали ухаживала Анна Михайловна со своей помощницей за льном.

Весна в этот год выдалась без дождей, сухая. Пождала, пождала Анна Михайловна, да и приволокла с Катериной на участок пожарную машину. Алексей и Михаил, если бывали свободны, таскали им с речки воду ушатами, а они поливали лен.

Нелегок был этот труд. Даже по вечерам разгоряченная, потрескавшаяся земля жгла подошвы босых ног, солнце нещадно, как в полдень, палило головы и плечи. Как бы невзначай, сыновья обливали и себя, и мать, и Катерину из пожарного рукава. Приходило облегчение. Радугой падала благодатная струя из брандспойта.

— Пей, ленок... Пей, не жалея! Уродись высокий и волокнистый,— приговаривала Анна Михайловна.

И вырос лен на диво— в метр четырнадцать сантиметров длиной. Могучей зеленой стеной, по плечи Анне Михайловне, высился он,

— Такой у Стуковой лен — умрешь не забудешь,— заговорили в колхозе.

Из соседних деревень нарочно приходили бабы, смотрели и дивились:

— Чудо, а не лен... А как вам угораздило такую машину вырастить?

Алексей прикатил в поле с новой теребилкой „ВНИИЛ-5“, огненно-голубой, как сказочная жар-птица. Она летела за трактором по полю, и где крыло ее касалось льна, там проходила широкая улица. Алексей поднимал лохматую пыльную голову от руля, оборачивался и, стараясь перекричать грохот трактора, спрашивал льнотеребилщика:

— Что там?.. Гляди!

— На большой палец... с присыпочкой!— орал тот и смеялся над колхозницами, которые не успевали вязать снопы.

Видела Анна Михайловна, как девчата посмелее нарочно поджидали трактор.

— Как жизнь, Леня?— кричали девчата, когда трактор ровнялся с ними.

Обожженный дочерна солнцем, Алексей сверкал в ответ белыми зубами.

— Лучше всех.

— Обожди немножко,— упрашивали его,— приподержи конька, покури... Невесту тебе сыскали.

Трактор удалялся, и новая улица распахивалась во льне перед смолкшими, обиженными девчатами.

— Эх, суматошные,— говорил им Николай Семенов, посмеиваясь,— еще нет на свете такого человека, для которого бы Алексей Алексеевич остановил машину. Намедни понаехало из района начальство, ждут его на конце загона, а он ка-ак поддаст газу... только его и видели... Пришлось директору эмтеэс бежать да рукой знак подавать. И то не сразу послушался... Ну, что стали? Думаете, лен-то, на сегодняшний день, сам свяжется?

Приятно было Анне Михайловне слушать такие речи.

„Нет, не уступит Леша брату, даром что некрасив, думала она.— Возьмет свое в жизни... Оба возьмут... Да“.

Хорошо работала теребилка. Однако льна в колхозе было видимо-невидимо, и, как всегда, он поспел сразу. Поэтому машине подсобляли вручную. Когда Анна Михайловна теребила свой лен, наклоняться ей не приходилось.

Славой и гордостью в то лето была Катерина Шарова. Районная газета писала о ней как о героине труда. В соревновании Катерина победила даже Анну Михайловну. Молодая, красивая, она звонче всех пела песни. Любо было Анне Михайловне глядеть на нее, вспоминая свою молодость. Казалось, Катерина не теребила лен, а просто перебирала его своими тонкими смуглыми пальцами. И, словно покоренные ее лаской, стебли льна ложились в ее исцарапанные руки, и росли, росли позади Катерины кудрявые снопы.

— Возьми в муженьки, ласковая. С тобой не пропадешь,— игриво шутили мужики.

— Коли отставку своему мухомору дашь, меня не забудь. Я нонче пятьсот трудодней отхвачу. Мы с тобой зараз пара.

— Ладно... не забуду,— смеялась Катерина.

И вдруг она сразу сдала, вдвое уменьшив выработку. Анна Михайловна глазам своим не поверила.

— Да здорова ли ты, голубушка?

Катерина заплакала и убежала с поля.

— Задразнили... Житья не стало... хоть вешайся,— со слезами рассказывала она в чулане Анне Михайловне. — Будто я ударничаю, чтобы сыновьям твоим нравиться... и вообще мужчинам. Ты, говорят, у нас безотказная. Вваливай, коли тебе... одного мало. А сам, дурак, ревнует, сердится... Сегодня избил и грозит: „Зарежу, если ударничать будешь“.

— Кто... — запнулась, побелев, Анна Михайловна. — Кто пакость такую разводит?

— Известно... Строчица да Куприянича. Их завидки берут. Как же, Катерина Шарова по пятнадцать соток теребит, а юни по три... Я говорила им: не чешите языки, так сработаете с мое. Запрету никому нет.

— Ну, погоди, доберусь... вырву змеиные языки,— сказала Анна Михайловна.

По ее настоянию Семенов в тот же вечер созвал

общее собрание членов колхоза. Анна Михайловна настаивала на исключении Прасковьи и Авдотьи из колхоза, чтобы другим неповадно было травить честных людей.

Заголосили бабы, повинились, что их зависть ододела. При всем народе дали слово вести себя, как подобает колхозницам. Только тогда Анна Михайловна сняла свое предложение. Сплетниц на первый раз простили, ограничившись строгим общественным порицанием.

После собрания Анна Михайловна зазвала к себе в избу Костю Шарова и отчитала наедине.

— Как ты смеешь на жену руку поднимать?— гневно кричала она, загоня оробевшего Костю в угол.— Слов нет, хороша твоя Катерина, да разве другие-то хуже? Ты думаешь, у моих сыновей невест нет? Думаешь, слепая я, не вижу, с кем они хороводятся? Не в том дело...

Костя по стене, боком, пробирался к двери, злой и смущенный.

— Полегче командуй, бабка, полегче... Вот нашла сынка... Пусти, чего ты?— жалко и обидчиво ворчал он, обжигаясь цыгаркой и отмахиваясь от дыма и от наседавшей на него Анны Михайловны.— Ты еще клюку возьми... Какое право имеешь?..

— Право?..— Анна Михайловна всплеснула руками, загораживая спиной дверь.— Да соображаешь ты, идол, своим горшком, что кулак твой не одну Катерину— весь колхоз ударил? Общее наше дело ударил, соображаешь?

Она стояла на пороге, пройти Косте никак было нельзя, и он терся спиной о стену, жевал цыгарку и молчал.

— Ска-а-жите, какой ревнивец нашелся! Ра-аспалился... Пошутить твоей Катерине нельзя. Не старые времена, батюшка, не старые. Мы на тебя управу найдем... Сам-то с бабами в молчанки играешь? Видела, как третьеводни на гуменнике петухом вокруг молодух ходил... Чай, Катерина тоже не деревянная, бабочка молоденькая, в ней каждая жилка играет. Нет, чтобы приласкать... Куда окурочек бросаешь? Не видишь, пол чистый...

Костя покорно поднял изжеванный окурочек, отнес в помойное ведро, потоптался на кухне и опустил голову.

— Прости, Анна Михайловна... с сердцем не совладал.

— У жены проси прощенья, а не у меня,— сердито отрезала Анна Михайловна.

- И у Кати прощенья попрошу. На руках буду носить!  
— Еще позволит ли она,— усмехнулась Анна Михайловна.  
— Да любит она меня... вот! И я... всей душой...—  
бессвязно бормотал взволнованный Костя.

## ХИ

Осенью звено Анны Михайловны сдало государству по 12,28 центнера высокосортного волокна с гектара. Это был неслыханный урожай не только в районе, но и в области. Все поздравляли Анну Михайловну. Колхоз премировал ее швейной машиной. На районном слете стахановцев-льноводов ей преподнесли патефон, а на областном — отрез шелка на платье. По годам ровно и не к лицу был шелк, но продавать его было жалко. Полюбовалась Анна Михайловна да и спрятала отрез в сундук. „Пригодится... Может, сноха ладная, по сердцу будет... подарю“.

На октябрьскую годовщину Михаил притащил из сельского универмага дюжину венских стульев. Алексей привез из города на попутном грузовике дубовый буфет, хотя и подержанный, купленный по случаю, в комиссионном магазине, но совсем еще хороший, этажерку для книг и настоящий четырехламповый радиоприемник. Анна Михайловна, в свою очередь, приглядела на станции, в железнодорожном кооперативе, долгожданную кровать, голубую, с серебряными шишками и полосатым пружинным матрацом.

Кровать стоила, ни мало, ни много, ровнехонько четыреста целковых. Анна Михайловна ужаснулась этой неслыханной цене, пошла вон из магазина, постояла на крыльце, вернулась и по привычке стала торговаться.

— Цены без запроса, гражданочка, — сказал быстроглазый подвижной и усатый, видать, бывалый, продавец. — Прошу не оскорблять государственной торговли.

— Ахти, что сказала... Уж и поторговаться нельзя, ведь на советские деньги покупаю, не на бумажки, — обиделась Анна Михайловна. — Может, ты на ярлыке тут лишку приписал.

Ощетинив сивые усы, продавец оскорбленно пожал плечами.

— Если вы, гражданочка, из лавочной комиссии, так и доложите и голову мне пустяшными словами зазря не морочьте,— сухо сказал он, вытирая руки фартуком.— Я вам официально счет-фактуру покажу.

— Ни из какой я не из комиссии. Кровать мне очень хочется... настоящую,— объяснила Анна Михайловна, не сводя глаз с приглянувшихся шаров и тикового матраца.— Деревянная-то мне глаза намозолила. Ну, а твоя кроватка с виду и подходяща, а кусается... Ты не сердись, батюшка, не привыкла еще я богатые вещи заводить. Раньше-то все на копейки покупала...

Продавец помолчал, посмотрел на Анну Михайловну, должно быть, понял ее состояние и раздобрился. Он вытаскивал кровать на свет, протер фартуком никелированные украшения, так что Анна Михайловна ослепла от их блеска, прилег на матрац, покачался на добротных, позванивающих пружинах и сказал, что вещи износу не будет, сноха поблагодарит и внучата помянут бабушку. Анна Михайловна и сама видела, что такой кровати еще ни у кого в колхозе не было.

— Да у меня, родимый, и денег столько с собой нет,— начала сдаваться она.— Разве в сберкассу сбегать? Восемь верст киселя хлебать...

— И не бегайте, не беспокойтесь. Отложим-с,— ухаживал продавец, накручивая усы и любуясь на кровать, точно он сам ее покупал. Анне Михайловне даже стало совестно.— Из какого колхоза будете?.. Позвольте, да вы не Стукова ли Анна Михайловна?! Как же, как же, понаслышались про вас... Очень приятно знакомство иметь. Покупочка вам к лицу... Бывайте здоровы и не сумлевайтесь, кроватка за вами останется,— приговаривал он, провожая Анну Михайловну на крыльцо магазина.— Берите завтра лошадку в колхозе и, милости просим, приезжайте.

Так была куплена кровать, и новая изба потеряла свой необжитой, пустынный вид. Правда, нехватало еще стола, достойного венских стульев, да и мягкий диван, по правде говоря, не мешало бы завести. Словом, дом еще не был „полной чашей“, как хотелось Анне Михайловне, но то, что уже стояло в горнице и спальне, выглядело хорошо.

Как-то, возвращаясь с льнозавода, Анна Михайловна застала сыновей в избе за курением папирос. Она и раньше замечала иногда, что от ребят ровно бы табаком пахивает, находила ненароком в карманах брюк спички, крошки махорки, курительную бумагу и ругалась нещадно, раздавая сыновьям колотушки.

И сейчас сыновья, памятуя наставления ее горячей руки, заробели, попрытали в рукава папиросы.

— Чего уж тут... курите,— милостиво разрешила мать.— Тайком-то еще дом спалите с табачищем вашим проклятым... Ишь, накадили... фу-у,— морщась, ворчала она, открывая форточку.— Ровно взаправдашние мужики.

Собственно, так оно и казалось матери. Дозволение курить табак что-нибудь да значило. Как ни говори, взрослые стали сыновья.

Мать походила по избе, покосилась на ребят, которые старательно и независимо глотали дым, будто дело делали, и, не смея обронить пепел под ноги, относили его на ладонях в подтопок. Она подала им чайное блюдо вместо пепельницы, потом взлезла на лавку и достала мужнин кисет, долго вертела его в руках, наконец протянула сыновьям.

— Отцова память... берите который-нибудь... новехонький совсем.

— Не надо, мама... спрячь,— попросил Алексей, бережно возвращая кисет матери.

— И то...— согласилась она, печальная и суровая.— Пусть вам кисеты невесты вышивают.

К ней пришли спокойствие и наблюдательность. Она как-то больше стала все замечать и часто по мелочам делала важные для себя заключения. Например, она заметила, как при встрече с Алексеем мужики первые уважительно трогают фуражки, и ей понравился этот почет.

— Где Алексей Алексеич на своем тракторе работает, там и хлеб хорошо родится,— говаривали на собраниях колхозники.

Девчонки были влюблены в Михаила. Постоянный участник спектаклей в клубе, непревзойденный гармонист, красавец и плясун, он покорял девичьи сердца веселым словом. Впрочем, по работе он не уступал брату.

Николай Семенов, поглядывая то на мать, то на Михаила, не раз говаривал:

— Сообразительная у тебя башка, Мишутка. По счетам пальцами бегаешь, ровно на баяне играешь. И на людей глаз острый... Ах ты, смена моя на сегодняшний день! Чую, будешь греметь на всю область.

— Я, дядя Коля, сперва хочу в облаках погреться.

— То есть?

— В Красную Армию скоро... в летчики попрошусь. Во сне я уже почем зря летаю...

— С кровати на пол... бывает,— насмешливо добавляла Анна Михайловна, но где-то в памяти запирала и это случайно высказанное, потревожившее ее, желание сына.

Невесты, завидев Анну Михайловну еще издали, украдкой прихорашивались, одергивали кофты и юбки, приглаживали волосы и никогда не забывали, весело кланяясь, справиться о ее здоровье. Матери невест охотно останавливались поболтать. И о чем бы ни шел разговор, заканчивался он неизменно похвалами сыновьям Анны Михайловны.

Но не это было главное, что открылось Анне Михайловне. Главное было то, что она, как бы ранним утром, хорошим, ясным, вышла из своей избы, поднялась на высокую гору, взглянула оттуда вниз, загородясь от солнца ладошкой, и увидела большой и ладный, нивесть когда выросший дом. И дом этот был колхоз. И она поняла многое иначе, чем понимала раньше.

Этот колхоз строила она вместе с мужиками и бабами, строила долго, как Никодим ее избу. Люди, работавшие с ней бок о бок, ворчали, у них бессильно опускались руки, малодушные убегали, одни — навсегда, другие — на время, а колхоз все рос да рос. Те люди, кому постройка была не по нутру, потому что захватила их одворину со всем добром, нажитым не всегда честно, эти люди мешали, залугивали, будто ничего путного не выйдет, и даже тайком, по бревнышку, пытались раскатыть и растащить колхозные срубы. Ничего из этого не вышло. Подвели дом-колхоз под крышу, прорубили большие светлые окна в жизнь.

В нем, в этом доме-колхозе, вначале было пустовато, холодно и неприветливо, как в ее необжитой, новой избе. И опять люди обижались, чувствовали себя неловко, но убегали из дому реже и всегда возвращались. Они не враждовали промеж себя, как прежде, до кол-



хоза, полюбили труд и стали работать на подзадор — кто больше и лучше работает. Это была общественная „помочь“, только не на час или на день, а на все время.

Потом все увидели, что как-то незаметно завелись в доме вещи, подстать высоким и светлым комнатам, на первое время самые необходимые, как ее кровать, стулья, буфет; и все поняли, что будет и остальное, от них самих зависит сделать так, чтобы общий дом был полной чашей. И всем стало приятно и радостно, люди почувствовали в себе такую богатырскую силу, такую уверенность, — кажется, гору своротить могли. И они, в действительности, воровали горы.

И точно так же, как дом-колхоз, строилось все ее, Анны Михайловны, государство. И главным искусным плотником в этом необъятном строящемся государственном доме был Сталин.

### XIII

Весна в 1936 году шла ранняя, но с обильными снегопадами. В начале марта было морозно и ветрено, как в январе. Днем таяло, а к вечеру крепконько подмораживало, казалось, зиме конца не будет. На матовом чешуйчатом снегу был такой наст, что держал человека. Доярки ходили на ферму напрямиком от изб, как по паркету, минуя скользкую, в рытвинах и проступах, дорогу.

Скупое светило солнце, скрытое за серой пеленой облаков. Ветер раскачивал колючие елки, и крупный, пушистый иней струился с ветвей молочными ручейками.

Но тринадцатого марта, в полдень, ветер затих. Нежданно проступила в небе голубая проталина, другая, третья. И в одну из них, как из окошка, радостно и ярко, точно хорошо выпавшись, глянуло на землю солнце. Тотчас же зазвенела капель. Выскочили со двора, закудахтали куры. Беспokoйно заржали кони, выведенные на прогулку.

И тогда на серую, набухшую водой, дорогу откуда-то сверху, с синего потеплевшего неба, черной молнией упал грач. Тяжело и важно прошелся он по талой дороге и, склонив набок грузный белый клюв, задумчиво наполнился из позолоченной солнцем лужицы.

Чтобы не спугнуть грача, Анна Михайловна обошла лужицу стороной, щурясь от солнца, снега и голубизны. Она вслушивалась в нарастающую многоголосую и хло-

потливую жизнь колхоза. Все спрятанное, примолкшее за зиму рвалось теперь наружу, гремело и двигалось, словно желая наверстать упущенное.

Навстречу Анне Михайловне вереницей тянулись со станции подводы третьей бригады с минеральными удобрениями. Поровнявшись, возчики почтительно взяли за шапки.

— Товарищу Стуковой... наш самый горячий!

„Призапоздали...— насмешливо подумала она, степенно кланяясь.— Мое звено давным-давно на всю бригаду удобрений запасло“.

Дробно стучали молотки в колхозной кузнице. Из зернохранилища нарочные второй бригады выносили мешки с овсом и яровой пшеницей. В гараже заводили полуторатонку — красу и гордость колхоза. Сизые голуби ворковали на ветхой колокольне. Анна Михайловна пристально посмотрела на колокольню и голубей, словно высчитывая что-то. „А пробу земли все еще не прислали“, — вспомнилось ей, и она заторопилась.

Дел предстояло сегодня великое множество. Перво-наперво надо было сходить в житницу, еще раз взглянуть на драгоценное брагинское льносемя; его вчера просортировали и осторожно ссыпали в сусеки. Пора толочь и просеивать селитру и сильвинит. Узнать, что делается в звене Ольги Елисейевой, с которым соревнуется ее звено высокой урожайности льна. А вечером — кружок текущей политики, значит — надо оповестить всю бригаду, пригласить к себе: просторная горница Анны Михайловны как раз подходяща для многолюдной беседы.. Много дел. Но главное — позвонить по телефону в район, поторопить лабораторию земельного отдела с анализом. Еще в декабре Анна Михайловна и полевод колхоза, утопая в сугробах, пробрались на участок и добыли из-под снега увесистый ком замороженной земли; старательно упаковали в ящик и отправили в лабораторию. И вот пробы все нет и нет, и нельзя точно знать — каких и сколько удобрений просит земля, чтобы родить пятнадцать-шестнадцать центнеров волокна с гектара, как намечено Анной Михайловной. Положим, удобрения привезены. Но все-таки пора же знать, что пойдет на стахановский участок.

На гумне, у житницы, Анну Михайловну ждало звено: высокая, сильная и веселая, Екатерина Михайловна Ша-

рова, после случая с мужем полюбившая ее, как свою мать; старушка-хлопотунья Мария Михайловна Лебедева и недавнешняя единоличница Антонида Михайловна Богданова, только что принятая в звено. „Четыре Михайловны“, — говорят теперь про звено в колхозе.

Гремя ключами, Анна Михайловна торжественно открыла свой заветный „склад“. Еловый свежеструганый сусек до краев был налит блестяще-коричневым, точно стеклянные бисеринки, льяным семенем. Анна Михайловна опустила в сусек руку, зачерпнула пригоршней скользящее, словно живое, зерно. Пять звеньев в колхозе нынче засеют свои поля льносеменем с участка Стуковой. Но самое лучшее, отборное лежит здесь.

Антонида Богданова, щуплая и печальная, исстрадавшаяся за долгие суматошные годы в единоличницах, держится в стороне, поджав отцветшие губы. Анна Михайловна, приметив это, как мать, ласково наставляет:

— Не робей, Тонюша. Раз приняли тебя в звено, стало быть, нам ровня. Ну, чего покраснелась? Чай, в колхозе живешь, не в единоличке мыкаешься... На, пощупай семечко, девяносто девять процентов всхожести, — говорит она, пересыпая семя с ладошки на ладошку. Розоватой струей брызжет оно на солнце. — Хорошо ли просортировали вчера, бабочки?

— Да уж на совесть, — откликается грудным, певучим голосом Шарова. — В Покровском, на очистительном пункте, у всех глаза разбежались на наше семя.

— Сроду такого не видывала, — застенчиво вставляет слово Антонида Богданова.

Склонившись над сусеком, Анна Михайловна, точно в зеркале, ясно видит свой широкий ровный участок. Острый рандаль сыновьего трактора вспашет землю с навозом и минеральными удобрениями. Звено соберет с участка все кочки, дерн, корневища и прикатает легким катком мягкую землю. Потом рядовая сеялка пройдет вдоль и поперек участка. Весело будет смотреть, как падают и зарываются в постельку семечки. Звено осторожно посыплет участок размельченным в порошок торфом. Пройдет дней пять, и на коричневом торфяном атласе проглянут зеленые усики.

— Вырастим лен почище прошлогоднего... Ну, Михайловны, за дело! — отрываясь от сусека, распорядилась

Анна Михайловна.—Подсеять семена решетом и про-  
травить. Денек у нас сегодня будет горячий.

День выпал действительно горячий, но совсем не та-  
кой, как ожидала Анна Михайловна. Возвращаясь с  
гумна, она встретила с Николаем Семеновым.

— Весна-а!— возбужденно закричал он еще издали.—  
Держись, Михайловна, грачи прилетели.

— Держусь... Скажи, председатель, колокольня.. в тво-  
ем распоряжении?

— Все, что находится на территории колхоза, в моем  
распоряжении, в том числе и ты,— пошутил Семенов,  
ощупывая карман ватного пиджака.— А что?

— Разреши забраться... на колокольню.

— Это еще зачем?

— Голуби там, смотри!— заволновалась Анна Михай-  
ловна.— Вон сколько голубей. Очень хорош... помет...  
на удобрения.

— А голову свернешь — кто в ответе?

— Да мне сыновья помогут.

— Мишка? Ну, тогда другое дело,— согласился Семен-  
ов.— Сыновья за тобой — и в огонь, и в воду.

— Завидно?— усмехнулась Анна Михайловна.

— Радостно... мать ты моя, радостно!

Семенов наклонился, раскинул длинные руки и крепко  
обнял ее.

— Пусти... Ишь тебя проняло... на старости лет! —  
вырвалась Анна Михайловна.— С ума спятил!

— Спятишь — коли вот такую телеграмму получишь.—  
Семенов вытащил из кармана мятую четвертушку бумаги  
и подул на нее, словно она жгла ему пальцы.— Читай...  
тебе она...

Анна Михайловна расправила телеграфный бланк, серд-  
це учащенно забилося. Буквы прыгали в глазах — теле-  
граммы она прочесть не могла. Впрочем, в том не было  
надобности. Содрав с головы шапку, Семенов махал  
ею и гремел на всю улицу:

— В Москву тебя вызывают... совещание стаханов-  
цев-льноводов с правительством... завтра. Собирайся сей  
момент, в Москву поедешь.

— Батюшки, да как же я поеду так далеко одна?—  
не на шутку испугалась Анна Михайловна.— Да я, Коля,  
на машине-то дальше нашего города не ездила... и то с

попутчиками. Заблужусь в Москве, как в лесу... Опять же сильвинит толочь надо.

Семенов и руками на нее замахал.

— Истолчем сильвинит и без тебя. Что выдумала! И в Москве тебя, честь по чести, на вокзале встретят, тут прописано в телеграмме—к дежурному обратиться...— Он помолчал, подумал и сказал значительно:— Может... Сталина увидишь.

— Сталина?—встрепенулась Анна Михайловна и решилась:— Поеду.

#### XIV

Провожали ее всем колхозом. Заложили серого, в яблоках, жеребца в ковровые санки. Оделась Анна Михайловна в лучшее свое платье, шубу, черную романовскую, на плечи накинула; повязалась теплой шалью; прихватила деревянный баульчик с лепешками и полотенцем и уселась в санки. Отвезти ее на станцию взялся сам председатель колхоза. Сыновья застеснялись при народе, простились с матерью за руку, молча, как посторонние. Но заметила она горделивый блеск их глаз и не обиделась. По привычке перекрестилась на дальнюю дорогу.

— Счастливого пути, Анна Михайловна... Поприветствуй за нас правительство,—наперебой говорили колхозники на прощанье.—Сталина коли увидишь—поклон ему самый большой... В гости зови к нам! Скажи—одобряем мы его... Сталина, мол, народ одобряет.

— Скажу... передам... все скажу,—отвечала Анна Михайловна, перевязывая шаль и волнуясь.—Катя, голубушка, селитру и сильвинит как истолчете, не забудьте просеять... Да пробу земли из района требуй.

— Все сделаем, будь спокойна,—ответила Катерина, заботливо укутывая ей ноги попонкой.

— Трогай!—сказал Семенов и шевельнул вожжами.

Жеребец заплясал, рванулся, высоко и легко вскидывая коваными копытами, осыпал седоков ледяшками и пошел споро и широко перебирать тонкими литыми бабками.

— Леша! Слушай-ка!—закричала Анна Михайловна уже издали, перегнувшись через задок саней.—Забыла я... в печи простокваша с утра стоит... Вынь поскорей, творог крутой будет... Да Красотку-то, не ленись, по три раза дой.

Она слышала в ответ смех, крики, но разобрать ни-

чего, не могла — жеребец понес, только держись на ухабах.

В полях еще лежал снег, чистый, синеватый, как сахар. Он подступал сугробами к самой шоссе. Но в канаве снег оседал, грязный, зернистый, и глубокие звериные следы, пересекавшие канаву, были полны тяжелой ржавой воды. Далеко в лесу, там, где поле круто взбиралось в гору, среди белого моря чернели островки первых проталин.

Анна Михайловна размотала шаль и сняла варежки. Сладко пахло сырým снегом. Голые руки приятно припекало. И навстречу, с теплым южным ветром, в лицо летели снежные и ледяные брызги и тут же таяли. Одна такая крупная прозрачная капля, упав, дрожала на рукаве Анны Михайловны, и она увидела в капле краешек голубого неба и золотую точку солнца. Она не шелохнулась, пока капля не пропала. Погладив рукав ладонью, вздохнула.

— Как-то они там без меня управятся?..

— Управятся,— сказал Семенов, сдерживая стремительный бег рысака.— Женка за коровой приглянет, я скажу.

О доме я не сумлеваюсь.

— Ну, и в остальном положишься на меня.

В поезде Анна Михайловна устроилась превосходно. Нашлись и попутчики до Москвы, попили чайку, разговорились. Когда соседи по купе узнали, что она едет на правительственное совещание, живо отыскалась свободная нижняя лавочка, даже нашлась у одного военного лишняя подушка, и Анна Михайловна, по привычке к толчкам и стуку колес, вздремнула немножко.

Телеграмма не обманула. Утром в Москве действительно ожидал на вокзале дежурный из Наркомзема, суетливый очкастый человек в бекеше. Он вывел Анну Михайловну на площадь, и вежливый милиционер, в зеленом шлеме и белых перчатках, козыряя, посадил ее в автомобиль.

Оглушенная звонками трамваев, гудками автомобилей, треском мотоциклетов, ослепленная блеском вывесок, стеклов и особенно внутренним убранством машины, в которой она сидела одна-одинешенька, Анна Михайловна не скоро пришла в себя. Отдышавшись, осторожно пощупала

мягкое сиденье, потрогала металлические и зеркальные, как шары у ее кровати, ручки, какие-то кнопки. Потом заглянула в боковое стекло.

Казалось, машина не двигалась с места, а все кругом нее расступалось и торопливо пятилось: пятились и пропадали за кузовом трамваи, пешеходы, автобусы, грузовики, пятились дома, магазины, киоски. Анна Михайловна помигала, тряхнула головой, и обман пропал — машина обгоняла все на своем пути, и улица, широкая, точно добрый загон в поле, разворачиваясь, убегала вперед, блестя мокрым асфальтом.

„Вот она, Москва-матушка... столица наша. Ширь какая! Домищи-то, крыш не видать... точно во сне“, — думала Анна Михайловна, покачиваясь на подушках.

Ее поместили в гостинице, в просторной, с высоким потолком, комнате, с другой приехавшей колхозницей, круглолицей, в плюшевом пальто и сиреневом вязаном берете. Они познакомились и пошли вместе завтракать в столовую. Соседка оказалась звеньевой из Калининской области. Она рассказала, что они, делегаты Калининской области, привезли в подарок Сталину альбом с образцами своего льна.

„Ишь, догадливые, — позавидовала втайне Анна Михайловна. — У нас и не сообразили, простофили... А льны-то наши, поди, не хуже калининских будут“.

— Да увидим ли Сталина-то? — усомнилась она. — Человек он занятой, всем государством управляет...

— Беспременно увидим, — решительно сказала колхозница. — Какое же совещание без Сталина!

## XV

Совещание передовиков по льну и конопле с руководителями партии и правительства должно было открыться, как узнала Анна Михайловна, в зале заседаний Центрального Комитета ВКП(б).

Анна Михайловна многозначительно переглянулась со своей знакомой по гостинице. Сразу же после завтрака они попросили, чтобы их отвезли в Центральный Комитет. Откровенно говоря, они побаивались, что их не пустят, так как было еще очень рано. Но они не могли больше ждать и нетерпеливо предъявили свои пропуска у входа.

— Проходите, товарищи,— сказал им дежурный.

И в широко распахнутую дверь Анна Михайловна увидела, что огромный, залитый светом зал уже полон людьми.

С бьющимся сердцем присела Анна Михайловна на первый попавшийся стул. Она не знала, куда девать руки, как положить шаль. Ей было неловко сидеть на стуле, и она все поворачивалась, привставала и опять садилась. Она раскрыла блокнот, который ей дали в гостинице, и царапала карандашом бумагу. Показалось, что все видят ее волнение, не одобряют его, и она, притихнув, опустила глаза на плотную гляцевую бумагу блокнота. Левая нога у нее как-то подвернулась, одеревянела, но Анна Михайловна не решалась шевельнуться.

И, как всегда бывает, вдруг совсем внезапно раздались аплодисменты, приветственные возгласы, и люди в зале поднялись, как один человек. Анна Михайловна вскочила и чуть не упала. На левую ногу нельзя было ступить, так она затекла. Вцепившись обеими руками в спинку впереди стоящего стула, Анна Михайловна увидела — к столу президиума шла группа людей. И она отыскала в этой группе Сталина. Она выпустила спинку стула и, не обращая внимания на колющую боль в ноге, захлопала в ладоши.

— Родимый... родимый наш... — шептала она.

Сталин, Молотов, Калинин, Каганович, Орджоникидзе, Андреев заняли места в президиуме. Мокрыми, горячими глазами смотрела Анна Михайловна на Сталина. Она стояла от него далеко, и он казался ей таким же, как на портрете.

Не скоро удалось председательствующему восстановить тишину в зале, не сразу все уселись. Но когда эта тишина все-таки наступила, Анна Михайловна услышала, как Сталин, внимательно вглядываясь в сидящих в зале колхозников, сказал:

— Женщин мало.

Совещание началось. Колхозники и колхозницы поднимались на трибуну и запросто, как у себя в колхозе, беседовали со Сталиным, Калининим, Молотовым, делясь опытом своего стахановского труда. Их подробно расспрашивали, интересовались каждой мелочью, точно сами хотели, выйдя из этого зала, пойти на поле и выращивать лен и коноплю. Анна Михайловна предположила: руко-



водители партии и правительства хотели уяснить себе все секреты льноводства. Но по тому, как Сталин обстоятельно входил во все подробности дела, толкуя о посеве, теревлении и обработке льна, она, дивясь, поняла, что он, пожалуй, знает по льну не меньше их всех, собравшихся здесь стахановцев, и только проверяет себя.

Однако было, очевидно, кое-что и новое для Сталина в речах колхозников: он не раз брал карандаш и что-то записывал на листочках бумаги.

С завистью смотрела Анна Михайловна, как выступавшие на трибуне колхозники и колхозницы, по окончании своих речей, заходили в президиум, пожимали руку Сталину и всем сидящим с ним. Как ей хотелось пожать ему руку! Но она не решалась попросить слова, хотя ей казалось, что она не потратила бы попусту ни одной минуты и рассказала бы Сталину по льноводству такое, чего он еще, вероятно, не знал.

Колхозница из Калининской области подарила Сталину альбом, о котором говорила Анне Михайловне, и тоже пожала Сталину руку. Потом она долго разговаривала с Калининским.

В перерывы колхозники и колхозницы окружали Сталина, и он, беседуя, гулял с ними по коридору. Анна Михайловна подходила близко и всматривалась в Сталина. Он выглядел старше, чем на портрете, и не такой высокий и плотный. Скорее он был худощав и, вероятно, немного выше ее ростом. Все ей нравилось в нем: и его спокойная походка, и привычка изредка трогать усы, и приятная усмешка крупных ласковых губ, и его тихий ровный голос, и его манера, беседуя, подчеркивать важное. И, главное, ей понравилась простота, с которой он общался с людьми.

„Неужели все большие люди такие простые?— думала она и отвечала себе:— Да, наверное... и оттого они большие... и любят их оттого“.

Сталина остановил старик в толстых роговых очках. На пушистой, белой, точно одуванчик, голове его была черная шапочка. Колхозники и колхозницы, окружавшие Сталина, потеснились, отошли немножко в сторону, чтобы не мешать. Близоруко щурясь и то и дело поправляя сползающие на нос очки, старик, спрашивая, чертил в воздухе рукой какие-то знаки и, видать, волновался. Сталин, выслушав, объяснял спокойно и тихо.

— Кто это?— шопотом спросила Анна Михайловна.

— Академик... мировой ученый,— так же шопотом ответили ей.

Она подвинулась ближе, чтобы послушать. Но они говорили о чем-то сложном, чего она не поняла. Она только видела, что старик вдруг перестал щуриться, улыбнулся, закивал черной шапочкой, очки у него свалились, он живо подхватил их и, громко благодаря Сталина, тряс его руку.

И все, что ранее заметила Анна Михайловна, глядя на Сталина, сейчас осветилось для нее новым светом.

„Вот он какой... отец наш великий“,— подумала она, не сводя горячих глаз со Сталина.

Не раз замечала Анна Михайловна на себе внимательный взгляд Сталина. Может быть, и вероятнее всего, ей это только казалось, но она, робея, пряталась за колхозниц.

„Поговорю с ним... непременно... в следующий перерыв“,— говорила она себе, но, когда перерыв наступал, у нее не хватало смелости подойти к Сталину.

Ее рассмешил и порадовал седенький старикашка—опытник из Горьковской области. Он хорошо и весело рассказал, как работает его колхоз „Заря коммунизма“ („Воистину—заря, скоро солнце будет, пречудесно“,— говорил он), и в конце речи, обернувшись к президиуму, неожиданно произнес:

— Тут вот что мне нужно: моя горьковская делегация желает... чтобы вы, товарищ Сталин, снялись с нами на карточке... с делегацией.

— Обязательно,— согласился Сталин,— обязательно снимемся мы все с делегатами и с вами, горьковцами.

— Вопросов больше не имею,— опытник поклонился, но, как и все, засеменял в президиум и пробыл там порядочно.

Старикашка этот, как заметила Анна Михайловна, прямо места не находил себе на совещании. В перерыве, бегая по коридору, он, заигрывая, все приставал к колхозницам, отводил в сторону то одну, то другую, горячо в чем-то убеждая.

— Ударяешь за ударницами?— посмеялись над ним. Или— за трудоднями?

— Своих некуда девать,— торопливо ответил стари-

кашка и, беспокойно поглаживая седые вислые усы, добавил:—Нуждаюсь в хорошем человеке.

— Бери на выбор. Здесь все хорошие.

— Такому орлу отказа не будет.

— Уверен, — старикашка важно приосанился и, подлетев к знакомой Анны Михайловны, калининской колхознице, вкрадчиво спросил:—Вдова?

— Замужем, — сказала та, улыбаясь.

— Пречудесно, — обрадовался старикашка. — Мне замужнюю и надо.

Анна Михайловна пошутила:

— Отобьешь?

— Отобью, — раздул старикашка усы и продолжал деловито:—Ребят много?

— Да вы — серьезно? — отшатнулась колхозница.

— Сватаю. Очень серьезно... Могу удостоверение показать.

— С ума спятил! — сказала Анна Михайловна.

Старикашка жалобно вздохнул.

— Что поделаешь? Мне в колхоз возвращаться одному нельзя. Слово дал, — привезу. — Он потянул колхозницу за собой в угол, и Анна Михайловна слышала, как торопливо зашептал:—Дом новый, пречудесный. Корова припасена. С новотелу по двадцать литров доит... Овцы, поросенок... и тыщу трудодней в придачу... Идешь?

— Нашел место балаганить, — сердито ответила колхозница, возвращаясь к Анне Михайловне. — Не к лицу такие шутки — старому.

— Старый? — жених вытаращил глаза и от удивления даже руками всплеснул. — Клевета. Прошлый год капитально отремонтировали.

Анна Михайловна и знакомая ее невольно расхохотались.

— Отремонтировали? Ва-ас?

Старикашка живо смекнул, какое произошло недоразумение, и рассмеялся громче их, показывая розовые, как у младенца, десны.

— Льнозавод! Льнозавод! — выкрикнул он сквозь смех. — Пречудесно. Сватаю директором.

— А я перепугалась, думала...

— Верное дело, соглашайся скорее, — перебил он колхозницу. И, совсем как сват, принялся расхваливать свой колхоз. — И мужу, и ребятам, как подрастут, долж-

жости хорошие дадим. У нас народу мало, а славы хоть отбавляй... Оттого и беда с льноводом приключилась. Выдвинули спервоначалу девчонку. А она — рекорд, и в академию. Назначили парнишку, а он — два рекорда, и комбинатом в Москве теперь заворачивает. Старуху наши завалышу. Радуюсь: кончились наши муки, на сто лет директора хватит, никто не позарится... Куда там! Загремела, как молоденькая. Мигнуть не успели — в соседний колхоз пречудесно выскочила, за бригадира там... Всех здесь обславил. Занятой народ пошел. Одна надежда на тебя... По рукам?

— Спасибо, — поблагодарила калининская колхозница. — Меня вчера в Тимирязевку приняли.

— Пречудесно... пречудесно, — забормотал старикашка и налетел на Анну Михайловну. — Стой, а ты?

— И не сватай, своим колхозом довольна, — сказала она, жалея веселого старикашку.

Он постоял, огорченно крутя головой и наглаживая вислые усы.

— Видать, судьба, Петровиц. Не возвращаться тебе домой... Дорога заказана.

— Напротив, — попробовала ободрить калининская колхозница. — Поезжайте и сами командуйте льнозаводом.

— Откомандовал, — вздохнул старикашка.

Анна Михайловна понимающе усмехнулась.

— Рекорд?

— Три, — старикашка развел руками. — И сам не знаю, как получилось. Не хотел, а вышло... Теперь Михаил Иванович на службу к себе пригласил. Неудобно знакомому отказать, — горделиво объяснил он и засеменял прочь, сам с собой рассуждая: — Де-ла. Не минешь в район либо в область кланяться. Авось найдут человека, к которому наша слава не пристанет...

Ночью, в гостинице, Анна Михайловна долго не могла уснуть. В номере было непривычно светло от уличного освещения. Тревожили приглушенные звонки трамваев, редкие, но басистые гудки автомобилей и непонятные шорохи за стеной. Город, видать, никогда не спал по ночам весь, какая-то часть его бодрствовала.

Ворочаясь, Анна Михайловна заскрипела пружинной матраца.

— Не спишь? — окликнула ее калининская знакомая.

Анна Михайловна вздохнула.

— Не спится... Устала, а глаза не закрываются, хоть ниткой веки зашивай... Я все думаю, какая ты молодчина.

— Почему молодчина?

— По всему. Вот с речью выступила... как заправдашний оратор... И со Сталиным разговаривала... А я — не смею.

— А ты поговори... Подойди и поговори...

— Ой, что ты! — Анна Михайловна испугалась и даже закрылась с головой одеялом. Потом высунула нос, подумала. — Мне слова не сказать. На работе я не уступлю, а на слово робкая... Да и о чем беседовать — не знаю... Спи, спи, милая, беспокою я тебя своей старушечьей болтовней... утро скоро, спи...

И она затихла, притворилась спящей и вскоре действительно уснула и спала так долго и крепко, что опоздала к завтраку.

В этот второй и последний день совещания Анна Михайловна видела, как распознает людей Сталин. На трибуне был директор треста по конопле, бритый, губастый и солидный мужчина. Дела у него в тресте, видать, шли неважно, но директор не хотел в этом признаться и, утирая платком красное потное лицо, захлебывался словами.

„Выкручиваешься, парень... Ну-ну, холку тебе сейчас натрут“, — сказала себе Анна Михайловна.

— Этот прием для нас большое счастье, — тараторил директор, повышая голос до крика. — Это для нас колоссальная зарядка, и мы на долгие годы так себя зарядим, что еще не то сделаем.

— Зарядки много, а конопля мало, — сказал Сталин, и в зале вспыхнул и долго не смолкал смех.

Директор торопливо налил себе из графина стакан воды и, жадно проглотив ее, стал сбивчиво объяснять, почему трест работает плохо. Он, директор, принял меры, своевременно сигнализировал, но...

— Неудобно итти через голову... Наркомзема, — пробормотал он, заикаясь.

Сталин быстро повернулся к трибуне и вынул изо рта трубку.

— С каких это пор неудобно стало итти в Цэка? — строго спросил он.

„Правильно, — мысленно одобрила Анна Михайловна Сталина. — Коли не ладится дело, иди и чистосердечно скажи, кто мешает... Может, ты сам себе мешаешь“.

Выступали агрономы, специалисты из Всесоюзного научно-исследовательского института льна, и многое новое открылось Анне Михайловне. Она записала некоторые советы агрономов себе в блокнот и решила применить их на своем участке.

Совещание приближалось к концу. Был объявлен перерыв, и Анна Михайловна, идя по коридору со своей приятельницей, опять видела Сталина, окруженного колхозницами. Приятельница вдруг остановила ее и, решительно примяв обеими руками сиреневый берет, протолкалась к Сталину.

— Товарищ Сталин! — сказала она громко и замялась. — Вот тут моя знакомая... хочет с вами поговорить, а стесняется.

Сталин усмехнулся, все расступились, он подошел к Анне Михайловне и поздоровался.

Она смутилась, забыла, как его величают, от того еще больше растерялась и долго держала его теплую ладонь в своей дрожащей руке. Спрашивая, откуда она, как ее зовут, что она делает в колхозе, Сталин пошел с Анной Михайловной по коридору.

Отвечая с запинкой, Анна Михайловна искоса, вблизи, взглянула на него, и первое, что ей приметилось, была серебряная седина, тронувшая волосы у висков. „Седые волосы, как у меня“, — подумалось ей. Это ей почему-то особенно понравилось, она вспомнила, как его величают, и неотрывно всматривалась в Сталина. Да, точно, он был немного выше ее ростом, выглядел значительно старше, чем на портретах, и худощавым. „Парное молоко бы ему пить“, — подумала она и невольно вспомнила, как Леша, муж ее, любил хлебать парное молоко с ржаными лепешками. Грустно и ласково улыбаясь, она продолжала разглядывать Сталина. Просторная, защитного цвета, тужурка удобно сидела на нем, не мешая и не стесняя его. Широкие, такого же цвета, как тужурка, брюки были по-крестьянски вобраны в хромовые, на спокойном каблуке, русские сапоги.

— Колхозники наказывали передать... что они одобряют вас, Иосиф Виссарионович... Народ одобряет.

— Спасибо, — просто сказал Сталин.

Потом Анна Михайловна рассказала о колхозе, о своем льне, который она вырастила, сняв по двадцать центнеров волокна с гектара.

— Очень хорошо, — сказал Сталин. — И как это вам удалось, Анна Михайловна?

Анна Михайловна усмехнулась.

— Глаза страшатся, а руки делают.

Сталин на миг задержался, взглянул на нее и с уважением пожал ей еще раз руку.

— Сколько вам лет, Анна Михайловна?

Без двух шесть десятков. Будет летом.

Сталин покачал головой.

— Не переутомляйте себя. В вашем возрасте это вредно.

— А вам сколько лет, Иосиф Виссарионович? — спросила Анна Михайловна, шурясь.

Он усмехнулся, поняв ее хитрость.

— Без трех... шесть десятков. Будет зимой.

— А-а! Только на один год? Но ведь у меня, Иосиф Виссарионович, участок два гектара, а у тебя... у вас — весь белый свет. Ровно бы тоже не след переутомляться... Вы бы к нам приехали... в колхоз... Эх, и молоко у нас парное!

Сталин рассмеялся и полез в карман за трубкой.

— Да его и у нас тут много... молока парного.

Они гуляли по коридору, и Анна Михайловна неторопко рассказывала. Прозвенел звонок, коридор опустел, а Сталин все слушал ее, вглядываясь через не притворенную дверь в зал.

— Двойни? — переспросил он, когда она заговорила о сыновьях. — Счастливица... И без отца воспитала?

Он одобрительно кивал головой, и, когда Анна Михайловна рассказала, как сыновья ее работают сейчас в колхозе, он вынул изо рта трубку и, поглаживая усы, улыбнулся.

— В мать пошли. Хорошая мать!

И тут Анна Михайловна дрогнула, заторопилась, заговорила, что вот не привезла ему, как другие, подарочка, а есть у нее заветный снопик льна, малость повыше ее будет ростом.

Подарочка? От вас, Анна Михайловна? Да вы мне

такой подарочек привезли — лучше и не надо, — остановил ее Сталин. — Ваши сыновья — вот подарок.

Он подвел ее к окну и, глядя куда-то вдаль, помолчал:

— А лен — это хорошо. Очень... — задумчиво сказал Сталин. — Но лен — что? Лен дело наживное... Дети — вот главное... Они наше будущее, наша надежда... Ради кого проливали кровь, умирали отцы и матери? Ради детей своих... Ради кого мы с вами живем, боремся, строим? Ради детей своих... Мы начали, они завершат наше дело, сменят нас, стариков, донесут наше знамя до победного конца... Не правда ли? Дети наши — счастье наше, — он опять помолчал, потом шагнул и, став совсем близко, поднял правую руку и, вытянув указательный палец, как бы убеждая, сказал: — Берегите свое счастье, Анна Михайловна!

## XVI

Вечером совещание закрылось, но участников его просили не разъезжаться.

— Ты знаешь, почему? — шепнула на ухо Анне Михайловне колхозница из Калининской области. — Нас орденами наградят. Мне Михаил Иванович сказал.

— Ежели всех награждать — орденов нехватит, — усмехнулась Анна Михайловна.

Они посетили мавзолей Ленина, осмотрели Кремль, музеи, побывали в театре и, разумеется, покатались на метро. Все было ново, интересно, особенно лестница, которая спускала и поднимала людей и вдруг из ступенчатой превращалась под ногами в бегущую дорожку и ставила человека на изразцовый пол. Хороши были музеи. В театре, как в жизни, горевали и радовались люди. Но ничто не потрясло так Анну Михайловну, как мавзолей Ленина.

Когда она увидела это величественное мраморное сооружение, часовых, неподвижно стоявших у входа, молчаливую очередь посетителей, у нее на глазах слезы навернулись.

Она ступила на порог мавзолея, и ее сразу окружила тишина. Анна Михайловна шла, затаив дыхание, почти наощупь, держась за мраморную стену. Камень был гладкий, чуть влажный, как памятник на могиле под липами.



На возвышении, в стеклянном гробу, лежал Ленин. Он словно спал. У него был высокий ясный лоб. Тужурка на нем была простая, только не защитного цвета, а темно-коричневая.

Анна Михайловна медленно обошла гроб кругом, не сводя горячих глаз с Ленина. Перед ней была вечность. И она поклонилась этой вечности.

Выйдя из мавзолея и заметив, что некоторые посетители снова встают в очередь у входа, она поступила так же.

И весь остаток дня Анна Михайловна была тихая, неразговорчивая, отказалась идти в кино и рано легла спать. Ей приснилось, что она третий раз была у Ленина. Он попрежнему лежал в хрустальном гробу. Она поцеловала Ленина в лоб, и он открыл глаза, встал. Они долго гуляли по коридору и о чем-то хорошо разговаривали...

А утром семнадцатого марта, когда Анна Михайловна еще лежала в постели, вспоминая ускользнувшие подробности сна и дивясь на него, принесли газеты, и на первой странице крупными буквами было напечатано постановление правительства о награждении передовиков по льну и конопле. Анна Михайловна нашла в этом постановлении и свою фамилию.

В этот день она так расхрабрилась, что вышла на улицу одна, пошла толкаться по магазинам, накупила сыновьям и себе всякой всячины — и, возвращаясь в гостиницу, заплуталась. Недолго думая, она обратилась за помощью к первому милиционеру, стоявшему на перекрестке. Он указал ей дорогу.

Через два дня в Кремле, на заседании президиума ЦИК СССР, Калинин вручил Анне Михайловне орден, пожал руку и поздравил. И на ордене, выпукло и незабываемо, как звезда на мраморном памятнике далекой могилы, сиял облик того, кому она поклонилась в мавзолее. Анна Михайловна не пожалела праздничного платья, булавкой проколола дырочку на шерстяной материи и вдела орден.

В конце заседания, после речи Калинина, в зал вошли Сталин и Молотов.

Когда все немножко успокоились, Анна Михайловна подошла к Сталину. Он узнал ее и поздоровался, как со старой знакомой.

— Вот... наградили... — сказала Анна Михайловна тихо. — А за что, и сама не знаю.

Сталин протянул руку и потрогал орден.

— За лен... — сказал Сталин, помолчал и, улыбнувшись, добавил: — За сыновей, Анна Михайловна.

Анна Михайловна всхлипнула, сделала движение, чтобы обнять Сталина, и не решилась.

Потом пришел фотограф, Анна Михайловна примостилась в четвертом ряду, стала на цыпочки и повыше подняла голову. Фотограф нацелился аппаратом.

— Пойдите, — сказал Сталин, отыскал Анну Михайловну, посадил ее перед собой за стол, где уже сидели самые знатные колхозницы, а сам стал позади.

## XVII

Вернувшись из Москвы, Анна Михайловна заметила, что сыновья словно бы изменились. Они и не поздоровались толком с матерью, неловко, как от чужой, приняли подарки и молча, чинно, будто гости, расселись по лавкам. Михаил не спускал широко раскрытых глаз с ордена. Алексей, насупившись, поглядывал искоса в окно и грыз ногти.

— Ну, как тут дома, что? — спрашивала Анна Михайловна, прибирая шубу, баульчик, распаковывая свертки, немножко досадуя на сыновей и тревожась. — Как жили без меня? Здоровы?

— Ничего... здоровы, — в один голос ответили сыновья.

— Голодные без матки не сидели?

— Н-не-ет...

— Да что мямлите, ровно не живые. Набедокурили, так сказывайте! — прикрикнула мать, начиная сердиться. — Корова как?

— По три раза доил... как вы... наказывали, — сказал, запинаясь, Алексей.

— С чего это ты завывал? — спросила, усмехаясь и добрея, мать.

Сын взглянул на нее, смутился, пробормотал что-то непонятное.

В избе было тепло, чисто прибрано. Пахло щами и табаком. Полосатые дерюжки аккуратно лежали на свежевымытом желтом полу. Анна Михайловна с удовольствием прошла по этим дорожкам, заглянула в спальню,

мимоходом оправила пикейное покрывало на кровати, у печки погрела руки.

— Прозябла, — сказала она, кутаясь в шаль, — чайку бы... с московскими гостинцами. Или уже пили?

Михаил, ни слова не говоря, сорвался с лавки, кинулся на кухню и загремел самоварной трубой. Алексей, расставшись с окном, торопливо колот лучину.

— Где угли, Ленька? — шопотом спросил Михаил.

— В корчаге, под шестком, — так же шопотом ответил брат.

— Пойдите, я сама, — сказала Анна Михайловна, чему-то улыбаясь и засучивая рукава праздничного платья.

Но сыновья, точно не слышали матери, суетились на кухне и вроде бы не подпускали мать к самовару.

— Ну-ну, — оттолкнула она их от самовара, — это еще что такое?

И за чаем сыновья молчали, будто стеснялись матери. Они почти не притронулись к городскому угощению, сдержанно благодарили, когда Анна Михайловна предлагала отведать того и другого, старательно дули в блюдца горячий чай, как маленькие ребята. Анну Михайловну все это вначале смешило, а потом рассердило.

— Что же вы не спросите ни о чем? — с досадой сказала наконец она. — Ведь не в лесу мать была, в Москве... Со Сталиным разговаривала.

Глаза у Михаила стали совсем круглыми. Он смотрел то на орден, то на рот матери, и блюдце прыгало в его руке. Алексей навалился на стол, покраснел и подвинулся к матери ближе. Он достал папиросу и никак не мог ее раскурить.

— Сталин про вас спрашивал, — добавила мать ласково.

— Да что ты? — воскликнул Михаил, вскакивая. Неловкость и сдержанность с него как рукой сняло. Он засмеялся, подмигнул брату... и вдруг опять присмирел.

— И про м-меня... спрашивал? — заикаясь, выдал шопотом.

— И про тебя.

— А что... а что ты ему... сказала?

Алексей, обжигаясь папиросой, нетерпеливо потянул брата за рукав.

— Да не мешай, сядь. Рассказывай, мама, рассказывай!

И Анна Михайловна рассказывала, смотрела на сы-

новой и думала о том новом, что открылось ей в Москве. Она опять видела Сталина, слышала его голос: „Дети — вот главное... Дети наши — счастье наше...“ Да ведь она всю жизнь этим и жила, вырастила, воспитала красавцев-сыновей. Но одна ли воспитала?

Она подумала о том, что ей ведь помогали выходить этих двух парней. И Анне Михайловне захотелось отблагодарить добром за добро, но она не знала — какими. Все, что она делала для людей, для своей страны, было такое малое, обыкновенное, какое мог делать и делал каждый. А ей хотелось большего, отплатить радостью за радость...

„Старуха... где мне... Может быть, ребята мои со временем отблагодарят“, — сказала она себе.

Самовар допел свою песенку и затих. Остыл чай в стаканах. Стало смеркаться, пора было зажигать огонь и управляться по хозяйству.

Анна Михайловна хотела подняться из-за стола, но сыновья не пустили, зажгли лампу и пристали к матери с новыми расспросами. Лица у них горели, они, сыновья, теперь не стеснялись и не робели перед матерью, и все это ей было приятно.

— Дай... посмотреть, — сказал Михаил, подсаживаясь к матери и осторожно прикасаясь к ордену.

Анна Михайловна сняла орден. Михаил бережно подержал на ладони, потом передал брату. А когда тот нагляделся, Михаил, подавая орден матери, шепнул:

— Ах, Михайловна, да какая же ты у нас... славная! Алексей услышал и негромко рассмеялся.

— А ты не знал?

— Поболтайте у меня, — смущенно оборвала мать, неловко двигая на столе посуду.

Михаил вертел орден в руках и нерешительно вдел в петлицу пиджака, подошел к зеркалу и, подняв голову, расправив широкие плечи, точно вырос. Опустив руки по швам, он стоял, тонкий и стройный. Мать видела, как он, строго сжав губы, косился на орден, потом лицо его дрогнуло, сморщилось от смеха.

Повернувшись, Михаил подлетел к брату, щелкнул каблуками.

— Позвольте познакомиться — Михаил Стуков, летчик.

— Будет тебе дурачиться, — хмурился и улыбался Алексей.

— Нет, ты скажи, идет ко мне орден? — пристал брат. — Правда, идет?

— Заработай, так и пойдет.

— Заработаю, братан, честное слово, заработаю. Мне бы только в летчики попасть...

— Ну-ка, летчик... подай мне полотенце, которым посуду вытирают, — приказала мать.

Несмотря на распутицу, Анне Михайловне пришлось много разъезжать по району, выступая на колхозных собраниях.

Все проведали, что она встречалась с самим Сталиным, и все хотели в точности знать, о чем она с ним разговаривала. Она рассказывала, как умела, иногда подмечая с горечью, что рассказывает плохо. У нее не было слов передать все, что она видела, слышала и чувствовала. Шерстяное платье с орденом она спрятала в сундук и надевала его только по праздникам.

Долгое время Анна Михайловна не замечала перемены в своей избе. Только когда из Москвы, в розовом пакете, пришла карточка и Анна Михайловна, купив большую со стеклом рамку, вздумала повесить карточку в красный угол, она ахнула: там, где привычно висели иконы, курчавился рыжеватый мох.

— Это кто же вам позволил снять? — набросилась она на сыновей. — Кто хозяин в доме, а?

— Вона! — удивился Михаил, насвистывая. — Сама сняла, а нас ругаешь. Память теряете, Михайловна... Ну, а хотя бы и мы? Так ведь когда это было, еще в марте... За давностью времени не такие преступления прощают.

— Куда девали? — строго спросила мать.

— На чердаке.

— Сейчас же принести...сейчас же! — она застучала кулаком по столу.

Сыновья посмеялись и не послушались матери.

Тогда она сама слезила на чердак, принесла иконы. Хотела поставить их на прежнее место, но карточка так хорошо подошла в пустоту красного угла, словно нарочно это место для нее оставили.

— Ну, ладно, — сказала себе Анна Михайловна и повесила иконы на кухне.

— Прошло два года.

Много событий, печальных и радостных, произошло за это время в колхозе. Катерина Шарова родила тройню — двух девочек и мальчика, и Костя, ошалелый от счастья, устроил пир на весь колхоз. Была на этом пиру и Анна Михайловна, она сидела рядом с Дарьей, и та пожаловалась ей тогда, что у нее сердце ровно бы останавливается.

— Как лягу спать, так оно и зачнет прыгать, — сказала Дарья шопотом. — Упадет, и нет его... Ахнешь со страху, вскочишь, оно и забьется, застучит шибко-шибко... Поотойдет, задремлешь, а оно сызнава падает... Недолго мне, видать, жить осталось.

— Ну, полно, — успокоила Анна Михайловна. — Я послабже тебя, да о смерти не думаю. Теперь нам, Дарья, с тобой только жить да и жить.

— Дочку замуж выдать охота, — грустно сказала Дарья.

— И выдашь, не сумлевайся. Мы еще с тобой не на одной свадьбе погуляем. Вот раскисла!.. Ну-ка, выпьем красенького за новорожденных.

Дарья чокнулась, выпила и словно повеселела немного. Рассказала, смеясь, как Строчица, ослепшая с весны, летает на станцию, только молоко из бидонов плещется. На всю одворину огород развела, картошку, морковь и лук мешками в город таскает, а чуть на колхозную работу нарядят — палку в руки, по стенке пробирается, скажи, совсем слепая.

— Притворяется. Базар ей дороже колхоза, — заметила Анна Михайловна. — И чего правление смотрит?

Захмелев, они поругали правление, попели песен, а потом, прогнав Катерину к столу, к гостям, по очереди качали огромную плетеную люльку, в которой поперек, под голубым атласным одеялом, лежали тройняшки. Дарья больше не жаловалась, няньчила ребят дотемна, пока пировал народ, ушла от Шаровых последней и, как потом рассказывал Николай Семенов, захотела еще чаю, он согрел самовар, она напилась, вздумала писать письма дочерям и сыновьям, звать их на лето в деревню, четыре написала, а пятое, сказала, утром допишет, что-то устала, — легла и не проснулась.

Семенов загрустил, как-то сразу ослаб, сгорбился и по-

просил освободить его от обязанностей председателя колхоза. Он решил переехать жить в Ленинград, к старшей дочери, работавшей поваром в ресторане. Просьбу Семёнова уважили. Он заколотил дом, попрощался и уехал, прожил в Ленинграде зиму, а весной неожиданно вернулся в колхоз.

— Сбежал... скучно без дела,— невесело объяснил он.— Спи, ешь и сызнава спи... Эдак подохнешь... на сегодняшний день. Займусь, по-стариковски, пчелками, они у вас тут, я вижу, без призора.

Но пчелок ему оказалось мало, через месяц он завёдывал молочно-товарной фермой, а потом его выбрали председателем сельского совета. Работал Николай с жадностью, как прежде, хотя уже не гремел его голос, а голова совсем поседела.

Анна Михайловна почти не изменилась за эти два года. Маленькая, худощавая, живая, она легко несла свою старость. Правда, за последнюю зиму ноги ее стали малость побаливать. Но Анна Михайловна запаслась мягкими чесанками с галошами, можжевелевой клюшкой и не жаловалась.

Иногда на нее находило забытье. Оставив работу, она углублялась в себя, как бы созерцая что-то, видимое только ей одной. Часами она сидела на солнце не шелохнувшись. Приятно припекало голову, руки, спину; ветер гладил волосы. Ею овладевала сладкая истома, она закрывала глаза, хотя и не спала. На душе у нее было спокойно. Она ни о чем не думала, просто отдыхала. Она слышала мерное биение своего сердца, ровное, глубокое дыхание, и, как бы отстранившись, даже видела всю себя, согретую солнцем, недвижимую, в мудром покое. Потом, встрепенувшись, она восклицала:

— Ах, батюшки, никак я чуток задремала? Вот чудеса!

Живо вскакивала, принималась за дело, и все кипело в ее руках.

Сыновья настаивали, чтоб она не работала в колхозе, отдыхала, но она и слушать про это не желала.

— Поработаю, пока силы есть. Еще насижусь и належусь, когда хворь подойдет... Слава тебе, здоровехонька я,— обычно отвечала она на сыновьи уговоры.— Без дела я, ребята, заскучаю, как Семёнов Коля... Что, хозяйки молодой захотелось? Вот я вас!

В середине августа, на колхозном собрании, в клубе, Анну Михайловну поздравили с шестидесятилетием. Новый председатель колхоза Костя Шаров, большой мастер на всякие торжества, преподнес ей целый веник цветов и живую индюшку, купленную в птицесовхозе, а сыновья подарили дома кашемировую шаль и пальто на меху, за которыми не поленились, украдкой от матери, съездить в город.

Она поворчала на сыновей, что больно много денег попусту извели, но подарки приняла и была ими обрадована. Вечерами, оставаясь в избе одна, Анна Михайловна зажигала лампу-„молнию“<sup>1</sup> и примеряла пальто и шаль перед зеркалом, с нетерпением ожидая зимы, когда можно будет, нарядившись, пойти вместе с сыновьями в клуб на люди.

## XIX

В конце сентября произошло событие, которого мать с некоторых пор ждала с трепетом, мучилась, горевала и, главное, не знала, как ей поступить.

В тот день на утре пал туман. Белый и плотный, как вата, окутал он село, схоронил поля, крутые увалы, речку, завесил, словно полотном, далекие леса.

Часу в шестом мгла поредела. Туман таял, и медленно, словно на фотопластинке, проявлялись предметы: вначале ближние — высокие избы, каменная двухэтажная школа с цветочными клумбами, лавочками и палисадом, мраморный памятник на площади, телеги у магазина, колодезь; потом дальние — приземистая овчарня, литые, как из воска, скирды ржи и пшеницы, длинная из свежих, розоватых бревен конюшня, амбары и навесы с сельскохозяйственными машинами, церковь, и, наконец, отчетливо стали видны поля, привольно разбежавшиеся по увалам, огромные стога клевера, раскиданные там и сям, как шапки сказочных богатырей, крохотные шалашики льна, поднятого в низине со стлещ<sup>1</sup>, березняк, калина и осинник на болоте.

Светлела и раздвигалась молочно-голубая даль. Проглянуло позднее солнце. Вспыхнули пламенем гроздья на рябине, и вся окрестность вдруг засверкала в лучах солнца золотом и багрянцем осени. В прозрачном по-

<sup>1</sup> Стлеще — луг, где стелют лен.



теплевшем воздухе пронеслась легкая заблудившаяся паутинка.

И все ожило вокруг. Громко и весело загремела на току молотилка. Из соседних колхозов потянулись на станцию грузные возы с картофелем, льнотрестой, хлебом. Затрещали дрозды на огненной рябине. Точно седое облако, проплыло на выгон стадо романовских овец. Следом за ними черной тучей прошли коровы и нетели, предводительствуемые молчаливым быком Умником. Из конюшни вывели на прогулку коней. Гнедой поджарый жеребец Голубчик по обыкновению поднялся на дыбы, и конюх Петр Елисеев повис на узде.

— Ба-алуи! — сердито прикрикнул он, сдерживая жеребца.

Проводив за околицу корову и телку, Анна Михайловна пошла обратно, как всегда, гумнами, знакомой тропой. Она распахнула полушубок, приспустила на плечи теплый платок, так, что обнажились волосы, поделенные прямым пробором на два тугих белых повесма, и шла, опираясь на клюшку, щуря глаза то на солнце, то на седую от росы тропу.

У конюшни ей попало навстречу звено Насти Ивановой. Девушки почтительно уступили дорогу и хором поздоровались. И, как всегда, как-то по-особенному выделялся приятный голос звеньевой. Стройная, несмотря на свой небольшой рост, чисто одетая, Настя прямо и весело смотрела в глаза Анне Михайловне, и та наособицу ласково кивнула ей, по обыкновению подумав, что вот и она сама в молодости была такая же хлопотунья, круглая и опрятная и что у Мишки губа — не дура, ладная из них выйдет пара.

— Погляди, Анна Михайловна, кажется, улежался лен. Поднимать идем. — Настя проворно вынула маленькой загорелой рукой из-за пазухи пучок тресты. — Никак не привыкну солому на-глаз определять, — призналась она.

— Ну, хитрость не большая.

Очень довольная, что Настя обратилась за советом к ней, старой и опытной мастерице льна, Анна Михайловна с торжественной медлительностью отделила от пучка несколько светлокориичневых длинных стеблей, помяла их пальцами, осторожно и тщательно сдула с ладони стру, и тончайшие золотистые нити мягкими кудрями опутали ее натруженную, в узловатых синих венах, руку.

— Как пух... Вот он, миленочек! — воскликнула Настя, заглядывая в руки Анне Михайловне.

Подруги рассмеялись.

— Твой миленочек еще дрыхнет. Спроси у мамы.

— И как, девчата, не стыдно...

— Ой, волокнистый!

Девушки обступили Анну Михайловну, радостно разглядывая шелковую паутину волокна, будто сроду его не видавали. Конечно, они хитрили, воструши, поди, раз десять украдкой делали эту немудрую пробу, и вовсе не нужен им был сейчас совет старухи, просто хотелось немножко похвастать перед матерью двоих сыновей. Анне Михайловне это было приятно, она понимала девчат.

— Восемнадцатым номером пойдет.

— Ска-азала! Двадцать четвертым, — щебетали девушки, толкаясь.

Одна Лизутка Кузнецова, „симпатия“ второго сына, не трогалась с места. Высокая, тонкая, она стояла за подругами, потупившись и обжигаясь румянцем.

„Скрытница... — решила Анна Михайловна, косясь исподлобья. — Головы не поднимет, словечка от нее не услышишь, гордыни... И что в ней выискал Леня хорошего? Тошная, ровно неделю есть не давали, прости господи... Связал их нечистый дух веревочкой“.

— Ничего ленок, подходящий, — скупой похватила Анна Михайловна.

Девушки разочарованно переглянулись. У Насти даже задрожали пухлые губы от такой незаслуженной обиды.

Анне Михайловне стало совестно за свое раздражение. И она сказала то, что хотелось слышать звену:

— Стахановский лен, за версту видно. Гляди, двадцать восьмым номером потянет.

Щурясь, она посмотрела волокно на свет, попробовала на разрыв.

— В самый аккурат, девоньки. Поднимайте... Да послушайте меня, старую, не вяжите зараз в снопы, пусть его ветром обдует... Ужо, после печки, я вам пособлю.

— Спасибо, Анна Михайловна, так и сделаем, — Настя поклонилась. — Да вы не беспокойтесь, мы управимся.

— Ну-ну... — усмехнулась Анна Михайловна и пошла было своей дорогой, но звеньевая тотчас же нагнала ее, зашептала застенчиво в спину:

— Анна Михайловна... что я скажу... Миша с Леной сегодня... на призыв... идут?

Дрогнула и глубоко ушла в сырую мягкую землю можжевелевая клюшка. Косая трепетная тень легла через тропу — не переступишь.

— Миша говорил... летчик... Ах, как я рада!.. А кому, вы, чай, знаете, льгота?.. — бессвязно шептала Настя и видела, как мелко-мелко затряслась седая простоволосая голова и поникла.

Из риги тянуло горьким дымом и густым сладким запахом солода. Как слезы, дрожали и горели на листьях подорожника капли росы.

— Солнце ровно летом... а сыро, — пробормотала Анна Михайловна, с трудом вытаскивая клюшку.

Тень заколебалась, посветлела и, укорачиваясь, освободила тропу.

Анна Михайловна обернулась, скользнула взглядом по взволнованному лицу Насти и заметила бледную, неподвижную Лизутку Кузнецову. Та просяще смотрела на Анну Михайловну, сделала к ней два порывистых, неловких шага и вдруг, заплакав и круто изменив путь, побежала догонять подруг.

Анна Михайловна пожевала сухими губами.

— Иди-ка ты, Настя, лен подымать... и не бери мое сердце.

— Я хотела только насчет Миши... Уж вы, пожалуйста... пусть Леня остается дома... и воды принесу, и пол вымою...

— Иди, иди, — сурово приказала Анна Михайловна. Настя повиновалась, ушла.

А сердце так и осталось разбереженным.

## XX

То, чем жила Анна Михайловна эти последние дни, о чем думала и не могла всего передумать ночами, что огорчало и радовало и, главное, было нерешенным, — все это встало перед ней сызнова.

Сыновья призывались в Красную Армию. Одному из них полагалась льгота — оставаться дома с матерью. Сыновья втихомолку спорили промеж себя: и тот и другой не хотели оставаться дома. И, вероятно, в колхозе все это знали.

Анне Михайловне было жалко и страшно расставаться с сыновьями. Она боялась одиночества, боялась, что сыновья уйдут и не вернуться, как муж. Для того ли она поила-кормила их, ночей не спала, во всем себе отказывала, даже в куске хлеба, чтобы вырастить их и, не полюбовавшись досыта, расстаться с ними, а может быть, и потерять?

Все ее материнское существо протестовало против этого. Она видела перед собой дорогую руку, указательный палец предостерегающе протягивался к ней. „Берегите свое счастье, Анна Михайловна!“ — слышала она тихий, запомнившийся на всю жизнь, голос.

— Беречь? Как же его беречь... счастье? — шептала она, бредя к дому с опущенной головой и спотыкаясь. — Научи меня, подскажи... как? Ведь уйдут и не вернуться...

„А может, вернуться?“ — первый раз иначе подумала она и даже остановилась, пораженная этой простой мыслью.

Анна Михайловна подняла голову и удивилась, — оказывается, она давным-давно стоит у дома. И, как всегда, дом порадовал ее. С изумлением она покачала головой. „Экий дворец сгрохали... подумать только“.

Высокий, в четыре окна по фасаду, со светелкой и резными крашеными наличниками, дом был окружен кустами черной смородины, малины, крыжовника. За этим живым палисадом, у крыльца, голубел тополь, обронив на землю тяжелые червонные листья. Сучья его были голы, и только на самой вершине трепетали, слабо звеня, точно жалуясь на помеху, маленькие легкие листики. Набежал ветер, гибко склонилась вершина тополя, листья оторвались и, подхваченные порывом, точно играя и догоняя друг дружку, как желтые бабочки, полетели через дорогу на гумно. Тополь махал им вслед сучьями, словно прощаясь и говоря: „До весны!..“

Анна Михайловна проследила за полетом листьев, пока они не скрылись из глаз, глянула на тополь, и ей стало стыдно за свой страх.

Да, сыновья должны покинуть мать, чтобы сохранить ее настоящее и их будущее счастье. Они взрослые, ловкие, сильные — что им сделается? И, как всегда, она почувствовала горделивую материнскую радость за сыновей.

„Кого же отпустить... чтобы не обидеть... Мишу или Ле-

ню? — задумалась Анна Михайловна. — Постой, да ведь они оба хотят итти“, — с болью сказала она себе, вспомнив, что они потихоньку спорят, не желая с ней посоветоваться.

Она горько поджала губы. Выходило — стала мать-старуха родным сыновьям поперек пути. И она опять не знала, что ей делать.

Поднимаясь на крыльцо по широким сосновым ступеням, Анна Михайловна загнулась за половик и чуть не упала. Должно быть, сыновья, возвращаясь ночью с гулянки, впотьмах загнули каблуками половик и не поправили.

— Все ноги обломаешь, пока доберешься... — проворчала она.

И не мил ей показался этот большой желанный дом; не мило крыльцо, вместимостью со старую избу, обшитое тесом; не мила крашеная дверь, которая вела в сени, заставленные ларями, ящиками, корзинами, мешками, столь приятными каждой хозяйке.

„Глазыньки бы мои ни на что не глядели...“ — думала Анна Михайловна, входя в избу и швыряя в угол можжевелевую клюшку.

В прихожей середине пола лежал баян. К нему прислонились хромовые сапоги с комьями бурой засохшей грязи на голенищах. Из-под обеденного стола выглядывали такой же чистоты штiblеты. Кожаная куртка и драповое пальто были брошены на лавку.

Анна Михайловна пнула ногой баян.

„Умереть бы в одночасье... развязать их...“

Она прошла к печи и ожесточенно рванула заслон. Гром прокатился по кухне.

А к заслону был прилеплен мякишем хлеба лист бумаги. Осыпаящимся углем выведено крупно, по-печатному:

**МИХАЙЛОВНА!**

**РАЗБУДИ НАС РОВНО В ВОСЕМЬ!!!**

Она еще сердилась, хмурила строгие седые брови, но губы ее, добрые материнские губы, стянутые в узелок морщин, против воли развязались в улыбку.

„Ох, уж мне этот Мишка... постоянно чудит. Тоже выдумал... почту“.

Она взглянула на часы (было пол-седьмого) и заторопилась. Ступая тихо и осторожно двигая посудой, чтобы не разбудить сыновей, спавших в прирубе, Анна

Михайловна живо затопила печь, замесила на пахтаньи пресное пшеничное тесто, накатала из него тонких сдобных лепешек, намяла целое блюдо творогу с яйцами и сахаром, принесла густой, как масло, сметаны. Потом слезила в погреб за картофелем, луком и бараниной, приготовила суп и жаркое. Когда печь растопилась, Анна Михайловна накалила сковородку, облила ее шипящим маслом и шлепнула туда первую лепешку с горой творога и сметаны.

Ее проворные, охочие до труда руки делали все это, привычное, размеренно и споро. Она погрузилась в работу, чтобы не думать. И не могла. Все делалось будто само собой. И сами собой тянулись грустные думы.

Все кругом говорило о сыновьях. Анна Михайловна брала скалку, и память подсказывала — скалку делал Леня, приметив, что старая плохо раскатывает тесто. Он строгал скалку целый вечер, шлифовал стеклом и обрезал палец. Она, мать, бранила его, а сын, как всегда, усердно точил и скоблил, пока березовый кругляш не превратился в настоящую, словно купленную на ярмарке, скалку. Вот и полочка на кухне сделана его руками. А помойное ведро выкрасил Миша зеленой масляной краской. И кто же, как не баловник Мишка, закрутил эту новенькую алюминиевую ложку штопором. Вот у тарелки с розовой каемочкой Леня ненароком край отбил...

Все эти знаки сыновьей заботы и баловства трогали ее и мучили.

И снова закипело ее сердце.

Хоть бы одно слово сказали, дескать, посоветуй, мама, как быть. Так нет, молчат при ней, притворяются, а тайком грызутся, разве она не видит?.. Да может, она и посоветовала бы, может, и спору никакого не было бы...

Часы пробили восемь. Анна Михайловна подсыпала в самовар горячих углей. Наскоро прибралась в избе и пошла будить сыновей.

В прирубе стоял холодный полумрак. Свет робко пробивался в щели ставня. Белесые прутики света лежали на полу, точно оброненные из веника.

Сыновья спали крепко. Ватное одеяло они сбили в ноги и, жаркие, молодые, в одинаковых оранжевых майках и синих трусах, не чувствовали холода. Каменной глыбой возвышался на кровати Алексей. Он лежал на

боку, лицом к краю, обняв могучей рукой изголовье. Русый вихор свисал ему на щеку. Михаил, прижатый к стенке, спал на животе, зарыв кудрявую голову в подушку.

Затаив дыхание, Анна Михайловна долго стояла у кровати. И видела она темный чулан, скрипучие козелки и доски и себя, вот так же разметавшуюся у стенки, и мужа, спавшего на боку. Русый мягкий вихор, отлетев, щекотал ей щеку. И еще мнилась зыбка и в ней два горластых человечка. Неужели это они, крохотные, беззащитные, нахрапывают сейчас и полуторная кровать мала им? Неужели им принадлежат эти добрые, как бугры, плечи и груди, эти мускулистые ноги, эти ладони, широченные, словно лопух? Да когда ж они выросли? Кто выкормил их, таких богатырей?

Она застенчиво оглядела себя, маленькую, высохшую. И как-то в первый раз по-настоящему поняла свое счастье.

— Ребята, — тихо позвала Анна Михайловна. — Вставайте... пора.

— Встаю, — пробормотал Алексей. — Сейчас встаю... — повернулся на спину и захрапел.

Анна Михайловна присела на краешек постели, бережно оправила простыню. Она смотрела на свое счастье и не могла досыта насмотреться. Счастье ее было не в том, что она жила богато, в новой избе (на то и колхоз, так живут все, кто честно трудится): счастье ее, матери, было в том, что она вырастила этих двух парней и, повторяя ее и мужа, сыновья продолжали их жизнь. И не гуменная тропа пролегла в жизни для ее сыновей, пролегла большая дорога, прямая, светлая.

Может быть, она, мать, скоро умрет, ей не страшно потому, что будут жить ее сыновья; будут жить и глядеть на мир ее глазами, радоваться ее сердцем, кипеть ее кровью... Так могла ли она, мать, стать сама себе поперек дороги?

Ей показалось — она нашла ответ на вопрос, который ее мучил.

И тут же заколебалась. Смешанное чувство гордости и обиды опять охватило ее.

— Да встанете ли вы, лежебоки? Вот я вас... клюшкой! — закричала сердито Анна Михайловна, стаскивая одеяло.

— А лепешек напекла? — спросил Михаил ясным голосом, точно он и не спал.

— Раскрывай рот шире.

— Есть раскрыть рот шире... По-одье-ом! — гаркнул он в ухо брату, как мячик перелетая через него, и, /коренастый крепьш, вытянулся перед матерью: — Товарищ командир, разрешите доложить... за время моего сна никаких происшествий не случилось.

— Отстань, артист! — отмахнулась Анна Михайловна.

Алексей, поднявшись, открыл одной рукой тяжелый ставень, распахнул окно. Свет хлынул в прируб. От полу до потолка вырос и закружился пыльный солнечный столбик. В углу вспыхнули зеркальные крылья велосипедов, и зайчики метнулись от них и запрыгали на стене. Из окна видно было, как за шоссеиной дорогой расстилались поля. Поднятая зябь дымила паром, блестя на солнце зелень молодых озимей. Поля убежали к лесу, и на желто-оранжево-багряной кайме его могуче и сурово проступали темные, почти синие, купола елок и сосен.

— Погодка... Только зябь и пахать, — прогудел Алексей, сгибая спину и по пояс высовываясь в окно.

— Спи больше, зябь-то и вспашется, — насмешливо отозвалась мать, прибирая постель.

— Отчего же не поспать? Поспать можно... ежели жлан выполнен, — сказал Алексей, взглянув на распахнутое приволье зяби. Он выпрямился, потянулся, и что-то сочно хрустнуло у него в суставах. — В колхозе „Завет Ильича“ просили подсобить. Кажется, не успею.

— Не горюй, братан, — подскочив, Михаил шлепнул его ладошкой по коричневому плечу. — Зябь не Лиза, от тебя не убежит. На будущий год досыта напашешься.

— Кто знает...

— Я знаю.

— Да ну?

Они взглянули друг другу в глаза и рассмеялись.

## XXI

В трусах и майках сыновья пошли на улицу. Анна Михайловна видела из распахнутого окна, как Михаил притащил из колодца студеной воды.

— Прикажете освежить? Тройным или цветочным? —



вкрадчиво спросил Михаил и выплеснул ковш брату на голову.

— Мишка, не балуй!— сказал Алексей, жмурясь и фыркая мыльной пеной.— Лей на ладони.

— Слушаюсь.

Ледяная вода окатила алексееву спину.

— Мишка, хватит!

— Ну, хватит, так хватит,— покорно согласился Михаил и, почерпнув полный ковш, плеснул брату на лицо и грудь.

Алексей сграбастал брата, не торопясь пригнул к земле и так же медленно и старательно, точно выполняя серьезное дело, облил из ведра.

— Бр-рр... — Михаил приплясывал в луже. — Чорт медвежий... я тебя ковшом, а ты — из ведра! Воспаление легких можно заработать. Или тебе это наруку?

— Ну, еще бы! — усмехнулся Алексей и стал серьезным.

Вытирая мохнатым полотенцем короткую красную шею, он исподлобья взглянул на брата.

— Миша, последний раз прошу... уступи... — глухо проговорил он.

Михаил молчал... Легкая зыбкая тень набежала на его мокрое подвижное лицо. Он тряхнул кудрявой головой, морщась, провел по лицу тыльной стороной ладони, будто стирая эту тень, улыбнулся и снова вошел в привычную для себя роль.

— Уступи... — просяще и ласково повторил брат.

— Пожалуйста, пожалуйста! — Михаил расшаркнулся, освобождая дорогу к крыльцу. — Семафор открыт, путь к лепешкам свободен.

— Не трепись! — сказал Алексей. На его бронзовом нахмуренном лице медленно проступали багряные пятна. — Ты знаешь, о чем я говорю...

— Говорила, говорила — не люби меня, Гаврила... — запел Михаил, не слушая.

Он круто повернулся и, оставляя на ступенях мокрые следы подошв, взбежал на крыльцо. Анна Михайловна поспешно отошла от окна. Сын еще в сенях закрыл ей:

— Михайловна, поторапливайся... Нас ждет военком. Эх, буду летчиком — прокачу тебя до самого поднебесья!

Когда сыновья завтракали, пришел Николай Семенов. Анна Михайловна посадила его за стол и вспомнила, что не кормила еще нынче цыплят. Она налила в корытце простокваши, намочила хлеба, вышла и покликнула цыплят к крыльцу. Цыплята сбежались пестрой кучей, набросились на корм. Анна Михайловна взяла хворостину и караулила корм от прожорливых кур и забияки-петуха. Окно в горнице попрежнему было открыто, и она слышала все, что делалось в избе.

— Дай-ка я вас освидетельствую, — шутиливо говорил Семенов, поворачиваясь на стуле. — Глаз у меня боевой, командирский, скажу — не ошибусь... как в военкомате. Ну, Алексей Алексеевич, становись передо мной во фронт и не моги дышать. Брюхо не выпячивай... Силен, брат, силен, ничего не скажешь... Годен! В танковую часть, как тракторный специалист.

— А я? — спросил Михаил.

— Ростом маловат. Гм... Стой на ногах крепче! Во флот таких берут.

— В морской или воздушный, товарищ военком?

— А тебе в какой бы хотелось?

— У меня желание... А в оба нельзя зараз, товарищ военком? — дурачился Михаил.

— К сожалению, нельзя, товарищ призывник, — серьезно сказал Семенов, покашливая.

— Разрешите тогда быть летчиком?

— Разрешаю... — Он помолчал, вздохнул. — Да, ребята, шутки шутками, а все-таки как же вы порешили?

— Насчет чего? — спросил Алексей.

— Насчет льготы. Кто с матерью дома останется?

У Анны Михайловны выпала хворостинка из рук. Куры и петух, выглядывавшие из-за крыльца, воспользовались этим и, разогнав цыплят, принялись хозяйничать у корыта.

— Ленька! — быстро и решительно говорил в избе Михаил. — Его Михайловна больше любит, лепешки наособицу печет.

— С чем же она ему печет наособицу? — рассмеялся тихо Семенов.

— С творогом, дядя Коля. Вон она, улика-то, перед тобой на тарелке. Гляди, сметаны сколько... А мне за всегда только помажет, честное слово!

— Ври больше, — сказал Алексей. — И сегодня ты одну всю сметану съел.

— Опять же я на баяне играю, — продолжал Михаил. — Двойную нагрузку могу в армии нести.

— Зато я тракторист, не какой-нибудь счетоводишка, — напомнил Алексей, посапывая.

— Дылда ты, а потом уже и тракторист, — закричал сердито Михаил. — На тебя и шинель-то ни одна не влезет, по швам треснет. На заказ надо шить, лишний расход государству.

Разговор в избе затих. Слышно было, как Алексей грузно прошелся по горнице, половицы гудели под его каблуками.

— Уступи, Леша... — чуть слышно сказал Михаил дрожащим, не своим голосом.

— Не могу, братейник.

— Жребий! — запальчиво закричал Михаил. — Счастье мне еще не изменяло... — Он затопал на кухню, должно быть, за спичками. Крикнул оттуда: — Дядя Коля, будь свидетелем.

— Что ж, жребий так жребий, — глухо согласился Алексей. — Лучше здесь порешить, чем в военкомате на чужих людях спорить. Давай... только, чур, без плутовства.

Опять наступила в избе тишина. Анна Михайловна заметила, что куры отогнали дылят от корыта. Она поднялась, хотела махнуть на кур и села, не шевельнув рукой. Мелко и часто тряслась ее седая голова.

— Длинная спичка — итти, короткая — дома оставаться, — послышался снова нетерпеливый голос Михаила. — Тащи, братан... ловкость рук и никакого мошенства. Да тащи же, не тяни за душу!

— Постоите, ребята, — сказал Семенов, и голос его загремел, как в былые времена. — Стоп! Дело не шуточное... не со спичкой матери жить придется, а с кем-то из вас... Ну вот, пусть Михайловна и рассудит сама: с кем ей любее дома остаться.

Анна Михайловна не могла больше вытерпеть, она морывисто вскочила, вытерла передником сухие, горящие глаза. В скорбный и строгий узелок завязались губы. Она вошла в избу суровая и спокойная. Только левая бровь дергалась у ней, колючая и ласковая материнская бровь.

Сыновья догадались, что мать все слышала. Они посмотрели на Семенова, который, сгорбившись, сидел за столом. Семенов кивнул головой. Не глядя на мать, Алексей глуховато пробормотал:

— Вот дядя Коля... посоветовал... Тебе, мама, жить, тебе и решать... Который — скажешь, тот и останется.

Анна Михайловна усмехнулась.

— Справедливый человек дядя Коля. Что ж вы сами... головешками своими не могли до этого додуматься?

— Мамка, не мучь! — закричал Михаил, оттягивая крахмальным воротничок, душивший его.

— Сами вы себя мучили... да и меня заодно.

Она пристально посмотрела в глаза сыновьям, и они потупились. Алексей крутил пуговицу на кожанке, пуговица висела на ниточке, но еще держалась.

— Оставь в покое пуговицу, — приказала мать. — Некогда мне сегодня пришивать.

Сын покорно опустил руку. Михаил уловил сердитые нотки в голосе матери, покосился на брата и улыбнулся глупой и счастливой улыбкой.

— Идите оба, — просто сказала мать и пошла на кухню мыть посуду.

Михаил изумленно вытаращил глаза, застыл на месте, потом догнал мать, обнял за плечи и поцеловал в морщинистую шею.

— Вот здорово, вот это здорово! — приговаривал он, приплясывая. — Лешка, кланяйся Михайловне в ноги.

— Поклонится он, держи карман, — проворчала мать, доставая из печурки мочалку и мыло. И в тот же миг она почувствовала на щеке тяжелый поцелуй. Он мог принадлежать только Алексею.

— Спасибо, мама, — сдержанно сказал сын.

Ей хотелось плакать, обнять сыновей, прижать к груди и не отпускать. Но в руках у нее была мочалка, вода стыла в тазу, и она рассердилась.

— Да не мешайте вы посуду мыть... Мне еще переодеться надо. В этом, что ли, платье я вас провожать пойду?

— Ну, Михайловна, — сказал Семенов, появляясь на кухне. — Притти в себя не могу... Вот оно, сердце материнское... нет его добрее на свете! — Он всхлипнул, полез в карман за платком и усталым сконфуженным голосом забормотал: — Вот и разревелся... старик, совсем

старик... Да, что я хотел сказать? — Он помолчал и, сквозь слезы озоровато взглянув на ребят, вдруг рявкнул на всю избу: — Смирр-на-а!

Михаил и Алексей, вздрогнув, вытянулись перед ним. — Отставить! — строго приказал Семенов. — Животик... головка... ножки, — важно бормотал он, требуя воинской выправки.

Потом торжественным шагом прошел мимо, и ребята, кусая губы от смеха, проводили его радостными глазами. У порога Семенов обернулся и, не сдержавшись, засмеялся. Михаил и Алексей вторили. Слабо улыбнулась и Анна Михайловна.

## XXII

В любимом шерстяном платье провожала Анна Михайловна сыновей. Она не взяла можжевелевой клюшки. Сыновья вывели из прируба велосипеда и катили их рядом с собой.

Молча усадьбой пошли они на шоссейку. Отава на усадьбе была густая, хоть второй раз коси. Запоздало цвели одуванчики.

Канавы у шоссейки были полны воды. Сыновья перенесли на дорогу велосипеды и вернулись к матери.

— Вашу ручку, Михайловна! — пошутил Михаил, помогая перескочить через канаву.

Анна Михайловна не рассчитала и оступилась. Алексей подхватил ее и на руках вынес на дорогу.

Не говоря ни слова, мать оправила платье, сыновья, придерживая велосипеды, стали один по правую, другой по левую руку матери, и так, втроем, словно гуляя, они медленно пошли селом.

В избах еще кое-где семьями пили чай, завтракали. Окна были открыты, и говор затихал, когда они проходили мимо. Бабы, отодвигая плашки с цветами, высывались из окон и кланялись Анне Михайловне. Они не останавливали ее, не заговаривали, как всегда, потому что понимали, что этого делать сейчас нельзя. Иные выходили на крыльцо и подолгу провожали взглядом.

За околицей Анна Михайловна остановилась. Прямая широкая дорога уходила вдаль и пропадала за нарядной

бахромой осеннего леса, там, где небо соприкасалось с землей.

— Ну... — сказала Анна Михайловна.

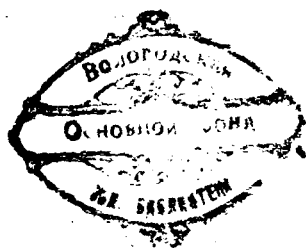
— Ну... — сказали сыновья, избегая глядеть на мать.

Они боялись прощанья, слез, поцелуев. Но мать не плакала и не прощалась. Они вскочили на велосипеды и, пригнувшись, нажали на педали.

Скоро мать уже не могла различить, который из них Алексей, который Михаил. Слезы застилали ей глаза. Она прижала ладонь ко лбу, чтобы лучше видеть, и долго следила за сыновьями. Вот они слились в черное стремительно летящее пятно, и что-то сверкнуло в нем. Должно быть, задние крылья велосипедов блеснули на солнце. Серебряный зайчик скакал по дороге, потом и он пропал.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Часть первая . . . . . | 5   |
| Часть вторая . . . . . | 74  |
| Часть третья . . . . . | 162 |



№. 58 г.

56

81

08

10 руб.  
переплете 12 руб.

